

Сергей Багров

**СЫНОВЬЯ
И
ГОСТИ**

Повести и рассказы



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1984

«ВОТ И КОНЧИЛОСЬ ЛЕТО, МОЙ ДРУГ...»

Сергей Багров из тех прозаиков, которые получили признание и любовь читателей раньше, чем их прозу заметила торопливая критика. Девять лет назад в Архангельске вышла первая маленькая книга С. Багрова «Колесом дорога» и вот сейчас — эта, «Сыновья и гости», — итоговая, отчетная за первый период творчества.

Проза Багрова — вся свет, вся тепло, вся бескорыстная любовь. Та любовь, которую могут заметить совестливые, способные к состраданию люди. Зная Сергея Петровича, могу сказать, что его проза — он сам. Застенчивый до полнейшего несоответствия энергичной издательской и журнальной жизни, он не способен ни обижаться на неурядицы, ни помнить обиды. Он оживляется и озаряется изнутри, когда говорит о своей милой Вологодчине, о Тотье и о том человеке, дружбой с которым его одарила судьба, — о Николае Рубцове. Он написал о поэте воспоминания и, помню, советовался, включать ли в воспоминания письма: ему казалось нескромным предавать их гласности. Коснись это другого, так бы оно и было, но речь шла о поэте, ушедшем в бессмертие. Письма были напечатаны в книге «Портреты» (первой московской книге Сергея Багрова), а уже в другой — герои писателя негромко поют песни на стихи любимого поэта: «Отцветет да поспеет на болоте морошка, — вот и кончилось лето, мой друг! И опять он мелькает, листопад за окошком, тучи темные вьются вокруг...»

Незамутненность, детскость души прозаика сказывается прежде всего в описании стариков и детей. И вроде бы все случайно — случайно заехали в деревню, припозднились, заночевали. Случайно сбился с тропки, выбрел к незнакомому месту.

Но не случайно, что везде навстречу добру открывается добро. Старик, потерявший сыновей в эту войну и относящийся к приехавшим, как к своим сыновьям. Или мальчик — безотцовщина, который обогревает и кормит заехавшего человека: «Дяденька, давай я тебе на гармошке поиграю».

Позиция писателя обезоруживающе проста — он показывает саму жизнь и, безмерно любя своих земляков, нигде прямо не проговаривается об этом. Больше того, представив нам своих давних знакомых и введя нас в их жизнь, он отходит в сторону. Но видишь, что автор вовсе не спокоен, он волнуется за тех, кто ему дорог, он хочет, чтобы они понравились нам, чтобы мы подружились, и добивается своего. Из его книги, от его героев не хочется уходить. Это оттого, что книга населена людьми труда, труда праведного. Труд, не просто направленный на добывание насущного хлеба, но труда спасающего, охраняющего от соблазнов легкой жизни.

Вновь и вновь мы убеждаемся, что истинна только та литература, что народна. Главные же черты русской народности в бескорыстии, в доброте, в терпении и сострадании. Все эти качества мы видим в книге Сергея Багрова.

С годами все больше видишь, что любовь и только любовь есть двигатель жизни. А рядом с ней всегда бережность к тому, кого или что любишь: к природе, и наш стыд перед ней за то, что, дождавшись от нее главной милости — самой нашей жизни, мы природу эту стали «преобразовывать» подчас неразумно, не сразу увидев, что преобразование есть затемнение образа природы; любовь к Отечеству, его языку (как прекрасен язык прозы Багрова, он — незаметен! Он настолько точен и единствен в словах и выражениях, что мы не слова, не строки видим, но живых людей, их действия, место этого действия); любовь к родителям и нашу вину за те огорчения, что мы им приносим; любовь к детям и их влияние на нас, ведь дети лучше нас, и мы, общаясь с ними, улучшаемся; любовь друг к другу, а отсюда наше прощение друг друга...

Как беден тот, кто не читает хороших книг. Он может прекрасно себя чувствовать, сладко есть, крепко спать, но — бедный — он проживет только одну жизнь. А тот, кто читает, проживает их множество. В нем рождается и крепнет милосердие, ведущее к жертвенности, к способности самоотречения, к тем качествам, которые всегда отличали лучших выразителей духовности нации, которые увидела, показала и продолжает показывать русская литература. Книга Багрова по всей сути своей продолжает именно эту линию русской прозы.

Вот книга стоит на полке, и полнейшее ощущение, что она излучает тепло.

Владимир Крупин



ПОВЕСТИ



ДЕНЬ НЫНЧЕ НАШ

Воздух густел, наливаясь синью, медленно плыл за лесной горизонт, куда садилось скуластое солнце. Туда же тупым темным клином тинулась и зябь, еще не вскрытая боровами. Остановив гусеничный, Горынцев выпрыгнул из кабины, глянул вирищур на пласты не тронутой с осени пашни. «Пять га, не боле, — прикинул на глаз, — завтра, поди, и закончу». И, подойдя к прицепному замку, передумал его открывать. «Пройдусь на своих, а то на машине да на машине — скоро совсем ходить разучусь».

За свежей межой, в непролазных кустах густого заполья, трещали дрозды. Солнце скрылось, и небо на западе стало оранжево-радостным, светлым, казалось, там находится рай, где исполняются все желания. Шел Семен по заросшей цветами мать-и-мачехи старой тропе и рассеянно улыбался, не понимая: чего бы себе пожелал, если бы вдруг распахнулись ворота рая? А ничего бы, пожалуй. Самое главное, без чего семьянину в деревне нельзя, у него уже было. Была работа, крыша над головой, жена и малая дочка. Не было мотоцикла. Так тоже будет. Месяца через два. К той поре поднакопит деньжат, благо он зарабатывал славно. По двести в месяц, а то и больше. Семейным Горынцев стал два года назад, а успел уже заве-

сти и новую мебель, и телевизор. Мотоцикл Семен купит с коляской. Будет ездить на нем куда пожелает душа. И в город, и на рыбалку. Это сейчас мотоцикл. А потом, если все пойдет, как до этого шло, то купит Семен и машину. Сперва «Запорожец». После «Москвич». А потом, пожалуй, и «Волгу».

Сердце Семена бахвальнойкой заливает. Ему приятна мысль о себе как об удачливом человеке, который умеет, наверное, все. Таким, разумеется, стал он не сразу. Семен и сейчас с досадою вспоминает те пять скитальческих лет, которые он угробил, катаясь, как распоследний шатун, по стройкам и мехколоннам, где ни к какому делу не мог применить своих рук. А не мог потому, что любил жить в народе, не затерявшись, а крупно высунувшись наружу. Работать Семен умел на бульдозере, тракторе, кране и вообще на любом механизме. В этом деле поднатолкался за время действительной службы, да и до армии кое в каких механизмах соображал и даже сезон стоял за штурвалом комбайна, убирая на нем колхозный овес. И потому никакая работа на новом месте его не пугала. Справлялся с нею как опытный мастер. Однако был Семен по натуре нетерпеливым и ждать не умел. Ему надо было не завтра, а только сейчас. Слишком уж быстро ему хотелось выйти-вырваться из низов, из рядовых, неприметно-обыденных трактористов, кто всегда на невыгодно-черной работе, где платят меньше, чем заслужил. Для того и пытался пробиться сквозь тесные плечи этих людей, чтоб заявить, дескать, я не такой, я способнее, лучше. А коли лучше, то обеспечьте приличной комнатой в общежитии, чтобы не было в ней постоянных попоек, грязи, брани и драк, и дайте такую работу, где бы всегда было видно, что он не из племени неспособных, которых можно не замечать. Не понимало начальство Семена, думало, рвач, поэтому и не шло навстречу. Что оставалось ему? Брать расчет и с тяжелой душой уезжать на новое место. Но на новом месте все повторялось так же, как и на старом. И снова Семен отправлялся в неведомый путь. За эти

пять лет изъездил почти полстраны. Под конец измотался настолько, что поневоле вспомнил родную деревню. Деревню Гриву с ее небольшой, но уютной стайкой стареньких изб и большой, в несколько новых посадов, ватагой домов-квартирантов, свезенных сюда из других деревень. Вспомнил, махнул рукой и приехал, дабы забыть свои неудачи, поукрепить мало-мальски нервишки и, отдохнув, снова тронуться в путь. Велика страна, и такого быть не должно, чтоб Семен не нашел в ней хорошего места.

Но уж так устроен он, видимо, был, что, проживazole матери-хлопотуньи какие-нибудь две нецелые недели, с новой силой затосковал.

— Ой, бродяжка! — Мать глядела на сына как на последнего бедолагу, который уже непригоден для жизни среди деревенских людей. — Куда вот опять наострился?

— На БАМ, — ответил Семен.

Мать поднесла к вечно открытому под платком нечуткому уху большую бугорчатую ладонь.

— А где-ка она, эта БАМ?

— Там, — пояснил Семен с неохотой, — в Восточной Сибири.

Мать вздохнула так жалостно и так скорбно, словно прощалась с сыном навек.

— Эх тебя понесло? На самый край некрещеного света! Али не знаешь, что ближняя солома мягче далекого сена. Этта живи!

— Такие, как я, нужны на великих стройках! — сказал Семен убежденно, как прочитал заголовок в статье. И понял, что это решение будет последним.

Но не было денег. И это Горынцева задержало. Стал думать: где бы занять? Просить у матери стыдно. Она бы, конечно, дала. Но разве он мог принять кучку старательно сложенных в ящик шкафа аккуратных рублевок, в которых чуялись пальцы стареньких рук, откладывающих раз в месяц от пенсии этот убогий запасец? Не мог. Потому и пошел по родне, по соседям да по знакомым. И все-

го-то нужна была сотня. Клялся вернуть ее через месяц. Однако никто ему не поверил.

— Неправильно просишь, — сказал Семену Серега Гладкин, желтоволосый рябой тракторист. Когда-то вместе учились в школе. — Сам не знаешь, когда у тебя получка, а займешь под нее. Ненадежно это, едрена.

Проглотил Горынцев пилюлю и, рассердившись на всех, кто ему отказал в этой сотне, надумал сходить до конторы. Пришел к председателю в кабинет. Сказал:

— Готов повкалывать столько дней, за сколько можно сто рэ заработать.

Председатель колхоза Сергей Александрович Магарёнов, мужчина солидный, лет сорока пяти, с выплывавшим вперед крупным лбом, был не из тех, кто принимал па работу вслепую. Горынцева встретил он с осторожцей, как чужака, на которого нет и не будет надежды. И все-таки он предложил ему поработать на жатве, благо имелся свободный комбайн. Комбайн изработанный, старый, который было не жаль отдавать в незнакомые руки, потому что на нем вот уж год как никто не работал.

Не было выбора у Семена. Будь доволен и тем, что хоть дали работу, за которую станут платить.

К счастью, уборка не подпирала. До нее оставалось почти две недели. И Семен принялся за ремонт. Он знал, что ему не помогут: каждый в нем видел стороннего человека, который здесь для того, чтоб побольше урвать. «Попробуй урви!» — читал он в глазах механика Боронькова, который каждое утро, придя в мастерские, язвительно замечал:

— Стараешься? А не зря ли? Чтобы твой покойник зашевелился, надо не только этта иметь, — показывал пальцем на руки Семена. — Однако и этта! — Палец его прикасался к виску.

Выбираясь из-под комбайна, Горынцев смотрел на расплывшийся нос Боронькова — влажный, мягонький, эластичный, напоминавший живую лягушку, зачем-то вскочившую на лицо. Нос этот, а вместе с ним голубые глаза,

прикрытые мясом толстых надбровий, да палец, который все время стремился чего-нибудь показать, говорили о том, что механик скроен хотя и просто, но голой рукой его не возьмешь. Семену механик напоминал многих заведующих мастерскими, которым дана была власть, и они могли ею распорядиться согласно тому, насколько им подчиненный приятен. Такие завы всегда имеют любимчиков и постылых и постоянно ждут искательных слов, так как любят, когда их хвалят или просят у них что-нибудь. Семен не просил. Он крыл механика грубым вопросом:

— Подшипников дашь?

— Дал бы, да нет, — отвечал Бороньков с удовольствием человека, которому нравится делать отказ.

— А ремня приводного?

— Ремень — дефицит, — улыбался механик, — а дефициты мы достаем. И ты попытайся.

Комбайн был разут. Раздевали его колхозные хлеборобы. Целый год раздевали, и вот теперь за несколько дней Семен должен был найти всевозможные сегменты, муфты, болты, прокладки... Где только Горынцев не побывал. На кладбище техники за деревней, в полях, где, как скверная память о хлеборобах, ржавели мертвые агрегаты, и даже в карьере районного центра, набитого доверху ломом машин, который вот уже несколько лет никуда почему-то не увозился.

Успел-таки он до начала уборки поставить «покойника» на колеса. Успел и крышу на старой избе обновить, покрыв ее где руберондом, где толем. И этим так обрадовал мать, что она побежала было в сельмаг за бутылкой. Семен ее еле остановил:

— Не надо, мама. Не траться.

На комбайне Семен работал, наверное, с месяц. Дело шло хорошо. Смущало одно — убирает чужой урожай. Кто-то сделал большую работу — вспахал, посеял, заборонил. А он пришел на готовое — и доволен. Однако никто его в этом не упрекал, словно тот неизвестный сеяльник для того и старался, чтоб дело его подхватил и за-

кончил Семен. На душе у Горынцева потеплело. Механизаторы стали здороваться с ним кто кивком головы, кто улыбочкой, кто за ручку. И механик к нему подобрел, точно увидел в Горынцеве брата, с которым рад был встречаться почти каждый день. Как-то даже сказал:

— У тебя, Семен, голова — настоящий Совет Министров. Тебе бы механиком этта работать. Становися за-место меня.

Сказал вроде в шутку и в то же время с опаской: а вдруг Семену эта идея придет по душе? Однако Семен махнул пятерней.

— Начальником станешь — привяжешь себя к колхозу. А мне привязываться негоже. Я временно тут. Вот заработаю на дорогу — и наш вам привет.

В контору Горынцев пришел, уверенный в том, что заплатят лишь часть того, что он заработал. И он не ошибся. Выдали двести двадцать. При этом сказали, чтоб он сообщил в бухгалтерию адрес, куда посылать ему тот остаток, когда будет сделан перерасчет. Ничего не ответил Семен, лишь про себя подивился: «А платят здесь о-го-го».

В коридоре Семену встретился председатель. Вид такой, будто его караулил, чтоб, затащив к себе в кабинет, сказать задушевнейшим тоном:

— Умеешь работать, Горынцев! Комбайнишко твой никудышный. Многим его предлагал, да не нашлось смельчаков. По правде сказать, в тебя я не верил. А ты вон как подал себя. Герой!

— С дырой! — усмехнулся Семен, хотя где-то в душе был доволен, что так высоко оценил его председатель.

— Таких бы, как ты, дыроватых, поболе! — Сергей Александрович улыбнулся. Улыбнулся не только Семену, но, казалось, еще кому-то, кто неслышно вошел в кабинет, поощряя именно эту улыбку. — Третье место в районе занял! Сам секретарь райкома Завиялов спрашивал о тебе. Корреспонденты вон рвутся. Твой опыт хотят обобщить. А как обобщить, коли ты не колхозник? Вот в чем загвоздка. Подумай.

Семен пошутил:

— Может, мне в колхоз записаться?

— Не пожалеешь! — сказал Магаронов.

Заопасался Семен председательской хватки. Видать, умеет влиять на людей, понуждая делать их то, что бы шло на пользу колхоза.

— А что я буду иметь? — Семен специально задал вопрос, который бы в нем открывал жадноватого хвата.

— Все, что захочешь! — Магаронов прилег над столом, подвигая к Семену покатые плечи под старым шевиотовым пиджаком.

В голове у Семена мелькнуло: «Уговорит ведь, пожалуй. Вон как глазами-то засветил, ровно зверя поймал на приманку. Да не-е. Я вольняга. Живу и работаю где хочу. На привязном — не желаю».

— Ну дак как? — спросил председатель.

«Поторговаться, что ли, — прикинул Горынцев, — начальство не любит, когда много требуешь у него».

— Дом вон истлел, годен лишь на дрова, — начал Семен, полагая, что этот прозрачный намек Магаронова передернет.

Но Магаронов взглянул на Семена с ухмылкой щедрого богача, для которого дать человеку квартиру — сущая мелочь.

— Будешь жить в доме специалистов. Еще чего?

Семен растерялся. Он готов был услышать отказ. А вместо этого, будто в сказке, чего ни попросишь, то и твое. «Мало, значит, прошу», — догадался Горынцев и, посмотрев в глаза председателя, как отпетый халтурщик, наглым голосом заявил:

— Работу, чтобы каждый месяц не мене чем двести рэ! Магаронов не скрыл удивления:

— Это и все?

— Ну, — ответил Семен.

Председатель сказал:

— Трактор пригнали из капиталки. Считай, что оп твой. На нем зарабатывай хоть по триста.

Испугался Семен. Неужели прощай, свобода?

— Подумаю, — встал со стула и подошел к голове золотистого льва на дверях кабинета, взялся рукой за кольцо в его стиснутой пасти и, оборачиваясь, добавил: — Может, и в самом деле останусь. Но если чего не понравится, извините. Умчусь, как утренний ветерок. Слава богу, паспорт имею.

Магаронов вышел из-за стола.

— У нас беспаспортных ныне и нет.

— Как нет? — худо понял Семен.

— Время переменилось. Теперь все колхозники с паспортами. Кто хочет уехать — езжай. Насильно мы не держим.

Горынцев предположил:

— А если уедут, да и с концами?

— Приедут другие.

Запятно Семену:

— Такие, как я?!

— Самые нужные, те, у кого к работе талант. Словом, наши.

— Но я-то не ваш.

— Ничего. Повлияем. Будешь и нашим.

— А вашим, значит, нельзя уезжать?

— Ну почему? Коли уж надо — валяй. Только мы стараемся, чтоб до этого не дошло. Не оставлять же колхоз без грамотных кадров...

Горынцев ушел огорошенный и польщенный. Беспокоила мысль: ехать на БАМ ему или не ехать? Он привык сам собою распоряжаться — и вдруг живи и работай по чьей-то указке. Надо ли так? Горынцев вздохнул: «Черт его знает!» — и попытался понять, насколько полезна ему свобода. Для чего он ее бережет? Почему боится с нею расстаться? Пять лет он ей отдавался. А что она принесла? Не надежность, безденежье и усталость. Видимо, он не из тех, кому на свободе легко и просто. Где-то что-то он делал не так. Не умел ни на шаг приблизить себя к тому, к чему так всегда его сладко манило. А манило Се-

мена к устойчивым будням, когда не надо с тоской заглядывать в завтрашний день, полагая, что в нем будет лучше.

Дома Горынцева встретила мать такой испуганно-тусклой поглядкой, точно он тяжело заболел.

— Неужто поедешь? — спросила.

— В этом и закавыка, — сказал он, усаживаясь к окну.

Мать стояла перед Семеном, утоптанно-жалкая, с жилистыми руками и завалившимся ртом, над углами которого — две слезяные горькие складки.

«Если поеду, тут тебя не оставлю», — хотелось Семену сказать. Но он не сказал. Ну куда он ее? Матери нужен был угол. У Семена же не было ничего. Он и сам-то не знал, где и как станет жить, если сорвется из дому. Семен распахнул окно в огород.

— Картошку выкопаю сначала. Там погляжу. Может, тут, в Гриве, и зазиму.

— Так-то верней. — Глаза у матери засветились, и сквозь морщины лица проглянуло что-то давно ушедшее, молодое. — Свое и голо, да пропадет не скоро. А чужое все меж пальцев уйдет.

«Даже будь там у меня квартира, — продолжал Семен размышлять, — мать со мной так и так не поедет. Душа у нее избяная». И все же на всякий случай спросил:

— Ты, мам, чего? Паспорт, что ли, имеешь?

— Не... Паспорта не было и не надо.

— А мне председатель сказал, что ныне все колхозники с паспортами.

— Кому надо, тот его и забрал. А мне-ка на что? Я как ветка на дереве. Где дерево, тут и я. От родного местечка уж никуда не отбуду. И тебе бы пора жить при собственном доме. Подумай...

Думал Семен. Думал два дня напролет, пока копал в огороде картошку. На третий день пришел к нему Магаронов, вручил ключи от квартиры в новом, на два семей-

ства, брусчатом доме. И трактор велел обкатать — убедиться, насколько добро он излажен. И даже подъемные обещал. Однако Горынцев от них отказался. Подъемные свяжут с колхозом надолго. А это совсем уже ни к чему.

Переехал Семен в новобрусчатый дом. На первых порах его мать сокрушалась по старой избенке, мол, здесь не прижиться, задавит тоска, но скоро обвыкла и вечерами, глядя на сына, пыталась понять:

— Жениться-то, Семушка, как? Али не будешь?

Семен обещал:

— Это недолго. Вот только выгляжу пару себе...

Выглядывал пару Семен вечерами в клубе. Народу в нем собиралось прилично. Перспективная Грива вбирала в свои порядки семь вселившихся деревень. Было откуда взяться парням и девочкам. Семен выделялся среди ребят. Был трезв. Не курил. И внешностью взял: плотноплеч и высок, прямоносое с круглым изгибом бровей лицо его было настолько живым, что казалось, Семен вот-вот улыбнется и расскажет какой-нибудь анекдот. Не боялся Семен и сердитых поглядок парней, ревновавших к нему своих ухажерок, танцевал с кем хотел и частенько брал в руки новенький клубный баян, играя на нем что попросят. И вскоре многие из девчат открыли в нем жениха. Он же, приглядываясь к девочкам, терялся, не зная, кому отдать предпочтение: каждая нравилась чем-то своим, и он не прочь был остаться со славницей в теплых потемках, поцеловать ее, и обнять, и, рассеянно улыбаясь, уйти с ней вместе в вечернее поле к самому мягкому из стогов.

Мысль о том, что ему так и так придется жениться, не оставляла Семена ни ночью, ни днем. Он заведомо знал, что, женившись, станет тянуть на себя коренную упряжку хозяина дома. Тянуть напряженно и долго, из года в год повторяя одни и те же дела, на которых и будет держаться семейное счастье. Счастье? А если судьба над ним посмеется? И выберет он такую, с которой будет мучиться век? Это Горынцева и пугало. Бросая короткие взгляды

на плывущих по залу румяных девчат, он не испытывал к ним притягательного волнения. Сердце его работало ровно. И он начинал временами бояться: а если душа его устарела и прожила, не заметив самые лучшие дни?

И все же Семен однажды смутился, увидев среди танцующих незнакомку. Была она хрупенькой, с тонкой шейкой и белым лицом, на котором тепло и спокойно мерцали глаза. Почему-то никто с ней ни разу не танцевал. Семен пожалел, что был занят игрой. Разводил и сводил голубые мехи баяна и, нелепо волнуясь, то и дело вскидывал бровь. А она стояла возле столика, где пластинки. В синем платье, туфлях на низкой платформе — настолько просто была одета, что Семену казалось, будто пришла она не на танцы, а так, чтоб кого-то увидеть, что-то сказать тому человеку и тихо уйти. Она была самой неброской, однако Семен углядел в ее взгляде, лице и стройной фигурке какую-то нежную нераскрытость.

В перерыве между игрой, давая отдых рукам, Семен спросил у электрика Вали Гилева, красиво-нахального парня с шелковой розой в петлице ворсистого пиджака:

— Кто такая?

— А-а, — Валя выдохнул перегаром водки и лука. — Учителка наша. Не примазаться ли желаешь?

— Ладно... Двигай, — Семен подтолкнул электрика краем баяна.

Вот почему с ней никто не танцует. Профессия виновата. Знал Семен, что в районах холостяки ко всем учительницам-девчатам относятся сдержанно, как к чужим, помеченным чем-то строго-запретным. Не случайно такие девчата остаются в невестах до той поры, при которой так мало надежды выскочить замуж.

От того же электрика Вали Гилева Горынцев узнал, что зовут ее Леной, что в школе она первый год и что никто к ней пока на знакомство не набивался.

Конца танцев он еле дождался. Прорываясь через толпу за клубным крыльцом, не упускал из виду легонькую фигурку. Настигал ее с робким испугом, точно боялся,

что кто-то его обойдет. Ах, как она встрепенулась, как растерянно глянула снизу вверх, когда он догнал ее и сказал:

— Я здесь! Извините! Уж так получилось!

Она лишь таращила на него побитые легким испугом глаза.

— Что случилось?

— А что мы вместе!

— Вместе? — переспросила она.

— Вместе! Вместе! — Семен засмеялся. И она засмеялась.

И кто бы тогда мог подумать, что слово «вместе» окажется вещим, привяжет обоих друг к другу и поведет по житейской дороге, в которой будут: прогулки в рябинах за перелогом, чувство неловкости и любви и огромный, на двести сидений, поставленный в клубе свадебный стол. Свадьба далась Семену легко, потому что все хлопоты взял на себя Магаронов. Намеренно взял, видя в свадьбе особенный смысл. Выделил деньги, продукты, машину. Пригласил районного ранга гостей, среди которых был даже сам председатель райисполкома. Привез фотографа из райцентра. Семен ощущал себя человеком, который взял непростительно много и этим, быть может, обидел других, справлявших тоже когда-то богатые свадьбы, по не за счет колхозной казны. Зато Елена его сияла. Ей верилось, будто она и он в глазах жителей Гривы крупно выросли в этот день, оттого такое к ним внимание. Подарки, тосты, цветы — все это она принимала с таким искрящимся блеском в глазах, с такой благодарной улыбкой, точно хотела воскликнуть: «А я и не знала, что так хорошо бывает на свадьбе!» Семен ревновал ее сразу ко всем и сильно желал, чтоб скорее закончился пир и можно остаться с Еленой без посторонних.

Остался. Остался на целую жизнь. И было Семену на многие дни наперед хорошо оттого, что жизнь подарила ему еще только начало с его чередой друг на друга похожих супружеских дней, любимой дочкой Наташей и слад-

ко тревожным, чуть слышимом зовом, что каждый вечер кличет и кличет Семена домой.

И теперь этот клич поднимался в груди у него. Шел Горынцев ныряющим шагом физически сильного мужика, который как следует поработал.

До Гривы около двух километров. Идти каких-нибудь тридцать минут. Однако хватило и их, чтобы вспомнить свою некороткую жизнь, увидев себя в ней удачливым человеком, которому слишком уж много стало везти. Семен размышлял: «Отчего такое бывает: одной половине людей хорошо, а второй — не особо? Можно подумать, судьба управляет нами. Отсюда и жизнь одних — в самый верх поднимает, других — опускает на самый низ...»

От деревни послышался женский, с провизгом голос. Семен узнал телятницу Павлу.

— Я раздознаюсь! Справлюсь в конторе! Сорок рублей! Не смешно? Кто, скажи, в наше-то время эстоль денег домой приносит?

Понял Семен: Серегу Гладкина потрошит. Вот уж кто неудачник так неудачник. И жену себе выбрал, будто в насмешку, — настоящую Бабу Ягу, только-только что не с когтями. Уж больно Павла его несуразна. Всем-то она недовольна, всех-то ругает, а Серегу, бедного, тем допекает, что мало денег приносит домой. А где ему больше-то заработать, коли родился с дырой в горсти. Но разве Павла это поймет? Так и будет глушить мужика худыми словами.

Слышен глухой переступ тяжелых копыт. Чей-то тающий смех. Звон бадейки у огорода. Вечер. В воздухе бродят не только сумерки, но и усталость. Разглядеть усталость нельзя, но Семен ее ощущает. Казалось, прошел работник в жилое, а усталость оставил по-за крыльцом. И вот она бродит, неслышная, между дѣмами, смотрит с тоской в освещенные окна и, не выдержав скуки, печально вздыхает. И вздохи ее почему-то похожи на трепет листвы палисадных берез и скрип затворяемой двери.

Дом Семена на улице, где поселились специалисты.

Все дома друг на друга похожи: два крыльца, две трубы, четыре окна на дорогу. Лишь живут в них по-разному — кто одной семьей, кто — двумя. Соседом в доме Семена — ветеринар Скорогоров, он же колхозный парторг.

До дома Горынцев еще не дошел, как увидел Зою Ивановну, зав. сельским клубом, вялую девушку в белой блузке и юбочке до колен.

— Сегодня, Сень, репетиция! Ты придешь?

Чего и спрашивать зря. Репетиции эти Семен ни разу не пропускал. Он, единственный в Гриве, кто умеет играть на баяне под песню, пляску и хоровод. Да и любо Семену среди молодежи, где он вроде как самый главный, а это льстило ему всегда.

— А другие придут?

— Должны бы. — Голос у Зои Ивановны скомканный, смутный. Она ни в чем не уверена. А не уверена потому, что работает с зыбкой душой, как отбывая худую повинность. Родом Зоя из Вологды. Могла бы сюда и не ехать. Да думала: может, найдет жениха. Полагала, что с этим в деревне проще и легче. Возможно, и так. Но колхозные парни тоже не все лопухи и невест выбирают из тех, кто побаще*, поглаже да позадорней. Зое же было двадцать шесть лет, плоска плечами и грудью, ноги сухие, глаза тускловаты, только волосы и красивы — длинные, темные и густые, они, спускаясь к плечам, так обнимают лицо, словно хотят его спрятать. К таким, как Зоя Ивановна, Семен снисходителен и участлив.

— Сама-то там будешь? — спросил.

— Сегодня некогда мне.

Семену немило. Опять ему надрываться, командовать юной ордой, которой куда приятней валять веселого ваньку, чем репетировать номера. Рассмеялся Горынцев ненатурально:

— Нет уж, давай как светлая ангелица!

Ангелица стояла на бровке дороги. Навивая с плеча

* П о б а щ е — миловиднее.

на палец послушный моточек волос, тихо маялась и вздыхала. Репетиции эти ей в тягость.

— Я постараюсь, конечно. Но, Сень...

— Зоя Ивановна! — не дал продолжить Горынцев. — Смотри! До того достараешься — будешь жалеть! Вот возьмут и поставят меня заведовать клубом! Как это будет тебе?

Зоя Ивановна улыбнулась.

— Я председателю так и скажу?! — пообещала с не свойственной ей задорцей и, запнувшись за глыбку дороги, припустила по улице, вдоль огней.

Горынцев глядел на белевшую в сумерках блузку и, жалея девушку, думал: «Нашелся бы женишок — мигом бы девку переменило...»

Не чаял Семен, не гадал, что судьбу его в этот вечер попробует взять в свои руки Сергей Александрович Магаронов. Попробует взять и возьмет. А Семен и знать ничего не будет, что в жизни его наступил поворот: ему ни нынче, ни раньше не было дела до тех, кто решал за него, каким образом должен он жить. Он пришел с работы домой. Он устал. Он голоден. И сейчас, насыщаясь едой, ощущает, как хорошо ему в маленькой кухне, где запахи щей, лепет девочки, говор женщин и этот теплый покой, который снимает с него физическую усталость.

Мать, как курица-хлопотунья, с кудахтаньем ходит по кухне, подносит Семену то чай, то варенье и вдруг, сложив на переднике руки, спрашивает его:

— Корову-то как? Али заводить и ноне не будем?

И жена с той же песней:

— Правда, Сенечка, правда?

— Без свооо молока что за жизнь, — продолжает мать наступать на Семена. — Ты вот чайком наливаешь себя. А девулю чайком не станешь. — Мать откуда-то из-за стула выводит кроху Наташу, гладит ее по височкам. —

Вон какая тонявая, ровно сучок. А молочко-то домашнее будет, нальется, как топничок.

Семену коровы не надо: много будет возни. Сено косить. А на сено уйдут все вечера и все выходные. Целое лето будешь как в пекле.

— Но я хотел мотоцикл, — упорствует он.

Жена наклоняется к дочке, проводит рукой по лопаткам спины, проступающим сквозь рубашку.

— Ты, Сенечка, сам погляди, какая Наташка у нас сухая. Молочком ее только и переменишь. Скажи, Наташенька: «Папа, купи мне корову!»

Наташеньке год. Знает всего лишь четыре слова: мама, папа, баба и дай. Повернув к отцу кукольное лицо, чистейшим голосом произносит:

— Дай!

— Это она коровушку просит, — подсказывает жена. — Верно, Наташенька?

— Дай! — повторяет малышка.

Семен не может не улыбнуться и уже кается в том, что сказал насчет мотоцикла. Мотоцикл обождет. Здоровье дочки важнее. Вон какая она у него. Как макаронинка в белой рубашке. Надо, надо ее выправлять. Купил бы корову в прошлом году, — возможно, и кроха была другой. А он кишиневскую стенку, диван, телевизор. Считал, что девочке может быть хорошо с покупным молоком. Но покупное, видимо, ей не на пользу.

— Ладно, — промолвил Семен, — ты, мать, поспрашивай по деревне. А ты, Елена, в контору сходи. А мотоцикл... Мотоцикл через год. Денег не хватит — займем. Слава богу, день пычке пап...

Ублажил, успокоил Семен домашних и, пересев от стола к окну, усадил на колени дочь и начал просматривать с ней газеты. Однако дочери не сиделось. Вернее, сиделось, но как на колу. А минуто спустя она уже слезла и, взяв отца за подол не заправленной в брюки рубахи, что-то сказала и повела. С перевальцей и кряканьем, точь-в-точь уточка по осоке, прошла по кухне, прошла по спаль-

не, остаповившись в углу за диваном, где, оплетенный двумя ремнями, подремывал клубный баян. Семен берег его от охотников поиграть, в чьих руках он давно превратился бы в развалюху, и потому после спевок всегда забирал инструмент домой.

— Вох! — вздохнула малышка, заглядываясь на папу, и это значило — поиграй!

Семену приятно потрафить дочурке. Играет на маленьких вздохах баяна, чтоб было потише, так как за стенкой, где письменный стол, сидит, проверяя тетрадки, Елена, и надо, естественно, ей не мешать. Детских песен Семен не знает, но, вспомнив одну из народных, какую они речетируют в клубе, тихонько запел:

Ходили девушки по бережку,
Сеяли девушки ярый хмель.
Сеямши, садимши, приговаривали:
«Рóсти ты, рóсти, ярый хмель,
Без тебя, хмелюшка,
Пива не варят и вина не курят,
Холосты ребята не женятся,
Красны девушки замуж нейдут...»

Напевает Семен недолго: дочка, поерзав пальцами по баяну, кивает головкой, мол, хватит, спасибо, и уплывает на кухню, где бабушка моет посуду и можно, стало быть, ей подсобить.

Без пяти минут семь. Пора бы и в клуб. Вскинув баян на плечо, Горынцев выходит к жене. Встал в дверях косяковым столбом. Елена не замечает. Свет настольной лампочки заливают ее высокую шею, лицо с тонкой складкой над переносьем, стиснутый пальцами карандаш и две аккуратные кипы тетрадок. В наклоненной шее жены, в прядке русских волос, нависших над узеньким носом, — сосредоточенность и забота. Смотрит Семен на Елену жадно и радостно, словно в последний раз, и ждет-поджидает, когда она все же его заметит. «Устала», — сочувствует ей. Да и как не устать, если работает сразу в трех классах. Одна на всю школу. А в школе шестнадцать детей:

семеро — в первом, четверо — во втором и пятеро — в третьем. Уроки, тетрадки. Некогда дочку на руки взять. Хорошо, хоть бабушка есть. Она Елену и выручает.

Семен шумно вышагнул из дверей. Увидев его, Елена порывисто встала, в одной руке — промокашка, в другой — карандаш. Подошла к нему, кротко прижалась:

— Опять в этот клуб?

— Угадала!

Горынцев ушел, унося в майские сумерки улицы ощущение праздничного напора. То и радовало Семена, что жена у него умна и сердечна, по-пустому не ссорится, только изредка ревнует к клубу, да и то несерьезно, как бы шутя.

Возле клуба встретился председатель. Магаронов едва не всплеснул руками, так сильно обрадовался Семену.

— Репетировать?

— Да, маленько.

— Доброе дело! А как у нас с бороньбой?

— Завтра к обеду, поди, управлюсь. А после обеда скатаюсь по жерди — просил бригадир.

— По жерди не надо! — Сергей Александрович улыбнулся, и Горынцев увидел в его улыбке какой-то запря-
танный смысл. — По жерди поедет другой. А ты загля-
нешь ко мне в контору. Есть разговор.

Председатель ушел, посеяв в душе Семена какое-то подозрение. «Наверно, опять в механики будет сватать, — подумал. — Зря, фор-мотор. При живом Боронькове век свой не пойду. Да и на кой это мне? Механик сто тридцать рэ получает, а я в полтора раза боле. Такая закуска мне не по вкусу. Тем паче, корову затеял купить. Не сегодня завтра залезу в долги. Предстоит отдавать. А с зарплатой механика не разбежишься. Будешь путаться в этих долгах, как муха задохлая в паутине».

В кряжисто-приземистом клубе двери распахнуты настежь. Горынцев вошел в заставленный стульями зрительный зал, тайно желая, чтоб спевки сегодня не состоялись. Не было Зои Ивановны. Не пришел деклама-

тор стихов. Не явился плясун. Был лишь хор из шести человек.

Играя, Семен смотрел на ансамбль — простовато-лохматых парней в белых рубашках под пиджаками и девушек в плотно обтянутых брюках, едва не трещавших на перехватах, и видел в их лицах какое-то хитрое выражение, точно желают что-то спросить, да не знают: уместно ли это? И так целый вечер, пока вели отработку песен и составляли игру-хоровод, ловил баянист в глазах деревенских артистов этот лукавый, угайливый блеск, намекавший на то, что они о Семене знают побольше, чем знает он сам о себе. Под конец Горынцев не выдержал:

— Чего это с вами такое?

Ему намекнули:

— Магаронов сюда заходил.

Не удивился Семен.

— Кого-то, значит, хотел увидеть.

— Тебя и хотел, — подсказали ему.

Горынцев вспомнил свой разговор с Магароновым возле клуба и недовольно предположил:

— Чего-нибудь по работе. Наверно, в механики хочет запрять.

Артисты оспорили:

— Не-ет. Он сказал, что теперь ты будешь заместо Зои Ивановны в клубе.

— Фор-мотор, — Семен покраснел, — чепуха какая-то, ересь...

Возвращался Горынцев домой в тревоге. «Неужто за этим и вызывает? — подумал и зло рассмеялся. — Не! Тут чего-то не так! Тут какая-то авантюра...»

Но авантюры не было никакой. Убедился Горынцев в этом после того, как провел бессонную ночь и, вскрыв на тракторе боронами остаток зяблевой вспашки, в скрипящем от пыли комбинезоне, сморщенных кирзовых сапогах и захватанной кепке явился в контору.

Магаронов сидел за столом с видом сельского акти-

виста, который затеял большое дело и доведет его до конца. Вчера по вечеру заходила к нему Зоя Ивановна и сказала:

— Все, Сергей Александрович! Парработалась! Хватит!

Магаронов не возмутился. Был он из тех вожakov, которые всюду, где только можно, окружали себя своими людьми. Председателем он пятнадцатый год. Во многом сумел преуспеть. Особенно в деле отбора людей. Колхоз его был из немногих, где ни в доярках, ни в трактористах нехватки не знали. И случись кому из колхозников встать в недовольную позу, Магаронов давал упрямцу понять, что готов с ним немедля расстаться: есть кем его заменить. Сергей Александрович делал ставку на кончивших среднюю школу ребят, посылая учиться в училища, техникумы и вузы. Возвращались, конечно, не все. Но кое-кто все-таки возвращался. Поэтому-то и был председатель спокоен за рядовых колхозников и колхозниц, за бригадиров, специалистов, за тех, кто осел капитально при почте, медпункте и сельсовете. Лишь в клубе не было человека. Вернее, был, да не тот.

Магаронов взглянул на Зою Ивaповну как на одну из тех неудачниц, кого он жалеть и щадить не хотел, потому что жили они без пользы.

— А замена? — спросил без всякого интереса, лишь бы что-то спросить.

— Замена есть!

Сергей Александрович не поверил.

— И кто?

— Семен Горынцев, наш баянист!

— Наш лучший механизатор, — поправил с ревностью председатель и, попрощавшись с завклубом, которой завтра же и велел прийти в бухгалтерию за расчетом, серьезно задумался о Семене. Сколько раз он видел этого дюжего мужика на вечеринках, праздниках и гуляньях, слышал его игру на баяне и чувствовал, что у Семена талант. «Не один талант — два! — размыш-

лял Магаронов. — Талант баяниста. Талант земледельца. Весьма любопытно. И очень, очень занято. Ведь можно и так посмотреть: колхозное дело у нас на взлете, клубное — на упадке. Так что рискнуть, поди, стоит. Тем паче парень с десятилеткой, не пьет, и жена работает в школе. Да-а. С трактора, стал быть, долой? Очень бы этого не хотелось. Однако не все по хотенью. В конце-то концов человек заменим. Не одним, так двумя орлами его заменим. В одном потеряем — в другом подберем. Ишь ты, какую подсказку подкинула мне эта Зоя. Для клубной работы Горынцев, гори его лампочка, как находка! Интересно, сам-от Семен как посмотрит на это? Положительно? Вряд ли. Значит, возьмем в оборот. В оборот убеждений и уговоров...»

И вот Семен в кабинете. Брови встопорщены.

— Тут ко мне Зоя Ивановна приходила, — сказал Магаронов, тщательно подбирая слова, которыми мог бы воздействовать на Семена. — Интересную мысль подала. И я на нее вроде клюнул.

Смятение и испуг, что с этим смятением он не сладит, охолодили Семену виски. Он дошел до стола с замороженно-моргающим взглядом набитых усталостью глаз.

— Брось, Сергей Александрович. Чую: метишь меня засунуть в культуру. А хочу ли я? Ты спросил?

— Знаю, мой дорогой: не хочешь. Но войди в мое положение, — заговорил председатель густым, солидно поставленным голосом шефа, с которым спорить нехорошо. — С культурой у нас на селе каково? Хуже не надо. А кто ее возглавляет? Зоя Ивановна, сонных кровей молодлица. Надо срочно ее заменять. Что я и сделал. Лучшей кандидатуры, чем ты, нет и не будет.

— Но у меня не получится, вот в чем дело! — воскликнул Семен.

И Магаронов воскликнул:

— Не соглашусь!

Почувствовав, что разговор пошел не на равных, Семен уселся на стул.

— Я умею играть на баяне. Но я не умею руководить.

Сергей Александрович отряхнулся от этого довода, как от мухи.

— Не боги горшки обжигают! — Его выступающий круто вперед, похожий на бок чугуна круглый лоб, жесткие складки наискось щек и сплетенные между собой пальцы рук — все открывало в нем твердого человека, который будет стоять на своем.

Горынцев спросил:

— Или худо на тракторе я работал?

— Хорошо! Но не в этом, любезный мой, дело. А в том, что нам нужен проверенный человек. И обязательно свой!

— А сколь у этого своего будет зарплата?

— Девяносто рублей.

— На такие деньги кто может жить без забот? — спросил Горынцев и сам же ответил: — Тот, кто ест и пьет через день. А у меня семья! Четверо ртов!

— Ну, ну, — Магаронов поставил локти на стол и, хлопая крепкими, как железо, краями ладоней, начал качать их перед собой. — Разошелся, ровно бунтарь-одипочка. Зарплатишка, знаю, мала. Но ведь можно чего-то и предпринять. Неужто колхоз обедняет, если найдет для тебя какую десятку? Найдет, да еще не одну. А годка через два, много — три мы отгрохаем Дом культуры. Ночище районного будет. И ты директором в нем! А у директора ставка — жаловаться не надо. Словом, Семен Севастьянович, все будет как надо. Так что давай облачайся в вечерний костюм. Все! Успехов тебе в культурной работе!

Магаронов подал Горынцеву руку. Рука у него была тяжелая и сырая, словно вынутая из глины.

— Успехов не будет, — заверил Семен, выходя как побитый из кабинета.

Шел Семен пыряющим шагом, с кепкой в руке и упругим свесом волос, щекотавшим его переносье. С за-

литых солнцем полей в зыбком порхапии ветра струилось тепло подпагревшейся за день земли.

— Фор-мотор, — бормотал Горынцев, ощущая себя в положении человека, с которым проводят эксперимент. На ум, как всегда в минуту отчаянной злости, являлась мысль о свободе. «Я казак вольный! — думал Семен, ища для себя спасительный выход, которым бы мог он воспользоваться однажды, когда ему станет непомогуту. — Меня в культуру не затолкаешь. Только попробуй. Заступу — не старое время — найду. А то махану как в райцентр. Химлеспром, сельхозтехника, силавконтора, маслозавод... Слава богу, не я работу, она меня ищет...»

К дому Семен подходил, утешив себя на мысли, что такие, как он, пропадать не должны. Во дворе, среди развешанных там и сям детских рубашечек и колготок, Горынцев увидел мать с ломоточком хлеба в руке, а за ней, чуть поодаль, возле ворот деревянного сарая — комолую, пестренькую корову.

— От Горбовых привела, — сообщила мать, кивнув на пеструху. — Хотели ее на бойню, в город. Завтра бы и свели, кабы я про такое не раздознала. Недорого и берут. Четыреста тридцать. Деньги можно не сразу. Они подождут. Отдадим осенесь.

Семен потускнел.

— А успеем?

— Надо успеть. У них, у Вити, в Октябрьскую свадьба...

Скорей бы прожить этот день, настолько все в нем Семену было невыносимо. Не только мать, но и жепя, видя, что он не в себе, приставали с расспросами: не стряслось ли чего у него на работе? Но он не хотел их расстраивать до поры. Сказал, что немного приутомился и что пойдет сейчас спать, дабы завтра пораньше уйти в мастерские.

Утром шел крупный дождь. Поблескивал шифер на крышах. Шумела трава. Листья бились и трепыхались,

словно отмахивались от ветра. А он знай заламывал ветки с цветами черемух, швыряя их в лужи и грязь.

Горынцев пришел в мастерские, закрывшись в брезентовый плащ с капюшоном. Трактор его стоял возле бочки с соляркой. В груди у Семена чуть потеплело. Значит, вчерашнее, что было связано с разговором о клубе, можно, видимо, позабыть. Председатель, наверное, понял, что ставить Семена завклубом — дело пустое, и отступился. Горынцев залил водой радиатор. Проверил нигрол. Завел заревевший мотор. И в эту минуту к нему подошел Бороньков. Его голубые, под гнетом мясистых подбровий глаза, нос-лягушка и палец, ласкавший пуговицу плаща, объявляли о том, что он неприятно смущен.

— Ты, Семен, не подумай, — сказал Бороньков, — но этта я ни при чем. Магаронов велел тебя к трактору не пущать.

Семен ожидал этих слов, но не думал, что скажет их Бороньков, у кого он был первым любимцем. В груди у Семена обвальюно осело, и сердце испуганно заметалось, словно была под ним пустота. Он устало оперся о бочку с соляркой. Окинул потерянным взглядом гряду рыжевато-породистых туч, поливавших дождем просторный, с косыми воротами двор, угол навеса с красневшим комбайном, крышу кирпичного гаража и стоявшего рядышком с ним Боронькова.

— Кто я теперь? — спросил Горынцев с ожесточением.

Бороньков заморгал. Он не хотел ухудшать отношений ни с Магароновым, ни с Семеном. Он был из памятных и потерпевших, детство его приходилось на годы войны, и теперь, достигнув кое-каких устоявшихся благ, страшно боялся с ними расстаться и поэтому с каждым, кто мог в его жизнь неприятно вмешаться, старался держаться настороже.

— Сходить, может, вечером до конторы? — спросил Бороньков в надежде, что этого не случится. — Поговорить с Магароновым? Стоит?

Спросил и тут же заонасаялся: а вдруг тракторист поймает на слове?

— Стоит! — сказал Горынцев, словно ударил, и, смахнув с головы капюшон, припустил резким шагом к воротам.

Затяжное чувство потери привычного и родного, к которому он так ладно прижился, зацепило Семена за самое сердце и держалось в нем, пока шел вдоль посадок вымокшей Гривы.

Дождь стихал. Бурлила стекавшая в кадцы вода. Пахло всходами яровых. В голове у Семена торчком подымался вопрос: «Куда мне деваться?» Вчерашняя мысль о свободе, о том, что можно сорваться в одну из контор районного центра, казалась сейчас какой-то неверной. Знал Семен, отчего человека мотает по белому свету. Оттого, что он молод, неопытен и горяч. Оттого, что душа тоскует по людям, с которыми он никогда не встречался, а встретившись с ними, быть может, узнает в них тех, без кого его жизнь была бы несносной. Оттого, что нет у него обязательств ни перед кем. Оттого, что он рвется быть независимым и счастливым, не понимая того, что стремится к этому каждый. Все это Горынцеву было знакомо, испытано им до конца, и сейчас он был рад привязать себя к дому. Он не был готов к отъезду, как не был готов и к тому, чтоб явиться домой поутру. Никогда он с работы утром не возвращался.

Но вот он простукал гулкими сапогами по желтому полу сеней, заступил за порог, снял промокшую кепку, тяжелый брезентовый плащ и, увидев свою староватую, в белом платочке и фартуке мать, утомленно сказал:

— Чего-то я в этой жизни не понимаю.

Мать задержала впалую грудь на жалостном вздохе:

— Семушко! Эко тебя изменило?

— Заведовать клубом меня переводят.

— А ты?

— Не хочу.

— А чего станешь делать? Жаловаться куда?

— Там погляжу.

Стыдно Семену вести разговор о себе, как о каком-нибудь замухрыге, которого обижают, а он не умеет себя защитить. Стыдно с матерью о таком. А еще стыднее — с женой. Однако его вынуждало. И он сказал подавленным голосом и Елене, когда та вернулась из школы домой, что он уже больше не тракторист.

Елену это не огорчило.

— Заведовать клубом? Это же славно! Чистеньким будешь ходить!

Семен невесело улыбнулся: непрактичность жены иногда его забавляла, но сейчас ему было не до забав.

— Этот чистенький, знаешь, сколь рэ отхватывать будет?

— Ну-ко? Ну-ко?

— В два раза мене, чем тракторист.

Елена смутилась и удивилась:

— А что теперь, Сенечка, делать?

— Мать тоже спрашивает об этом, — сказал Семен.

— И я спрашиваю. Да только до завтра я ни себе, ни вам не отвечу.

— А что будет завтра? — спросила Елена с испугом. Семен пробубнил:

— Бороньков обещал сходить к председателю и постоять за меня.

— Кому и поверил! — вмешалась мать. — Понорóвщичу-хитряку! Да у него два беса под мышкой: одним угождает, другим угрожает. Ты кто теперь для него? Пустое местечко. А коли так, то и нету ему резона стоять за тебя...

Может быть, не права была мать, но Семен на другое утро, придя в мастерские, механика там не застал. Слесаря, трактористы, ремонтники, завидя его, обрывали свои разговоры, здоровались с ним с виноватой улыбкой людей, желающих знать: что, интересно, должно стать с упрямым, не побоявшимся бросить вызов отцу колхоза

как называли все Магаронова за спиной, коли тот уже что-то решил и от этого не отступит?

— Бороньков в город уехал, в командировку, — сказали ему.

Дрогнул Семен, ощущая, как от затылка куда-то кшее, взрыв загревок волос, продрало морозным.

— Это когда он уехал?

— Вчера, перед самым обедом.

Больше Горынцеву нечего было здесь делать. Минувя фрезерный и токарный станки, он направился вдоль смотровой черной ямы. Шел и чувствовал на себе неподвижно-слепое мерцание тракторных фар, всполох сильной, в пятьсот ватт, лампы под потолком и сочувственный взгляд чьих-то пристальных глаз, смотревших в висок ему со сторонки.

Не поднял бы Семен головы, пока проходил, сунув руки в карманы, по жирной тропинке большого двора, да услышал знакомое бряканье траков.

Слева, шагах в тридцати, пёр гусеничный. Остановился Семен, узнавая свою машину. Вот и трактор уже отобрали, подумал. А на тракторе кто? Ну конечно, Гладкин Серега — веснушчатый сухонький тракторист, кто все время кого-нибудь подменяет. Был Серега каким-то безвозрастным мужиком. Брился от бапи до бани и за собой не следил, ибо стал человеком семейным, усвоившим раз навсегда, что жена от пего так и так никуда не сбежит, даже если он будет выглядеть вдвое хуже.

Поравнявшись с Горынцевым, Гладкин выключил фрикционы и дверцу открыл, показав из потемок вострый галочий нос.

— Обижаешься, Сень?

— Ты как думал!

— Я что? Я ничего! Мне как сказали, так я и сделал. Вон велено ехать по подтоварник.

— Не тебе по него надо ехать!

— Но тебя же, Сень, сняли.

— А за какую провинку, ты знаешь?

— Мне что. Мне до фени. Я этим мало интересуюсь. Сам не рад, что ломлю на чужих машинах. Но заставляют, дак как?

— А ты бы не слушался всякого, кто заставляет!

— Ты даешь! Сам председатель заставил! Его не слушаться, что ли?

— Надо слушаться, да не силу.

— А что?

— Справедливость!

— Хе-хе! — подхихикнул Серега. — Ты справедливее, чем председатель? Не смеши меня, Сень!

Семен с отвращением плюнул.

— Чего с пестерём говорить! — И, взметнув лацканами комбинезона, пошел к приосевшим воротам.

Утренний мир был заплескан прыщущим светом. Свистели скворцы. Стекла в рамах сверкали, как самовары. А с чистых высот, рассевая вокруг голубое, неслись, не умея достигнуть земли, удивительно ясные проливы света. Все было таким обязательно нужным, приветным, своим, что Семену поверилось, будто и он частичка того светозарно-задорного, что бродило сейчас вместе с белой козой, стаей куриц и петухом по дорогам его деревни. Поверилось на минуту, пока он не увидел над палисадом конторы, в раскрытом окне круглолобое, в беглых морщинах лицо.

— Семен Севастьянович! Ну-ко давай заходи! — позвал Магаронов.

Отказался Семен заходить:

— Нечего там мне делать!

— Напрасно упрямисься, мой дорогой! — пенял председатель голосом человека, который, лаская, предупреждает и добивается своего. — Я же тебе лишь добра желаю! Так и ты мне ответь на добро! А, Семен Севастьянович?

— Ну чего еще там? — задержался Семен, цепляясь рукой за угол забора.

— Обижаете меня! — объяснил Магаронов с мягким укором. — Зачем ты снова в этой одежке?

Семен порывисто вскинул бровями, в глазах — суровая строгость тесного мужика, который все, что сказал Магаронов, не одобряет.

— Не то говоришь, председатель!

Сергей Александрович улыбнулся и подбородком чуть-чуть покачал.

— Говорю самоглавное, без чего деревне сегодня нельзя...

— Лучше скажи, — встрепнулся Горынцев, — как тепере мне жить, коли ты отсадил меня от работы?

Магаронов поправил:

— Не отсадил, а пересадил! Для всеобщей, так сказать, пользы.

Горынцев сердито вздернул плечами.

— Пользы?

— Да, мой милейший! Как ты этого не поймешь, что надо не только в личное вкладывать душу.

— В коллективное, скажешь? Так есть на это у нас председатель!

— Верно, Семен Севастьянович! — Магаронов даже привстал, как на крупном собрании за трибуной, обращаясь не столько к Семену, сколько к каждому, кто у него в колхозе работал: — Однако без вас, без помощников, у меня не хватит души. Потому такие, как ты, мне должны стать первой опорой. Вы со мной — хорошо, и я с вами — тоже! И что вас просят, то исполняйте, коли желаете жить...

Магаронов еще не закончил, однако Семен подхватил:

— Я желаю жить при деньгах!

— Будет старание — будут и деньги.

— Мне не всякие деньги нужны, а те, кои я заработал вот в этом комбинеzone.

Магаронов поморщился.

— Я же сказал тебе: зарабатывать будешь теперь ты только в вечернем костюме.

— Фор-мотор! — Широкая, как гребло на овине, рука Семена сжала зубчик заборной доски, да так неумеренно сжала, что тот отломился и бухнулся сухо в траву, когда Горынцев пошел скорым шагом домой.

Соблазнило на миг: сходить в магазин за вином. Однако он удержался. Деньги надо беречь. Предстояло из них часть отдать за корову.

Отворил Горынцев калитку. Но в дом не пошел. Уселся в крылечную тень, где звенели дворовые мухи да плел свою паутину золотобрюхий паук. И так неподвижно сидел, что мать, выходя с земляными руками из огорода, где полола морковь, посмотрела на сына недоуменно, не сразу смекнув, что это ее Семен.

— Опять сходил пусто?

— Опять.

— Хорош председатель. В руках не держал, а уже ссипал...

Мать завелась на жалеющий топ. Долго могла бы она об этом, да Семен попросил:

— Не будем!

Горынцев поднялся. Нашел хорошую тень под свесом сарая. Перебрался туда и снова сидел, шевеля ладонями на коленях. Надо было на что-то решиться.

В голову лезло сумбурное и тупое. Вскоре Семен задремал. Приочнувшись, когда в волосах его запорхала чья-то рука — легкая, мягкая, будто из пепла. Наташа! Она стояла в белой панамке, белом платице, белых носочках, вся белая-белая, как из снега. Глядя папу по голове, она сочувствовала ему, хотела, чтоб он улыбнулся и, раскрыв пошире глаза, взял ее к себе на колени.

И он, разумеется, взял, подул в жидкие волосенки. Дочь рассмеялась, сползла с коленей и, ухватив за пряжку комбинезона, по-утиному крикая, с перевальцей потянула отца за собой. Этот путь был знаком Семену с первого шага. Значит, в комнату-спальню, туда, где баян.

На инструмент с перламутровыми боками он посмотрел с неприязнью, как на врага.

— Гай! — сказала Наташа. И Семен улыбнулся, сообразив: дочь освоила новое слово. Переводилось оно — играй! Оправив ремни, он тяжело, точно камень, поднял баян на широкую грудь. Распахнул его. Пальцы, метнувшись по планочкам, выжали звуки. Выжали и споткнулись.

— Гай! — снова потребовала Наташа.

Семен помотал головой, взглянув на дочку с вялой улыбкой, словно хотел объяснить, что играть гармоника больше не может, потому что у папы устала душа.

Переодевшись, Семен прилег на диван и, перед тем как заснуть, иронически усмехнулся: «Падаю в рай! Этого только мне пынче и не хватает».

Его никто не будил. И он поспал хорошо. Первой, кого он увидел, была Елена.

— В отпуск, Сенечка, ухожу! — Уголки ее глаз смеялись, щеки в румянце, даже пуговицы на платье, попав под комнатный луч, сияли, как новогодние свечи.

Семен понимал, что надо бы как-то ему разделить с ней эту приятность, однако на ум приходило свое, и он, ломая губы в притворной улыбке, ждал момента, чтоб незаметно уйти и, оставшись один на один с не дающей покоя заботой, как-нибудь ее одолеть. «Кто бы мог за меня заступиться?» — пала в голову мысль, и Семен, боясь ее упустить, потихоньку вышел во двор. Не успел спуститься с крыльца, как расслабленно улыбнулся: не только в памяти, но и в натуре возник перед ним сосед Скорогоров, здоровенной лепки мужик, он же еще и парторг, один из немногих, кто не боялся вступать с председателем в спор, когда бывал с ним в чем-нибудь не согласен.

Скорогоров ходил, согнувшись, с лопатой по огороду, поправляя борозду между гряд. Он был в полотняной белой рубаше. Под ней тяжелой булыгой ворочался круп-

пый живот. Семен, подойдя, оперся грудью на верхнюю доску забора.

— Слышь, Васильич! Меня Магаронов с трактора снял. Хочет в клуб!

Ветеринар, отдуваясь, медленно распрямился, лицо его было малиново-спелым, как после чая с вареньем.

— Знаю, брат ты мой, знаю!

— Дак подскажи: чего мне теперь?

— Ничего, — подсказал Скорогоров.

— Как ничего? — удивился Семен.

— В клуб отправляйся!

— Да я не хочу!

Скорогоров потряс осуждающе головой. И плечами потряс. И лопатой. Отчего под его рубахой зашевелились тяжелые складки.

— Мало ли кто там чего у пас пыне не хочет! Раз падо — значит, поди!

Возмутился Семен:

— Да ты никак с Магароновым спелся!

— Не спелся, а столковался. И что согласен я с ним, так этого не скрываю. В клуб тебе, брат ты мой, падо.

Скорогоров еще говорил, но Семену дослушивать стало тошно: он попял его, как человека без дерзости и без риска, который будет заступником лишь для тех, у кого решается не судьба, а что-то мелкое, рядовое, без чего можно, в общем, и обойтись.

Вечер садился. Садилась и тишина, укладываясь на отдых. Взлетел козодой. Дохнуло влагой колодца. Угрюмо-розовый темный закат отражался в северных окнах деревни. Мерещилось, будто за степами изб совершался старинный обряд, и каждый, кто не был в него посвящен, должен предчувствовать близость тайны.

Вот уже час, как бродил Горынцев по-за деревней. Глядя на тусклое золото окон, вобравших в себя мрачноватый закат, Семен вперемешку с тайной испытывал чувство осенней птицы. Чувство прощания и печали, когда не хочется улетать, но придется: здесь, на родимой

земле, становится холодно и пенастно. В воздухе веяло грустным. Казалось, избы, березы над ними, потемки в лугах и заплывшая черно-вишневым полоска заката задумались вместе с Семеном: «Что же теперь?»

Уже в постели, почти окончательно все обдумав, спросил у жены:

— Если мы махнем отсюда куда-нибудь ближе к райцентру? Как ты? Не против?

Елена испуганно улыбнулась:

— Иначе нельзя?

— Нельзя.

— А мебель куда?

— С собой увезем.

— А корову?

— Корову кому-нибудь продадим.

— Не знаю, — вздохнула Елена, — со школой как быть... Не могу же я ее бросить...

— Ну, это просто. Меня заменили. Почему и тебя бы не заменить?

— Не поздно ли, Сенечка?

— Нет! — заверил Семен. — Утром в город рвану. У меня там заступа. Все и устрою...

Рисковал Семен потерять еще один день, прожив его опять вхолостую. Больше ничем он не рисковал. Утром, поднявшись с третьими петухами, вышел из дому. Ему повезло. На шоссе, куда он выбрал после трехверстной тропы сквозь кустарник, его подобрал бортовой грузовик. Через час грузовик тормозил против белого здания, где находился райком. И здесь Горынцеву повезло. Федя Перов, секретарь райкома комсомола, к кому он так торопился, вот-вот был готов куда-то умчаться на поджидавшем его «Москвиче». Как обычно, Перов при костюме, при галстуке, аккуратно подстрижен, выбрит и свеж, а пальцы рук его как бы пляшут — верный признак того, что спешит. Его всегда куда-нибудь вызывают. И он старается всюду поспеть. С Федей Горынцев служил на срочной, и после армии виделся много раз, и

вообще его знал как душевного парня, который все время кого-нибудь выручал.

Приходу Горынцева Федя не удивился.

— Ты ко мне?

— К тебе!

— По комсомолу чего-нибудь?

— Не.

— По колхозу?

— По личному.

— В темпе! Выкладывай!

Семен рассказал. И Федя проникся к нему сострадательным уважением. Суховато-красивое, с челкой над бровью лицо его выражало готовность сразу, как только вернется из срочной поездки, помочь Семену в его беде. Федя даже потряс кулаком.

— Приеду! Займусь! Позволю твоему Магарону! В хвост и гриву его разнесу! Кого-кого — комсомольца в обиду не дам!

— Не поможет, — сказал Семен, — словами его не пробьешь. Тут надо другое. А что — не пойму. И понимать, наверно, не стану. В общем я, кажется, не колхозник. Надумал съезжать.

Насторожился Федя, как бы прикидывая в уме: того ли он защищает?

— Куда? — недовольно спросил. — Из района?

— Да не! В химлеспром. Леспромхоз. Еще кой-куда приглашают. И жилье вроде есть.

Задумался Федя.

— В таких делах я помощник худой, потому что всегда против тех, кто покидает родную деревню. Тебе бы об этом с первым. Как скажет он — так и будет. Ты Завиялова знаешь?

— Знать не знаю, но видел однажды на слете, в прошлом году.

— Тогда сходи к нему. Прямо сейчас. А я полетел!

Горынцев вышел вслед за Перовым. Потоптался, поморщил в раздумье лоб, а минуту спустя в коридорном

окне увидел, как Федя юркнул в «Москвич», который яростно пукнул облаком газа и с ревом умчался по мостовой.

В приемной секретаря, с книжным шкафом, диваном и ярким букетом фиалок в бокале, было не только прибранно и красиво, но как-то еще и пристойно. Семен поднапрягся всем своим существом, стараясь выглядеть покультурней. Секретарша, полная пожилая дама с крашеными губами, что-то печатала на машинке. Не отрываясь, бросила опытный взгляд на Семена.

— Вы, товарищ, к кому?

— К Завиялову, — улыбнулся Горынцев с каким-то поганеньким чувством подхалимажа, желая понравиться секретарше, чтобы она к нему стала добрей.

— Он вам назначил?

Горынцев не понял, что это значит, однако по тону вопроса сообразил, как и что ему лучше сказать.

— Было такое.

— На сколько назначено? На двенадцать?

— Да, да, — подтвердил, краснея, Семен.

— У него сейчас разговор. Подождите.

Семен кивнул и, не зная, куда деваться, подразвернулся к дверям:

— Я там подожду. Зайти через сколько?

— Минут через десять.

Вышел Семен из райкома. Увидел напротив киоск. Купил там газеты. Прочитал в одной фельетон, в другой — новости спорта и, свернув газеты в рулончик, заторопился назад.

— Ну как? — спросил секретаршу.

— Опоздали, товарищ. Завиялов ушел.

— Как же я? — удивился Горынцев.

Секретарша взглянула в карманное зеркальце.

— Приходите после обеда. Да только не сразу. Он собирался еще в собес.

Семен растерянно затоптался, вбирая глазами машинку в чехле, хрустальный бокал с букетом фиалок, наби-

тый книгами лаковый шкаф и пожилую хозяйку приемной.

— Ладно, — буркнул Горынцев и как оплеванный вышел за дверь. — Черта с два его тут поймаешь, — ворчал он, правясь за город — скорей задержать попутку и уехать на ней домой.

В Гриву Семен возвратился под вечер. Что-то в нем надломилось, душа упряталась в кулачок, и он с тяжелой досадою понял, что должен пойти к председателю на поклон. И пока отмерял низким шагом в тени палисадных кустов заплывшую пыльной муравкой тропинку, все и думал, что в каждом окне за ним наблюдают чьи-то безжалостные глаза. А вдали, за березами, очищалось синее небо, чуть накреньясь, сыпало на землю мусорно-серые тучки. Оттуда же через березник и луг проридрался урливый голос мопеда. Был он до ненависти противным. Казалось, сам друг сатаны сидел на седле и, радуясь подлому шуму, с улыбкой глумился над тишиной. Горынцев в сердцах матюкнулся, сплюнул и резко свернул.

На обоих углах конторы бились два полотняных флага, хлопая крыльями, как журавли. На верхней ступеньке крыльца грелась под солнышком старая кошка. Увидев Семена, она напружинила лапы, однако не встала, определив безошибочным кошачьим взглядом, что чело веку не до нее. Прошел Семен в кабинет.

Магаронов поднялся навстречу, тяжелый и крупнолобый, с руками, скрещенными на груди, и зорким прищуром прицелистых глаз.

— Твоя, Александрыч, взяла, — Горынцев помял ладонью ком черных волос над виском, — согласен заводить клубом.

Магаронов этого ждал. Ждал и боялся: а вдруг Семен никогда не придет? И тогда бы он заработал славу жестокого человека, который довел мужика до беды. Но это было бы полугоре. Куда страшнее, если бы весь его опыт, квалификация и заслуги были подвергнуты пересмотру.

И возможно бы, сказано было в лицо, что он не вполне соответствует делу. Но все обошлось. Вот он, новый завклубом, мнется, как виноватая девушка, перед ним. Магаронов раскинул руки.

— Это подарок мне! Я признаю! Спасибо, Семен Севастьянович! Теперь я спокоен...

Привыкал Семен к новому образу жизни. Поздно ложился. Поздно вставал. В клубе дела шли ни худо, ни хорошо. Он и старался. Но все получалось невидно и скучно, как и должно, наверное, получаться у человека с потухшей душой. Днями Семен учился писать плакаты. Вечерами клуб открывал. Кино, репетиции, кое-какие концерты, мероприятия, спецвечера — овладеть всем этим было несложно, да только зачем это надо ему. Он не был в душе вожаком. И затейником не был. Просто умел играть на баяне. Однако этого было мало. Впрочем, чего уж теперь? После драки кулаками не машут. Каждое утро он просыпался с усталостью, как изработанный человек, у которого в мысли: скорее бы день проскочил, а там бы и вечер, чтоб снова свалиться в кровать и заснуть. Жизнь споткнулась, понял Семен.

Лето вовсю уже разгулялось. Лето с его подмаренником на угорах, цветами синюхи в мокрых лугах, цокотом клестиков между веток, смехом и гомоном ребятишек, бегущих под солнышком на реку. Погожее теплое лето, оно проходило где-то рядом с Семеном, а он стоял в стороне, наблюдая за ним, и совершенно его не видел.

Зато видел Семен, как от окраины Гривы по всем проселкам, глухо урча, расползались тракторы-работяги. Один — с тележкой, второй — с волокушами, третий — с прицепом. Вот она, жизнь, пусть незавидная, пусть примитивно-простая, но настоящая, та, что замешена на работе, от которой он был сейчас отстранен. Вздыхая, совал Семен кулаки в карманы, да так тяжело их совал, что исподняя ткань потихоньку трещала. Особенно было

обидно видеть безвозрастный профиль рябого Сереги. Тот тоже видел Семена. Взмахивал кепкой, шурился и моргал, точно хотел объяснить, мол, опять посылают его на Семеновом тракторе на работу, и отказаться, значит, нельзя, так что Горынцев пускай на него особо не злится.

Задевало Семена больней всего то, что Серега почти каждый вечер ездил куда-нибудь на шашку. На такое дело Семена почти невозможно было сманить. А Серегу и сманивать даже не надо. Дай только знать, что нужна его помощь, — он тут и есть. Сегодня в лес по дрова скатает, завтра на пустошь по кирпичи.

Не думал Семен, что идти к Сереге с подобной просьбой однажды вынудит и его. Однако затеял срубить для коровы хлев. Срубить из кондовых, слегка подопревших, но крепких и толстых бревен, складка которых лежала на месте раскатанной старой избы. Хотел привезти было сам. Зашел по вечеру в дом Сереги. Хозяин приткнулся грудью к столу, ел в сковородке картошку, а рядом, качая зыбку, сидела его сестра — глухая, с кротким лицом молчунья Настасья. Горынцев поморщился: в кухне стоял беспорядок, пахло пеленками и картошкой, мрачно чернел рукомойник и где-то вверху, за кирпичной трубой, горели котловы, с искрой глаза. Семен придавил выключатель. Но и при свете, плеснувшим по желтым обоям стены и осадистой печи, не стало приветливее в избе, будто в ней рассочилась вечная мрачноватость.

— Отвлекать не буду тебя. Сам скатаю, — сказал Горынцев, уверенный в том, что Серега ему не откажет. — Бревна только перевезу.

Гладкин даже не разогнулся. Продолжал поклевывать вилкой картошку. Лишь слегка подвывернул тощую шею, моргнул, наострив на Горынцева галочий нос.

— Кто трактору ночь хозяин, едрена?

Горынцев почуял, как к горлу его подтолкнулся комочек всполошиной обиды. Но спорить не стал.

— Вези тогда ты.

— Не сядни. — Голос у Гладкина скучный, однако

довольный, благо давал отпор гордецу, услаждая себя его унижительным видом. — Седпи Горбиным посулил. Так ведь, Настаська? — спросил у глухой и, поднявшись с расшатанной табуретки, прошелся барином по избе.

Усмехнулся Семен, зная, как надо подействовать на Серегу.

— Бутыль в сеишке стоит. До завтра может не достояться.

Светло-серые острые глазки Сереги высветлил ласковый интерес. Он повернулся к Семену, взрыл поггистыми пальцами желтый загривок.

— Бревна павалены али как?

— На волокушах лежат.

— Так бутыль, говоришь?

— Бутыль.

Гладкин убрал со стола сковородку. Выпил походя стакан молока. По ячменной щетине его лица, словно мышка, прокралась улыбка.

— Твоя бутыль мне до фени. Заглядывай на Николу — выставлю две. А помочь помогу, потому как тебя уважаю. — Гладкин подобрал с полу линялую кепку и, не встряхнув ее, с сором и пылью напялил на желтый пригорок волос. — Пошли!

Бревна Гладкин провез открыто, не побоявшись парваться на тех, кто бы мог доложить в контору, что он шабашит по вечерам, хотя и знал преотлично: с этим в колхозе сурово, могли бы и с трактора запросто снять. Лаская ладонью кадык, Серега выбрался из кабины. И Горынцев выбрался следом за ним.

Зеленовато бледнело небо. А в нем среди перистых тучек хищно высверкивал серпик луны. Шевелились дворовые тени: от Сереги и от Семена, от трактора и от крыльца.

— Пожалуй, и к Горбиным седпи успею, — крякнул Серега, высвобождая тяжелое дышло из металлической чаши замка.

Усмехнулся Семен.

— А как насчет забутылить? Или потом?

— Не, не, — испугался Серега, — потом могу позабыть. Лучше сразу. Давай. Где там хозяйюшки у тебя?

Хозяйюшки были низкого мнения о Сереге и, едва он ступил за порог, переглянулись между собой, пожали брезгливо плечами и, не ответив на «добрый вечер», демонстративно ушли, прихватив с собой в комнату и Натану.

Гладкин сказал:

— Не любят меня в этом доме!

Семен согласился:

— Это уж точно.

За стол Серега уселся уверенно, как хозяин, и стал дожидаться, когда подадут. Горынцев поставил бутылку. Принес капусты, хлеба и сала. Увидев один стакан, Серега не возмутился, но для приличия все же спросил:

— А сам?

Выпивать Семен не любил. От вина его утомляло, думалось об угрюмом и вспоминались неприятные дни. Тогда он жалел о том, что неверно их прожил. И если среди именин, дней рождений, свадеб, праздников и застолий, куда его зазывали как баяниста, случалась возможность не выпивать, то он был этому страшно рад.

— Сам не буду, — ответил Семен.

— Брезгуешь, Сень?

— Угадал, — Семен и не думал скрывать, что с такими, как Гладкин, ему неприятно сидеть за столом.

Серега сказал:

— Мне-ка до фени. Не пей. Я от этого не расстроюсь.

Провожать Горынцев Серегу не стал. Лишь включил коридорный свет да советливо бросил:

— Трактор оставь. Для тебя будет лучше.

Не послушался Гладкин Семена. Грязня матюжным ворчанием тишину, запустил гусеничный и с бешеным шумом умчал со двора.

Семен распахнул половинки окна.

Оскорбленное ухо ловило жестокое бряканье траков, душа же готовно раскрылась в надежде почувствовать тишину.

Воздух был свежий от сочного запаха листьев и трав, и думалось, будто нарочно кто-то его приготовил для полного отдыха. Горынцев хотел бы сидеть и сидеть, принимая с улыбкой ночному покою, кабы не этот тракторный лягз, сминавший самые кроткие звуки. Закрывая окно, Семен проворчал:

— Змей его, что ли, там вместе с трактором-то гонит? Всю деревню, поди, разбудил...

Утром Семен, встав пораньше, сгружал с волокуш привезенные бревна. Скоро вон сенокос, вынудит за косу взяться, строительство в сторону отойдет, и сегодня до клуба Семен решил подзаняться хлебом, для начала устроив свайный фундамент. Но сбил с работы его Бороньков, приспев к нему с двусмысленным видом хитролукавого мужика, готового, кроме хорошего, сообщить и худое.

— Настроеньице как? — Лицо механика вместе с его лягушачьим носом и голубыми глазами в теги подбровий было спокойным и даже скучным, но где-то таился в нем хитрый бесок.

Почувствовав это, Горынцев сказал:

— Настроение среднее.

— А у Гладкина хуже, — заметил механик.

Семен наклонился, сорвал пук дворовой муравки, вытер руки и бросил траву к ногам Боронькова:

— Гладкин, кажется, не лапша, не надо его мне на ши вешать.

Бороньков намекнул:

— Говорят, он вчера у тебя угощался?

— Было дело. А что?

— Да то, что он дома не ночевал. — И голос, и жесты, с каким Бороньков вытягивал в сторону улицы свой указательный палец, и кислая скобочка над гу-

бой — все намекало на что-то скандальное, слишком плохое, чего исправить уже нельзя.

— Где же он ночевал?

— Под трактором, Сеня. Там наутро его и нашли.

— Живого? — не понял Семен.

— Пьяного!

Сплюнул Семен.

— Говорил, не садись за трактор, оставь у меня.

Да где...

— Слова, брат, слова! — Бороньков пошуршал в кармане рукой, достал сигарету и, прикурив, помахал огоньком на кончике спички. — А кто дела будет делать?

— Какие еще там дела? — Горынцев глядел на механика, не понимая, с чего это с ним Бороньков так подробен.

— Покосные, Сеня. Седни Гладкин с утра должен был трамбовать зеленую массу, а ты его взял да и со-
вратил. Придется, значит, тебе.

— Что мне?

— Садиться за трактор!

— Смеешься? — Семен отвел на полную вытяжку правую руку и припечатал себя по груди. — Я же заведу клубом! Магаронов зря меня, что ли, от техники отсадил? Да узнай он, что я за трактор забрался, — знаешь, чего он со мной?

Нос Боронькова слегка поразмяк, порасплющился и поплыл. И губы поплыли. А из глаз его, тоже сладко поплывших, словно бы вынырнул юркий бесок, показал себя на секунду и скрылся.

— Между нами, ребятами, говоря, Магаронов сам эту идейку мне и подкинул!

— Чтоб я за трактор?

— Чтоб ты!

— А с Серегой чего?

— Тебе ли о пьянице горевать! Слава богу, колхоз

без работы его не оставит. Но главное — ты! Снова па тракторе! А, епишкина крыша! Давай-ко собирайся! Идем тебя на траншее! Лады? — Бороньков, сияя масляными штанами, торопливо рванул со двора, ладно скроенный, коренастый, весь исполненный важной задачей, какую возложили на него, и вот он только что с нею сладил.

Семен растерялся. Взглянул на залитый солнцем муравчатый двор. Потом посмотрел куда-то в себя. Ах, как стало ему задорно! Он услышал, словно бы в нем кто-то громко смеялся, хлопал ладошами и кричал торжествуя: «Ага!»

Он пронесся, будто подстегнутый, по квартире, удивив своим взбаламученным видом не только мать и Елену, однако и дочь, которая тут же к нему подступила, сказала: «Папа», — и захотела, чтоб он с ней немедленно поиграл. Перебросил Семен потешное чадо с правой на левую руку, подкинул ее к потолку и, веселую, с ямочками на щечках, посадил на покатую грудь жены.

— Снова я человек! — крикнул с порога и, забрав с собой поданный матерью узелок, застучал сапогами по коридору. И пока он спешил порывистым шагом по улицам Гривы, пока оглядывал клеверище с шумевшим где-то вдали голубым трактором, пока взбирался на склон перелога, хватая взглядом свой гусеничный, траншею и кучку людей в пиджаках, душу его наполняло гордым сознанием собственной силы и веры, что он, как и прежде, в хорошей цене и никто уже больше его не обидит.

Траншея была с бетонными стенами, дном и подъездом. На бровках ее, задрав кузова, стояли три самосвала. И трактор с тележкой стоял. Вниз ссыпалась зеленая кошенина. А на подходе с полей кто-то еще рекотал. И не в единственной точке. А в двух. Даже в трех. Видно, загадывал много успеть в этот день председатель, коли всю технику бросил сюда. «Бросил ее, а кому трамбовать? — усмехнулся Семен с подмывавшим его

побахвалиться чувством зазнайства. — Ладно, изложил-ся я. А не то б?»

Горынцев едва не с вызовом глянул на кучку людей, представлявших собой начальство, которое, как всегда в день закладки первой траншеи, имело привычку собраться всем вместе, невольно выставясь на народ. Кто же тут был? Магаронов в распахнутом пиджаке и соломенной шляпе, вид такой, будто заведомо знал, что случится здесь неприятность, которую он же и устранил. Зоотехник Русланов в очках с золотистой каемкой, пыльных кожаных сапогах, с пиджаком на руке и улыбкой измерного пешехода, кому бы сейчас отдохнуть, а оп вместо этого здесь. Ветеринар Скорогоров, малиново-красный и недовольный, с обиженной сцепкою рук на большом животе, вероятно, что-то сказал в защиту Сереги, да председатель его осадил. Какой-то юноша в сером, видать, из района, с продолговатенькой головой, кивавшей беспрестанно. Бригадир Седунов, рыхлоский, плечистый и рыжий, чуть сконфуженный оттого, что находится рядом с начальством, с кем общаться он не привык. И механик в заношенно-жирном костюме, с таким выражением на лице, какое бывает разве у тех, кто хорошо отличился и ждет, когда ему скажут: «Спасибо! Кабы не ты, чего бы нам нынче и делать!»

Прошел Горынцев утоптанной бровкой траншеи, буркнув приветствие так, что никто его и не понял. Зато ему ответили четко и чисто, с бодростью в голосе и с улыбкой, как и должны, пожалуй, здороваться с каждым, кто выручает колхоз из беды.

За трактор Семен уселся с чувством матерого тракториста, которому малость смешно, что за ним наблюдают, и в то же время приятно, благо не кто-нибудь там, а именно он собрал на себе столько взглядов.

В траншею летели тяжелые глыбы травы. Горынцев нажал сапогом на педаль — спину прижало к стенке сиденья. Трактор шел по зеленым буграм. В громыании траков, дрожании дворец, запахе чада и сквозняка

Семен улавливал что-то привычное, что-то свое, что жило не только в машине, однако и в нем, заполняя всем этим каждую жилу и кость его тела.

Сверху срывался глухой травопад.

— Давай, фор-мотор! — крикнул Семен каким-то командным тоном, обращаясь к трактору, как к мужику, который должен во всем ему подчиняться. — Правей заходи! Эт, довольно! Тепере — назад! К стенке, стенке. Добро! Полевей! Вон на этот большой шишкин дом! Ишь подняло как высоко! Дави его, фор, прижимай, не давай ему выznиматься...

Горынцев был увлечен. Он нашел с машиной верный союз, и она его слушалась с полуслова. Однако случилась минута, когда Семен потускнел, ощущая, что где-то в нем вторым или третьим планом подспудно точилась мысль о Сереге. «Все-то у нас с переменным успехом, — иронически покривился, — то ему хорошо, то мне. Соревнуемся, что ли, мы с ним: кто кого? Снова я наверху оказался, а Серега внизу. Можно на самом деле подумать, что кто-то играет нашей судьбой...»

По стеклу серебристо и коротко продрило. Семен глянул наверх, где, как сеяльщик, с решетом стоял бригадир Седунов, рассыпая пригоршнями соль. Семен высулся из дверцы:

— Меня случаем не засоли!

Седунов куда-то ушел, и тут же вместо его сандалет выросли чьи-то полуботинки. Затем сапоги. Потом — бо-соножки. Еще одни сапоги. Горынцев вздохнул. От мысли, что он копошится где-то внизу, а вверху ходят чьи-то спокойные ноги, стало как-то не по себе. Он даже слегка рассердился, и трактор его заметался как зверь.

Однако чем выше Семен выбирался из ямы, тем напористее и чаще стучало в висках. Иногда он ловил себя на задористом чувстве удачи, когда сознаешь, что работаешь ты отменно, что все глядят на тебя и знают, что делать так, как делаешь ты, никому покуда не удавалось.

По негромкому хохотку, шутливым репликам и улыбкам, какие вызрели на губах у начальства, Семен уловил, что оно в хорошем расположении духа, довольно сегодняшним днем и, наверное, будет сейчас расходиться, благо дело пошло на лад.

Первым ушел, заиграв жировыми складками, ветеринар Скорогоров. Затем с пиджаком на плече и всполохом солнца в очках заковылял зоотехник Русланов. Ушел и Сергей Александрович, уведя с собой юношу в сером. Куда-то девался и Бороньков.

Работы не убывало. Знай шевелись. Зеленая лава валилась со всех четырех откосов. Чего только не было тут! Овсяно-гороховая мешанка, тимopheевка, клевер, чина. Казалось, все запахи лета сбежались сюда и лезут Семену в лицо, предлагая себя, чтобы он ими досыта надышался. Захватило Горынцева дело, и он, отдавшись ему, почувствовал всей своей плотью слияние с гусеничным, точно и сам стал, как трактор, скроенным из железа и понимал его точь-в-точь, мужика-работягу, с которым был во всем заодно.

Солнце играло фарами и стеклом. Сделалось душно. Запах трав уже угнетал, Семен надышался им до угара. Горынцев понял — устал. И едва подумал об этом, почувствовал мышцы рук и спины, которые грузно затяжелели. Вместе с усталостью подступила безвольная вялость согласия с чем-то неправильным, несправедливым, и совсем безразлично стало ему, что на нем, будто косы на камне, сошлись Серега и Магаронов. Каждый чем-то его обидел, а ему и дела до них уже нет. У него свое на уме. И оно называлось работой. Обыкновенной грубой мужской работой, от которой он был отстранен и вот снова к ней возвратился.

Домой обедать Семен не пошел. Было с собой. И он, поднявшись на скат траншеи, развязал узелок. Возчики только-только разъехались по домам, так как деревня недалеко. Было жарко, светло и тихо. Летали стрекозы, неся на голубеньких крыльях струящийся воздух

июльской страды. Солнце, казалось, вот-вот зашипит, как сало в белой тарелке, настолько было раскалено. Шелуша луговой овсяницей, порхал низовой ветерок. Откуда он брался? Куда исчезал? Семен смотрел на взмятую гривку травы, на крыши деревни, на изгородь с гибкими поясками, на блестящий свет в окнах фермы и ощущал благодарность, словно кто-то ему специально подстроил все именно так, чтобы он сидел здесь под солнышком и не знал, кому за это он должен сказать «спасибо».

Каких-нибудь полчаса посидел Семен на припеке, закусив и запив пшеничный пирог молоком, а уже ни усталости в нем, ни досады. В отдохнувших мышцах скользил легкий трепет какого-то нетерпения. Видимо, это был зуд, призывавший к работе, с которой тело освоилось, подружилось и готово опять ее повторить.

Снова Семен управлял своим трактором, точно живым существом, обращаясь к нему то с хорошими, то с худыми словами, и казалось со стороны, что сидят в машине два человека, один — начальник, второй — подчиненный, и оба друг другом довольны, так как все у них получалось согласно и споро.

Под вечер Семен озабоченно вспомнил о клубе. Пойдет сегодня его открывать? А может, вновь, как вчера, сходит вместо него Елена? Да и чего теперь в клубе? Только кино. И все же идти туда предстояло. Конечно, лучше бы самому. Не стоило прятаться за Елену. Тем более мог заприметить ее Магаронов и загореться новой идеей — поставить вместо него заведовать клубом. Елену — в клуб, а в школу — кого-нибудь из старушек, живших сейчас на учительской пенсии в Гриве. Вспомнил Семен, что раньше, в пору его ученичества в школе, для многих клубная должность была пределом мечтаний, шли с удовольствием на нее, срываясь с колхозной работы. Теперь трудно верилось, что телятница Павла, механик Иван Бороньков, сторожика Ефалья и почтальониха тетка Тамара когда-то работали в клубе, ра-

ботали смело и энергично, не зная сомнений и полагаясь во всем на проворное слово. Нынче не то. Никого не заманишь заведовать клубом. Мала зарплата? И это, конечно. Но главное, думал Семен, у сельских людей появилась к клубу какая-то легкость, словно бы он для них стал не очень и нужен. А ненужное дело когда и кого к себе привлекало? Родилась в Семеновой голове досадная мысль о клубе, оставила в нем ощущение смутной вины и потерянно сникла. «Чего мне хочется более всего?» — спросил Семен у себя и долго не знал, как на это ответить, однако понял в конце концов — продолжать сегодняшний день. Да, да. Только это. Он любит свой день. И себя в нем он любит со своей ранимой душой, со своей бахвалинкой и удачей. Ничего, что удач пока нет. Они еще будут. Слава богу, здоровьем он запасен на многие годы вперед.

Не сразу Семен догадался остановить гусеничный, так как никто кошенину уже не ссыпал. Пропустил ту минуту, когда замолкли вверху машины и к котловану, смешавшись с прохладой, подкралась волглая тишина. Спрыгнув в траву, Семен подивился. Сделано было так много. Почти половина траншеи. Еще один день — и можно ее закрывать. А там и вторую начать.

В кустах, вдоль межи ячменей обволакивало туманом. Туманно было и в блюде низины, где стрекотали весь день косилки. Вечер свивал синеватые гнезда по всем закоулкам родных урочищ, а в самом дальнем и самом красном, куда тянулся березовый лес, укладывал на ночь скуластое солнце. От солнца навстречу Семену тянулись сухие иголки света, но были слабы они и прерывны, и где-то терялись на полпути.

Он шел легко и задорно. Хотелось идти и идти.

В окнах вспыхивали огни, печатая тени кустов и деревьев. Улица делалась глуше. Над крышами, где тесовые охлупни подрезали стемненное небо, тихо плыли косицы замшеленьких туч, а меж ними вздувались звезды.

От конторы к свесу крыльца длиннокрышей избы

протащи́лась неслышная тень. Гладкин Серега! Был он в стареньком черном трико и бабьих, на босу ногу галошах, в губах с перекатом бегал окурок. Семен снисходительно усмехнулся:

— Голова не болит?

Гладкин навел на Горынцева галочий нос.

— О моей голове мне и думать.

«Со вчерашнего не очнулся, — подумал Семен со слабой жалостью к мужику. — Откуда идет? От председателя, видно. Поди-ко, каялся перед ним да по новой на трактор просился. Но получил от ворот. И расстроился, как махоня...»

Ошибался Семен. Не Гладкин Серега в сегодняшний день был расстроен, а Магаронов. Смutil же его телефонный звонок. Звонил секретарь райкома партии Завиялов. Голос в трубке звучал негромко, но ясно, точно сидел секретарь с Магароновым рядом за полированным черным столом, да только был совершенно невидим.

— С силосованием как?

Вопрос пустяковый, однако Сергей Александрович поднапрягся, почувствовав неприютность: по мелочам Завиялов ему никогда не звонил.

— Приступили, — ответил он осторожно.

— Механизаторов как? Хватает?

Магаронов пожал плечами. «Знает, а спрашивает, — подумал. — Кто-то успел уже доложить. Поди, Скорогоров, люби его душу...»

— Хватает, — сказал, — правда, один тут у нас заболел, — признался на всякий случай. — Пришлось заменить.

— И кем же ты его заменил? — спросил Завиялов построже.

— Клубным работником.

— И правильно сделал?

— Думаю, правильно.

— А я сомневаюсь!

На лбу председателя выступил пот.

— Сомневаетесь?

— Да! Затыкаешь дыры не тем, кем надо! — Голос секретаря еще более посуровел. — И вообще, мне кажется, ты за последнее время стал недостаточно четок. Кто у тебя заведует клубом?

— Есть тут такой... Семен Севастьянович...

— Зачем ты его разрываешь на части? То в клуб, то — на силос? Видать у парня крепкие нервы. Другой бы давно взорвался. С людьми, Магаронов, надо поаккуратней!

Сергей Александрович покраснел.

— Учту, — вежливо выдохнул в трубку.

— Не забывай, Магаронов: с клубными кадрами дело у нас не идет. Негде взять! Так что давай снисходительней к ним, помягче! Нельзя допускать, чтоб они от нас разбегались!

«Сам знаю», — сказал про себя Магаронов, а вслух произнес:

— Да, это правильно, это эдак.

— Кстати, как он, Семен Севастьянович твой, работает в клубе? Худо?

Растерялся Сергей Александрович, не понимая, как лучше ответить. Подмывало сказать: «Скучновато», — по это могло ему повредить, и Магаронов проямлил:

— Да нет. Более-менее сносно. Возможно, даже и хорошо.

— Совсем я тебя, Магаронов, не понимаю! Человек в культуре работает хорошо, а ты его в трактористы?! Где здравая логика?

Побледнел Сергей Александрович. Разговор принимал плохой оборот, и неизвестно, чем еще мог завершиться.

— Ошибся, видимо, я, — заговорил покайнным тоном, — сам такого себе не прощу. И не быть председа-

телем мне, — прибавил с отчаянной твердостью человека, который сделает так, как сказал, — коли этого не поправлю. Сегодня же меры приму, и будет, гори его, все как надо! Культабработнику — клуб, механизатору — трактор!

— Смотри, Магаронов, — предупредил голос в трубке. — Проверю! Если обманешь — пеняй на себя. Вынужден буду к тебе приехать. И разобраться. Ты меня понял?

— Понял.

Магаронов положил трубку, умыл ладонями выпуклый лоб и, повернувшись к окну, высунулся наружу.

— Эх ты! — услышал в глухом лепетании листьев двух молодых палисадных берез.

— Эх ты! — разобрал в тонком скрипе вертлюга, махавшего легким пропеллером на князьке.

Укоризненный голос шел от всех запозднившихся звуков: от лая далекой собачки, от комариного ноя, от хруста крыльца под чьими-то медленными шагами.

Магаронов захлопнул окно. «С чего, интересно, начнем?» — спросил с таким выражением на лице, будто был окружен молчаливой толпой, дожидавшейся, что он скажет. И тут в кабинет, принеся с собой вонь солярки, вошел озабоченный Бороньков. Хотел было что-то сказать, но Сергей Александрович поднял руку:

— После твое, сначала мое. Ответь-ко мне лучше: завтра кого на трамбовку пошлешь?

Изумился механик:

— Горынцева! А чего? "

— Тут мы, Ваня, с тобой дали маху, — кисло поморщился председатель. — Нельзя Горынцева завтра на трактор. И рад бы, да вот не могу. Из-за него получил нагоняй. В клуб его, милый ты мой.

Механик растерянно заморгал. Закурил сигарету. Он волновался за дело, которое завтра опять могло встать. И за Семена он волновался. Но пуще всего беспокоился за себя.

— Сергей Александрович! Это как? Чего только будет?

— С тобой — ничего! — сказал Магаронов. — С механиков не слетишь.

— Ну а с Семеном? Ведь ты его сам за трактор сажил?

— Я сажил, я и сыму. Об этом сегодня ему и скажешь.

— Я-я? Не-е! — Механик был огорчен, огорошен, сбит с толку. Понимая, что он Магаронову не советчик, попытался все же внушить: — Я бы, Сергей Александрович, не решился. Ведь семья у него...

Магаронов вскинул ладонь.

— Ладно. Горынцеву сам сообщу. А ты до Гладкина загляни. Пусть в контору зайдет. Сейчас!

Никогда Бороньков не крестился и в мысли этого не держал, но тут рука его собрала все пальцы вместе и макнула четырежды: в лоб, предплечие, грудь и живот.

— Снова вместо Семена?

— Снова, — сказал председатель.

Ожидая Гладкина, Магаронов нервно катал по столу карандаш. На душе его было прескверно. Он сознавал, что делает нечто неверное, слепо казенное, волевое, мучился этим, но отступить не желал: дал Завиялову слово.

Гладкий зашел в кабинет бесшумно. Сергей Александрович даже отпрянул, настолько он незаметно возник перед ним. Отшвырнув карандаш, Магаронов грозно спросил:

— Пьянствуешь?

Серега жалобно улыбнулся:

— Боле не буду.

Магаронов ему не поверил. Мрачно вздохнул. На кого он стал опираться? Взглянув на узкую грудь Серёги, обтянутую трико, скучным голосом приказал:

— Завтра пойдешь трамбовать. Да смотри не проспи. Все.

Серега ушел, скрипнув галошами за порогом, а Ма-

гаронов поднялся, ругнув в душе Боронькова, который мог бы к Горыпцеву и сходить, да, видать, испугался. Теперь вот надо идти самому. Магаронов взял из стола нераскрытую пачку «Казбека» и, порвав уголок, выбил стречком папиросу. Не надо бы было ему курить, бросил неделю назад: заболело с чего-то горло. Да что теперь горло. И нервы вот стали шалить. Наклонившись к окну, Магаронов увидел высокого, в комбинезоне и кепке колхозника и, узнав в нем Семена, хотел его было позвать, да отдумал. В глазах его, смутно смотревших вдолгую плечистому мужику, перехлестнулись, сойдясь друг с другом, мужская властная сила и детская слабая робость, и взгляд стал растерянным, ждущим, точно кто-то был должен сейчас подсказать: каким-таким образом надобно жить, чтобы было на сердце спокойно?

Слишком угрюм, раздражен и подавлен был Магаронов и, постояв у окна, покурив папиросу, с какой-то душевной слабостью понял, что лучше к Семену сегодня ему не ходить. «Утром схожу», — решил председатель.

Утром встал Магаронов хотя и рано, но дома Горыпцева не застал.

— Ушел на работу! — сказала Семенова мать, выходя с председателем за калитку. — Толечко-только. Как не столкнулись. Эвон-ко он! — Показала рукой на фигурку в комбинезоне, мелькавшую в нижнем конце деревни. — Ишь как весело вымеряет! Ра-ад!

И действительно, в это утро Семен не имел причин для какого-нибудь расстройства. Замышлялось против него плохое, а он и не знал, ступал себе на работу и видел перед собой подзаборные стайки ромашек, хромого грача на дороге, березы в лугах и сквозной, на тысячу верст неохватный прогал, который летел куда-то за строгую линию горизонта. А над землей, над зеленым покоем, над всем человеческим станом вставало спокойное солнце.

Неладное ощутил Семен, когда подошел к траншее и над раскрытым капотом машины увидел Серегу, который пытался ее запустить, и весь его вид вместе с нервным движением правой руки, плетешками волос из-под кепки, понуро опущенным галочьим носом и мокрым окурком в углу сжатых губ сообщали о том, что старается он тут давненько, смущен, расстроен и не поймет: почему не заводится трактор?

— Ты чего это здесь? — спросил удивленно Семен.

Серега выпустил шнур.

— Я? Я на работу пришел.

— И я на работу! — нажал на голос Горынцев.

— Ты-ы? — не поверил Серега. — Но мне, едрена, велел Магаронов.

— Перепутал, годок! Мне велел — не тебе. Так что слазь! — заскочив на гусеницу, Семен осторожно столкнул Серегу на землю и, достав из кармана свечу, прикрутил ее вместо негодной. И дернул шнуром пару раз, заставив пускач зачихать металлическим басом. Переведя питание на солярку, Семен захлопнул капот и только хотел забраться в кабину, как услышал:

— Помешкай, Горынцев!

На бровке траншеи стоял Магаронов с платочком в руке, которым он вытирал под полями соломенной шляпы пробрызнувший пот.

— Чего-о? — повернулся Горынцев.

— Спасибо тебе за вчерашнее! Славно ты постарался. Однако сегодня-то должен работать вон он! — Магаронов кивнул на Серегу, который сидел на ящике с солью в позе послушного мужика, готового сделать все, что ни скажет ему начальство.

Несправедливостью и обидой хлестнуло Семену в лицо, и он покраснел.

— С какой это стати?

— С такой, что ты вчера его подменял, — Магаронов снова кивнул на Серегу, — а сегодня его подменять

не надо. Видишь, пришел, ну и пусть работает как работал.

Не убедителен был Магаронов. Что-то скрывал. Это Горынцев и уловил. Уловил и почуял, как зябко заныло около сердца, грудь встрепенулась, и в ней родился тревожный вопрос:

— Чего же ты от меня, Сергей Александрович, хочешь?

— Уступи ему трактор, — сказал Магаронов без объяснений. — Так надо. А сам отдыхай. Береги свои силы для клуба.

В лугах стрекотали косилки, гремела бортами тележка и тоненько выл, приближаясь к траншее, нагруженный клевером самосвал. Слушая звуки рабочих машин, Семен испытывал чувство какого-то краха. Луга, голубое небо, запах травы, работу на тракторе — все это должен был он уступить немедленно другому и, может быть, навсегда потерять. Горынцев встряхнул головой, как лошадь на водопое. Такого не будет! Не настолько уж он подневолен, чтоб не суметь за себя постоять! Ну разве он виноват, что Сергей Александрович Магаронов утратил чутье на людей, не зная, кого куда, на какое дело поставить. Горынцев презрительно улыбнулся:

— Охляб, председатель! Не то говоришь!

Магаронов сделал движение шеей, точно хотел закричать, да не стал. С непробиваемой строгостью в переносе спустился в траншею и, сорвав с головы соломенно-желтую шляпу, сжал ее с хрустом в руке.

— Одумайся! Я тебе не мальчишка, чтобы одно и то же пять раз повторять!

— Не выйдет по-твоему! — выражение жесткой решимости высветилось в глазах у Семена, и он, забравшись в кабину, включил рычаг скоростей. — Да не пугайся тут! — И когда Магаронов, зардевшись от ярости и позора, спотычливо отскочил и стал выбираться на кромку траншеи, добавил: — Эдак-то будет лучше.

Кошенина сползала с откосов. Трактор шел по ее навалам, поднимаясь испомедля вверх. Круглобровое, с резкой морщиной на лбу лицо тракториста было напряжено. Он знал, что такое ему не забудут. Мага-ронов найдет верный способ, как лучше его наказать. Но сейчас Горынцев старался об этом не думать. Прорываясь из дверцы в дверцу, по кабине летал озорной сквознячок. Он гладил Семену уши, волосы и лицо, и было приятно его ощущать: чуялось в нем что-то ласково-детское, что-то родное, напоминавшее руки крошечной дочки, затеявшей папу расшевелить, дабы стало ему веселей.

Семен высунулся из дверцы. Глаза его странно разволокло и даже чуть-чуть распахнуло. И в ту же секунду ему поверилось, будто шуршавшая на ветру спелая овсяница, дорога в лугах, крыша фермы, березы, пригорки полей и солнце не только его понимают, не только желают с ним быть заодно, но хотят ему чем-то помочь, очень, очень хотят, однако не знают, как это сделать.

— День нынче наш, — сказал Горынцев сквозь сжатые зубы.

— Наш, — подтвердил грохоток машины, и Семен услышал в нем голоса таких же, как он, работяг, кто сегодня в хорошей поре, кто не терпит вранья и халтуры, кто работает, точно творит. Творит то всемужичье дело, на котором и держится наша жизнь.

Ни в этот день, ни в другой, ни неделю спустя Семен не маялся от вопроса: как обойдется с ним председатель? Работал на тракторе, как всегда. И лишь вечерами, ступая пыльной дорогой, нет-нет и покашивал взглядом в сторону клуба, двери которого были заложены на замок. Стояла страда, пахло всюду травой и сеном, каждый колхозник работал в лугах, и по этой причине в клуб никто не ходил. Несмотря на все это, Го-

рынцев испытывал чувство досады, что не может быть сразу и тут и там, одновременно являясь завклубом и трактористом.

Не знал Семен, что Сергей Александрович, крупно обиженный, оскорбленный и уязвленный после той непредвиденной стычки, хотя и питал к нему злобу, однако держал на душе ощущение собственного провала, как если бы эта ссора его отвела от людей, и он испугался, сообразив, что такое ему никогда не простится. Поэтому, сломав свою гордость, он и оставил Семена в покое. И даже поехал в райцентр в надежде найти там для клуба нужного человека.

Изумлением заискрились глаза Семена, когда по вечеру в его дом вошла большеглазая девочка в ослепительно белой кофте с приколотым к ней комсомольским значком. Поздоровалась и сказала:

— Я новенькая у вас. Звать меня Света. В клубе буду работать...

Дальше можно не продолжать. Семен обо всем догадался.

— Значит, куда я?

— На репетицию. — Света, заметив порыв Семена тотчас же с ней и отправиться в клуб, легонечко рассмеялась: — Да не сегодня, а завтра. Придете?

Семен обещающе улыбнулся.

— Конечно.

Света шла вдоль деревни, белея средь летних потемок своей ослепительной кофтой. Семен, проводив ее до калитки, смотрел ей вдогонку и думал с заботой, точь-в-точь старший брат о младшей сестричке: «Хорошо, кабы здесь она прижилась...»

Возвращаясь домой, Семен окинул глазами деревню, с какой-то теплой отрадой запомнив шествие елок за далью полей, темные крыши и чистый, как милосердие, проблеск луны над дорогой. Во всем ощущалось величие ночи, несшей в себе завершенность вечернего дня и вечерних трудов.

ДВЕ ОСЕНИ

Рогозин стоял под зонтом и смотрел, как мигали на борозде анютины глазки, как, благодарные солнцу и теплой погоде, дремали остистые колоски, как спешила комбайну навстречу лавина поспевших хлебов. Приоткрывался в этой лавине тайный, вперед устремлявшийся коридор, но открыться не мог, потому что на смену павшим колосьям вставали другие. И было колосьев так нескончаемо много, что даже рябило в глазах. Грохот решет, скрип копнителя, гул мотора — все смешалось в одно, и Алику слышался в этом шуме хорошо налаженный ровный ритм, напоминавший удары большого сердца.

Глаза у Алика утомились, и он надел обшитые серым брезентом очки, завязав шнурки на затылке. И снова смотрел, как мерцало съемными лопастями широкое мотовило, по которому все ползла и ползла кошенина хлебов.

Подъехал на бортовой двадцатисемилетний Колька Ершов, неунывающий холостяк по прозвищу Кавалер. Кавалера Ершов схлопотал за то, что по несколько раз в году собирался жениться. Собирался, да не собрался, так как был чрезвычайно разборчив и все хотел, чтоб неве-

ста попалась гладкой, красивой и работающей. А где таких ныне найдешь?

Алик нажал на педаль. Отворилась задвижка. Пошнечу, будто на прятких цыплячьих лапках, побежало, подскакивая, зерно. Забравшись в кузов, Колька подставил ладони под густо стрекочущий ручеек и, осыпав себя зерном, блаженно заулыбался:

— О-па-ля! Как мурашата!

Вид золотисто прыщущих зерен, лохматой Колькиной головы, лопаты, ходившей в его руках, будто весло по воде, сообщил Rogozinu баловливое настроение, и ему захотелось побалагурить.

— Кавалер! — крикнул Алик, когда опорожнился бункер, и Колька, закинув концы брезента, спрыгнул на жниву. — Жениться-то ныне будешь?

— На Октябрьскую!

— На Зойке? — вспомнил Rogozin очкастую почтальонку, с которой Ершов в воскресенье ходил на реку, где они всенародно купались и загорали.

— Не! Я ее разменял на другую!

— А где другая?

— В Белом Ручье! — назвал холостяк соседний с Борком поселок.

— Кто такая?

— Сегодня на танцах узнаю!

— Там злые ребята! — напомнил Rogozin.

— Гляди! — Колька любовно погладил по медной, с якорем бляхе, тускло красневшей на животе. — Отмахнусь! — И вскочив на подножку машины: — Айда-ко со мной!

— Не, — отказался Rogozin, — я ведь жениться не собираюсь!

— О-па-ля! Я и забыл, что ты салажонек! — Колька с треском, будто ломал голики, плюхнулся на сиденье. — С Федькой сгуляю!

Вверху, обложив все небо, висели белые облака, и солнце сквозь них казалось седым и замшелым. В ра-

стрепанных волосах погуливал ветер. Алик пытался понять: почему он стал все-таки комбайнером? Может быть, был бы жив у него отец, он сейчас бы учился где-нибудь в институте. Часто он вспоминал тот изумительно светлый день, когда помер его отец и в умытый солнышком дом собралась почти вся деревня. Кто знает, как бы сложилось у Алика детство, если бы два самых близких ему человека не отвели от него беду. Мать и дедушка делали все, чтоб потеря отца была для мальчика незаметной. Но видел же Алик, видел, как плакала по ночам, закрывая глаза руками, его молодая несчастная мать. Видел и как становился бледнее бересты его долговязый задумчивый дед, когда кому-нибудь не терпелось со злым удовольствием бросить: «Лишенец!» Мальчик сжимал от обиды тонкие кулачки и, стараясь не всхлипнуть, горько-горько шептал: «Ей-богу, не позабуду... Ей-богу...» Тогда-то впервые и подбиралось к его сердечку необычайное чувство любви к справедливому, и малыш, загораясь глазками, тайно мечтал: «Мне бы вырасти... Только бы вырасти... Я бы придумал чего-нибудь...»

Вырос Алик. Закончил СПТУ. И в первый же день, придя с косовицы домой, объявил:

— Ты, мам, давай-ко ищи полегче работу, а ты, дед, на пенсию уходи!

— Чего-чего?

— Того, что я хлебороб, первый в колхозе работник, много денег буду носить.

Дед и мать улыбнулись ему, как наивному шутнику, который очень уж мило их позабавил. Алик даже обиделся. Но обида скоро сменилась хозяйской заботой о первых своих деньгах, которых надо побольше подзаработать, чтобы купить для матери стиральную машину, а для деда красивый серый костюм.

Комбайн ревел и ревел. Иногда Rogozinu мнилось, будто он в этом поле давным-предавно, и надвигалась к нему отовсюду золотисто-мягкая тишина, но, отпугну-

тая мотором, останавливалась вблизи, прячась где-то за копнами рыхлой соломы.

Отдыхал Rogozin, когда, дребезжа кузовными замками, подъезжал на своей бортовой неунывающий Кавалер. И сейчас, завидя Ершова, Алик так весь и вытянулся навстречу, замахал руками, заулыбался, и набралось откуда-то много вопросов, и все хотелось задать в один дух. Но самый главных из них — как понравиться той белокозой девчонке, что приехала к ним работать в библиотеку, — так и остался лежать под сердцем, как в нетронутым тайничке.

Бежать на обед Алик не собирался. Однако расплавился в жатке подшипник. И он, заглушив агрегат, поспешил в мастерские.

Топор поднимался медленно, тяжело, а опускался неточно, то и дело врубаясь за линию паза. В другое бы время Федька Лавушкин, чуя игру разогревшихся мышц, шел бы и шел вдоль бревна, и топор в его длинных руках тюкал бы дерево, будто дятел, и было бы весело наблюдать за плывущей щепой, из-под которой виднелся бы паз, такой привлекательно чистый и гладкий, что даже хотелось потрогать рукой. И он, разумеется, трогал, чувствуя пальцами свежесть и ласковость древесины.

Теперь же в его голове словно кто гремел чугунами. С утра, как пришел на строительство клуба, так до полудня и мечтал: «Сейчас бы сто петьдесят, во бы я зажил!» Мечтал громко, вслух при пожилых братанах Макаре и Александре, с которыми третье лето строил колхозный клуб. Но братаны не поддерживали.

Лавушкин завздыхал. И в это время его увидел Алик Rogozin, спешивший в сторону мастерских.

— Хе, Лавушка! Надсадился! — бросил с усмешкой.

Федька воткнул топор и, спрыгнув с шестого венца, предупреждающе поднял руку.

— Хуже! Лапки протягивать собираюсь. Выручай.

Рогозин остановился: такой же долгий, как Федька, по вдвое тоньше его.

— Чего?

— Рупь у тебя найдется?

— Найдется.

— Вот и порядок! — Федька повеселел. — Заскочи по пути в магазин, возьми бутылку краснухи.

— И сюда принести?

— Сюда.

— А на закуску чего?

— Живет без закуски.

— А все-таки? — улыбнулся Рогозин, с удовольствием называя то, чего в магазине не продают: — Сосисок? Сарделек? Украинской колбасы?

Лавушкин обозлился и вытянул пятерню. Но комбайнер увернулся и, хрустя по щепью, дал вдоль стройки бойкого стрекача.

Плотник, вздыхая, забрался обратно на сруб. Провел по бревну две прямые границы паза и стал нарубать косые насечки. Ему не терпелось разделаться с этим бревном. Он расклонил кряжисто широкую спину и посмотрел на братанов, которые, сладив с шестым венцом, уже накатили новые бревна и звонко шлепали топорами, высекая глубокие чашки.

Стало обидно, что он, такой здоровущий, от них отстает. Решил поприбавить скорость. Прошел полбревна, сдирая щепу, как чешую с длинной рыбы, но остро кольнуло в боку, перебило дыхание, и он со злостью взглянул на солнце, которое слишком уж тихо спускалось к сомлевшей земле.

Возвращаясь домой, Лавушкин клялся:

— Боле пить так не буду. Сколь? Поди, грамм девятьсот дерябнул. Ну его на шиш. Вот опохмелюсь за ужиною — и шабаш. Ни на какие пиры меня не затащишь.

— Это ты с кем?

Лавушкин даже подрастерялся — так неожидан был вопрос. Возле крыльца конторы стоял Николай Петрович Галявин, председатель группы контроля, он же и счетовод. Стоял в тени палисадных берез — щуплый, низенький, остролицый, от серого пиджака, серых брюк и серой кепки на голове весь какой-то потасканный и невидный.

— Чего с кем? — спросил недовольно Федька.

— С кем секретничаешь?

Лавушкин цыкнул слюной, презрительно цыкнул, давая понять счетоводу, что он его ни во что не ставит.

— Тебе-то какое дело?

— Да мне никакого, но... — Галявин намеренно замолчал.

— Что но? Давай договаривай?!

— Ох, Лавушкин, Лавушкин! Уж больно ты груб. А ведь я до вчерашнего дня ничего о тебе такого не думал. — Голос Галявина ноющий, тонкий. — Не думал, что ты шестипалый, не думал...

Парня будто помоями оплеснули. Он огляделся по сторонам, чтобы кто нечаянно не подслушал. Понял Федька, что речь пойдет о бутылке водки, которую он вчера, уходя из гостей, прихватил и распил с шофером Колькой Ершовым.

— Сам видел? Или тебе донесли?

— Не это важно, браток, не это, — сказал счетовод, — важно другое: впервой ты пошел на такое? А вдруг не впервой?

Федька дернулся, будто конь под уздой, напугав сидевшую на заборе ворону, однако сдержался и глухо сказал:

— Впервой.

— Тогда непонятно другое: почему ты так рано вчера ушел?

— Скучно. Одне старики собрались. Чего мне? Слушать ихнюю говорильню?!

Федька снова цыкнул сквозь зубы, брезгливо повел

рукой, как бы отпихивая от себя назойливо-нудного счетовода вместе с его расспросами и поглядкой, и ринулся в сумерки улицы, с обидой в душе бормоча:

— Жизнь называется! Шагу не сделай. Все-то с опаской. Э-э...

Дома Федька застал отца, колхозного бригадира, такого же крупного, рыжего, как и он, но с морщинистым лицом и лысиной до затылка. Умывшись, Федька потребовал у отца:

— Дай четыре рубля!

Отец сидел за нарядами, что-то в них помечая химическим карандашом. Положив карандаш за ухо, поднял глаза.

— Это еще на чего?

Был Илья Николаевич человеком воздержанным и степенным, выпивал лишь в большие получки да после бани. Знал, каково достается рубль, и умел его применить там, где действительно это надо. Сын же пошел не в него. Собирая в стопку наряды, Илья Николаевич скупо заметил:

— Остепенись.

Федька прошел по избе. Встал напротив отца:

— Дай! Кому говорят! Али тебе жаль?

Отец иронически усмехнулся. «Воспитали сынка. Я строжил. Пелагея жалела. Вот и вырос обсевок в поле». Убирая наряды в папку, Илья Николаевич намекнул:

— Мне не денег жаль, а тебя.

— Последний раз, — упорствовал Федька.

В кухню с охапкой дров вошла Пелагея Ивановна, Федькина мать, сухощавая женщина с шероховатым лицом. Бросив под печку поленья, жалостно улыбнулась.

— Дай уж, Илюша, ему, пуцай опохмелится.

Илья Николаевич рассердился:

— Опять потачку ему даешь!

Пелагея ушла от греха. И Федька за ней. Догнал ее на крыльце.

— Мам, найди где-нибудь. И всего-то надо четыре рр.

Пелагея Ивановна накидала щепоткою пальцев быстренький крест и испуганно:

— Что ты, Феденька! Батька узнает — беда!

— Тоже жизнь называется! Собственных денег не видишь! — расстроился Федька и, еще не зная, что предпринять, вспомнил старую Евдокию.

Он ужинать не остался. «А ну!» — приказал самому себе.

В полутемной кухоньке Евдокии воняло керосиновой гарью и самогоном. Федька весело облизнулся, решив, что с пустыми руками отсюда он не уйдет.

— Мне поллитру, тё Дусь! — сказал, усаживаясь на лавку. — Могу с собой унести, могу здесь.

Пожилая вдова махнула на парня рукой.

— Не дам ничего. Не пошло и пришел.

— Да рассчитаюсь с получки!

— Знаю вас, мужиков! Знаю оманщиков! Все одинаки! Все рассчитывается у спаса на бревнах. Даве вон с Миколашкой-то ай не ты выпивал?

— Ну я! Ну это было давно и неправда!

— Вот-вот. Теперь на неправду вали. А немало, кажись. Две бутылки, ай три, ну-ко вспомни, выпоила я вам?!

— Две! Очуслуйся! — Федька даже над лавкой пристал. — Три-то будет теперь, как заглону. Тащи-ко, тё Дусь! Долг за мной так и так! Могу рассчитаться хоть через две недели.

— Ой, голубчик, ждать две недели? Ой, какой ты забавник! Ой, Федорийко! — Голос у Евдокии повеселел, и потекли, заструились в нем бабья лукавая ласковость и упреки. — Из-за вас, из-за пьениц, сколь добра переводишь даром. И хотя бы прок был какой!

— Короче, тё Дусь! — оборвал ее Федька. — Я не лекции слушать пришел. Мне ждать недосуг. Скажи-ко лучше: чего от меня тебе надо?

— Надо-то? — Евдокия взглянула на Федьку зеленатовато-стоячими, как два болотца, глазами. — Надо-то мне ржаных зернышек. Расстарался бы ими...

— А для чего тебе зернышки-то? Для кур?

— Голова садова? Держала ли я курей-то когда? Зернышки-то мне надо для перевода.

— Для какого еще перевода?

— Ну, Федорийко? Али уж глупой такой? Для твоего, самогонново, вот для какова.

Федька хлопнул ладонью по лавке, встал, решаясь пойти домой, не попробовав самогонки. Но тут до него дошел смысл Евдокиных слов, и он задумался, встрепетнулся и понял, что будет сегодня весел и пьян. «А ежели поймают?» Федька смутился, однако, услышав обидный смешок хозяйки, приобозлился.

— Давай, коли так, мешок! — крикнул. — Да поживей! А то передумаю!

Евдокия уж постаралась. Два мешка принесла. Поменьше который — бросила под приступок, побольше — сунула Федьке.

— Полный?

— Не худо бы, Федя. Тогда и отказу тебе не будет.

Зерноток, куда вчера и сегодня Колька Ершов отвозил на машине рожь, был метрах в трехстах, за поросшим чертополохом и лебедой пустырем. И дорога туда прямая. Но Федька решил сделать крюк. В ольховом подросте уже потемки. Можно бы смело идти. Но Федька с мешком под рубахой долго стоит, следя из кустов за воротами зернотока.

А там ни души. От ворот до колес сортировки ровным слоем рассыпана рожь. Федька схватил лопату.

Мешок он поднял за два приема. Сперва на поднож-

ку сушилки, потом на плечо. Обратно пошел по дороге. По ней в три раза короче, да и гораздо легче идти. Мешок заставил Федьку согнуться. «Килограммов шейсят, — улыбнулся с тихим довольством, — да за такое добро, Евдоша, не бутылку, а две, а то и три сгребу у тебя...»

Миновав пустырь, Федька открыл отводок, шаркнул мешком по шатнувшейся веревке и вышел к знакомой залке. И вдруг шагах в сорока он увидел высокого человека в майке и низких сапожках, шагавшего по тропинке навстречу. «Да это Алька! Вот дьявол! Везет же мне на него!» — подумал Федька с досадой и сунулся за поленицу дров, слушая хлопанье голенищ, которое раздавалось все ближе и ближе. Сердце застучало, как барабан. «Засек!» — понял он, ковыряя носом гнилое полено, и хотел уже было выйти, как услышал провизг крылечных дверей, а затем Евдокин голос:

— Куда, Аличек, разбежался?

— Да так...

— Поди-ко, к барышне на свиданку?

— К барышне после пойду!

— А теперь-то куда?

— Да надо на зерноток.

— Али там оставил чего?

— Рубаху.

— Охти! Шутишь-то как нескладно! Ведь не был ты сдни там?!

— Колька Ершов зато был. Он рубаху-то и увез. Понятно?

— Понятно, да не совсем...

Федька стоял угрюмый и тихий. И не тяжесть мешка одолевала его, а ожидание той минуты, когда Алик увидит его и потребует выйти из захоропки. «Давай, Евдоша, давай! — мысленно умолял Евдокию. — Отвлеки на себя, и никаких бутылок не надо». Но Евдокия вдруг замолчала, не находя, вероятно, дальнейших слов, и Алик двинулся к отводку и, конечно, заметил мешок,

так нелепо нависнувший над дровами. И само собой, потрогал его. И Федька не выдержал, выбрался из-за дров, весь потный, лоб в комарах и мухах. Сбросил мешок и потерянно улынулся.

— Для куриц вот прихватил. Что смотришь? Не для своих.

— Для чьих-же? — Алик взглянул на крыльцо, где темнел силуэт Евдокии. Силуэт тотчас же взмахнул руками.

— Чего к человеку-то причепилсе? Иди на свой зерноток! Иди, коль пошел! Дивиться тут нече! Человек спьяну забрел в чужую зауку! Али с самим-то так не бывало?

Евдокия хитрила как только могла, лишь бы выкрутиться самой. Раскусив ее тактику, Лавушкин сплюнул. Ну и дела. Не светило, не грело, да вдруг припекло.

Федька зло обернулся к Обороньковой, хотел было крикнуть ей: «Старая ведьма!», да удержался, вспомнив, что с этой старушкой шутки плохи. Однажды так же вот с ней пошутил Николаша Ершов. Так Евдокия отправила парня на суд, где ему присудили пятнадцать суток. Тогда Ершов пришел к ней тоже просить бутылку. Евдокия пообещала, однако не сразу, а через час, сказав ему, что ее теперь зачем-то к Галявину вызывают. Николаша пришел через час. Евдокия, увидев его, застонала: «Ноги че-то вдруг заболели, ходить не могу. На вот, Колька, ключик тебе от сарая. Отопри. Там, внизу, в плетеной корзине, припрятано у меня». Колька живо слетал до сарая. Нащупал бутылку в плетюхе, и только вынул ее оттуда, как из-за клетки поленьев с карманным фонариком на него сам Николай Петрович Галявин.

Федька вздохнул, испытыв к Евдокии какое-то слабое отвращение, и смутно, будто сквозь марлю, начал смотреть, как Алик ставил мешок на пона.

— Чего делать-то с ним? — спросил, видя в молчании Алика что-то недоброе для себя.

Рогозин сказал:

— А ты не меня. Я ведь не бригадир. Ты спроси своего папашу.

— Папашу? Ты что? Он меня...

— Тогда председателя.

Голос у Алика вялый и скучный, точно ему совсем безразлично, что Федька намерен делать с зерном. Это Лавушкин уловил и немного приободрился и даже подумал, что Алик парень, кажется, свой и выдавать его никому не будет. Улыбаясь, Федька правой рукой хлопнул Алика по плечу, а левой дал знак Евдокии.

— Тё Дусь! Приготовь чего надо! Идем!

Алик скинул с плеча горячую Федькину пятерню.

— А я тут при чем?

Лавушкин поразился:

— Чего? Не пойдешь?

— Не пойду.

— Это как понимать?

— Тут тебя подожду.

Федька внимательно, точно желая запомнить, посмотрел на Rogozina сквозь негустые еще потемки — на его долголобое худенькое лицо, узенький носик и узенький подбородок — и вдруг где-то под самым сердцем почувал проклюнувшийся страшок.

— Это зачем? — спросил с нарастающим беспокойством.

Садясь на мешок, Алик вытянул руку в сторону зернотока.

— Оттуда унес?

— Оттуда.

— Туда, значит, и отнесешь.

От деревни повеяло теплым. Послышался смех, чей-то оклик и девичий радостный визг. Хорошо кому-то жилось! Федька вздохнул. И ему бы сейчас так жилось, абы не этот мешок и Rogozin.

— Ты б посочувствовал, — бросил Федька с пакидой.

— Ну, Лавушка, ты даешь! Я рожь на поле убираю, ты воруеть ее, мне же тебе и сочувствовать?

«Смеется?! — подумал Лавушкин раздраженно. — Рад, видно, моей промашке. Ах ты зараза!» Слепая горячая ненависть заподымалась в груди, руки его затряслись.

— Посадить меня хошь? — спросил, еле ворочая языком, и увидел плеснувший по пыльной дороге снопик неяркого света.

«Кого еще там несет?» — всполошенно подумал и растерянно, будто в последний раз, посмотрел на темные стаи берез, избы с далекими огоньками и фигурку скрытого теменью человека, который прыскал и прыскал лучиком света перед собой. Да ведь это Галявин! Губы у Федьки дрогнули, закружились. «На кой сдалось мне это зерно?» — горько спросил самого себя, пнул мешок и с тоской обреченного вдруг представил длинный ряд друг на друга похожих жутковатых будущих дней.

— Э-эй! — окликнул издали счетовод.

Федька взглянул на Алика с жалкой-прежалкой мольбой. «Выручи, ради Христа! — говорил его взгляд. — Будь другом! Уж я в долгу не останусь!»

Алик мольбы его не увидел, однако сказал:

— Беги!

— А мешок?

— Тогда взваливай! Ну?

Лавушкин молча присел и, толкаемый сзади мешком, который Рогозин подкинул ему на спину, поднялся и побежал.

В предосеннюю ночь, когда пахнет холодной капустой и бабками льна, Николай Петрович Галявин любил пройтись с фонариком по Боркѹ. Ходил он тихо, легко, и фонарик включал, лишь услышав какой-нибудь шорох. С помощью лучика света многое можно открыть. Николай Петрович старался и время от времени открывал: того-

то с тележкой колхозной соломы, того-то с корзиной капусты, того-то с бидончиком молока. В последние годы некого стало избобличать, колхозники зажили сыто, однако привычка кого-нибудь да застигнуть врасплох так в Николае Петровиче и осталась.

Сегодня Галявин устал, засиделся в конторе, но все равно не мог удержаться, чтоб не пройтись. Ночь подбиралась к деревне со всех сторон. Тени ее сближались, угрюмо облизывая окрестность. На огородах, среди ягодных гряд, виднелись костлявые пугала. Днем они малоприметны, теперь же в рассеянном свете окон особенно выделялись, напоминая собой старичков, которые что-то все ищут и ищут. «И я вот ищу, — вздохнул сокрушенно Галявин, — а может, и хватит? И так надо мной смеются. Плюнуть на все...»

Галявин заволновался, увидев за крайней избой деревни два силуэта. Он поспешил и сделал ошибку, нажав включатель фонарика раньше, чем надо и, зазывающе крикнув: «Э-эй!» Силуэты что-то сказали друг другу, схватили с дороги какую-то тяжесть, испуганно бросились наутек. «От меня? Да уйти?» — улыбнулся Галявин и, расстегнув давившую горло верхнюю пуговицу рубахи, проворно направился к пустырю.

Был он в мягких брезентовых тапках, и ноги ступали бесшумно, чувствуя сквозь подошву каждую ямку, щепку и камешек. Послышался ровный глухой перелив высыпаемых зерен. Счетовод напряг шею и побежал. Изгородь вдоль пустыря была старой-престарой и сухо трещала, когда он влезал на нее, цепляясь одеждой о жидкие жерди. Перелез — и скорехонько в чертополох.

Засаду устроил у самой дороги. Радуюсь темноте, в которой он никому не виден, глядел на покойно дремавшую пыль. Ждал каких-нибудь две минуты. Пыль завилась, и в ней показались Лавушкин и Rogozin. Шли они, как на прогулке, тихо смеясь и помахивая руками. «Ишь два долдона! — подумал Галявин. — Был бы я вашим отцом, так бы приструнил...» По опотевшему лбу

проползла сырая букашка. Галявин хотел ее было смахнуть, как услышал:

— Мешочек! Чуть шею не отдавил. И как мы с тобой успели смотаться? Кабы не ты, упек бы меня Галява.

— Как пить.

— Сколь, интересно бы, дали?

— Трешник, не мене.

— Во-во! Выполняй пятилетку в три года... Осел я, осел. Стяжка мне хорошего не хватает.

— Ума!

— А что? И ума! Без ума в голове.. это... как... половицу-то забыл.

— Без ума в голове два чина: дурак да и дурачина.

— Во-во! Буду вперед умней!

Галявин насторожился, пообкатав в голове и этак и так: «Буду вперед умней!» — и понял, что Федька еще позарится на зерно. «Нет, хорохор, — мысленно усмехнулся, — до этого не допустим. Создадим обстановочку. Будешь бояться не только мешок, а и зернышко взять...»

— Я бы эту заразу к ногтю, и амба! Ищейка какая-то — не мужик! — разорялся Федька. — Твой дедко вон пострадал из-за этого паразита! Я едва не попался. Мешок бы ему на кумпол да отметелить.

«Это он про меня!» — хмыкнул Галявин. Пренебрежительно хмыкнул, как человек, привыкший к угрозам и уже не боявшийся их.

Букашка залезла в ухо, и появилась боязнь, что она там чего-нибудь натворит. Галявин терпел, заворуженно следя за ногами ребят, которые проходили так близко, что можно было достать их рукой. В ухе защекотало. Галявин дернул плечом, и тут же под тапочкой скрипнул сухонький стебелек.

Ребята затихли, остановились и долго смотрели в темень. Алик сказал, что это, наверно, хорек, а Федька нагнулся, поднял комочек земли и швырнул его наугад. Галявин едва не заплакал, так жестко и больно стегнуло

его по подглазью. И тут же сжал пальцы в кулак с такой дикой силой, что ногти врезались в мякоть ладони.

Ребята прошли, и вскоре Галявин выбрался из засады. На колени, на плечи, на лацканы пиджака прилепились волокна чертополоха. Пообснимав их, он мягко, как по муке, зашлепал тапками по дороге.

В деревне было темно, а под березами, возле конторы, даже черно, словно зашла сюда самая мрачная ночь, затаилась, да так и осталась здесь до рассвета. Лишь вдали, в конце улицы, проколов темноту, ярко горел огонек, озаряя вокруг себя лампочку с абажуром, серый столб и золотистую гривку травы. Галявин задумался о хищении, перебирая в уме самые разные меры, какие он на своем веку применял ко всем плутоватым и вороватым. «Чем бы его наказать? — прикидывал контролер. — Поговорить, быть может, с отцом? Нет, это не даст ничего. Штраф наложить? Тоже пустое. Перевести на другую работу? Что толку. Вот ежели вытащить на правление, да там как следует пропесочить. Это, пожалуй, что надо. Надо шестые пальчики отсекаать...»

Галявин включил фонарик. Полоска света открыла забитую подорожником тропку, калитку в воротах и медное, змейкой свернувшееся кольцо. Запирая калитку на лязгнувший крюк, Николай Петрович заметил слабый кухонный свет. «Не спит!» — подумал с короткой радостью о жене. А когда отворил обитую кнопками дверь и увидел свою Марию, ставившую на стол плоску с картофельной кашей, то почувствовал, как в душе у него что-то переместилось, и истаяли сразу недавняя подозрительность и сердитость.

Проснулся он на заре, посылавшей в окно кудельки дрожащего света. Проснулся и ощутил, как душа его строго похолодела, и не стало недавней мягкости, тишины, и опять, как вчера, народилась настороженность.

Вспомнились сразу мешок зерна, Алик с Федькой, их разговор и еще этот твердый комочек...

Попив холодного молока, Николай Петрович взглянул в комодное зеркало и, увидев в нем потасканно-щуплого с мелким личиком мужика, на какой-то миг неприязненно поразился: «Нет никакого виду», — вздохнул.

Неприязнь приутихла, едва он ступил на рундук.

К сердцу припало приятное, бодрое, и в голове созвучно откликнулась мысль: «Вид — это видимость. А видимость — это еще не натура. Слава богу, хоть жить умею своей головой, умишком не обносился...»

Деревня проснулась давно. Стоял тот поздний утренний час, когда возвращаются с фермы доярки, ребята бегут на реку, а к почте, конторе и сельсовету съезжаются автомашины. Было безветренно и свежо. На куричных изб, державших под свесами крыши полусопревшие желоба, мерцала росная паутина.

Шел Николай Петрович вдоль палисадов, кипевших стручками акаций. Шел задумчив, спокоен и тих, пока не увидел шофера Кольку Ершова с широкой, как дверь сарая, спиной и высокой розовой шеей. «Кот блудливый», — подумал о нем машинально. Ершов обернулся:

— Чево-о?

— Что чего? — приопешил Галявин.

— Ходишь чево за мной?

— Больно ты мне нужен, — проворчал Николай Петрович, обходя шофера, пока тот искал по карманам пластмассовый портсигар и прикуривал папиросу.

Приветствуя утро, хлопали крыльями петухи. В воздухе, словно седые волосы, расстилались прозрачные облака. Где-то под крышей сельповского магазина кротко чиликали воробьи. И вдруг этот оклик:

— Хе, Николай Петрович? Кто осердил?

С крыльца громоздкого пятистенка сбегал комбайнер Рогозин — быстрый и длинноногий, с лукавой ухмылкой на лице. Ничего не ответил ему счетовод. Лишь, со-

щурясь, взглянул на его костлявую спину, поплывшую огородам между картофельных гряд, и скептически хмыкнул: «Хлебороб прозывается. Восемь часов, а всё возле дома». И тут счетовод увидел Павла Фроловича, такого же долгого, тонкого, как и внук, но сутулого, с белой ухоженной бородой. Старый Rogozin шел с деревянным плотницким сундучком, в котором виднелись топор, молоток и длинные скобы. Ремонтировать двор, догадался Галявин. Поравнявшись, Rogozin кивнул. Но Галявин словно и не заметил, прошел намеренно гордо, брезгливо подумав о встречном: «Заискивает старый пестерь».

До конторы каких-нибудь двести шагов, но и этих шагов хватило, чтобы вспомнить тот памятный год.

Целое лето хлестали дожди. Рожь так почти вся на цвету и сгнила. Один ячмень вырос более-менее. Хватило бего крестьянам на стол, но предстояло выполнить хлебосдачу. Руководил колхозом тогда Павел Фролович Rogozin, светлоглазый, высокий мужик, который прошел всю войну, был проворен, здоров и никого не боялся.

«Как жизнь-то теперь мыкать будем? — спрашивали его. Rogozin, хотя и в расстройстве ходил, а виду не подавал. «Погоди, робята, всяко придумаем что-нибудь». И придумал. В сводке, которую отослал в райцентр, указал зерна вдвое меньше, чем было на самом деле.

Приехал инспектор райисполкома седенький Бабарыков в краснооколышной новой фуражке, сапогах с галошами и плаще. С одним разговор затеет, с другим. О погоде, о жизни поговорит и лишь напоследок о хлебе. Но деревня как начеку: «Не выросло ноне». Галявин, тогда еще паренек, заступивший на должность колхозного счетовода, тоже ответил как все: «Не выросло ноне». Но представитель района был человек бывалый.

— Хлеб спрятан, — сказал он и посмотрел на Галявина так, точно тот был замешан в чем-то очень-очень опасном.

Галявин поднапугался: он знал, что какая-то часть зерна была на черный день закопана на овине.

— У кого? — спросил он, околевая под взглядом синих узеньких глаз инспектора райисполкома.

Уполномоченный намекнул:

— У того, кто богато живет.

Галявин сообразил, что Бабарыков ведет разговор наудачу, поэтому смело сказал:

— Таких у нас нету.

Бабарыков знающе улыбнулся.

— Пойдем-ко за мной, пойдем.

В осенний дождливый полдень ступал Николай Галявин след в след за инспектором райисполкома. И смутился он необычно, когда Бабарыков свернул к пятистенку, где жил председатель колхоза, и зашел сначала не в дом, а в заваленный разным хозяйственным хламом сарай. Расшвыряв лопаты, катанки и рогожки, Бабарыков пнул сапогом в аккуратную складку мешков.

— Считай, счетовод!

Семь мешков насчитал Галявин и не успел подумать, откуда взялось у Рогозина это зерно, как Бабарыков спросил:

— Ты знал об этих мешках?

— Нет, нет, — Галявину стало знобко.

— А все-таки? — На морщинисто-сером, будто картошина в пепле, лице Бабарыкова проиграла неверящая улыбка.

Галявин был чист, никакой вины за собой не ведал, однако малиново покраснел. И в эту минуту в раскрытую дверь сарая вошел председатель Рогозин. Галявин рванулся ему навстречу и умоляюще прокричал:

— Я не знал ведь про эти мешки? Не знал ведь, Павел Фролович?!

Рогозин был в безрукавой фуфайке, в шапке и босиком, из-под круглых, как трубы, штанин выползали завязки.

— Про это зерно он не знал, — сказал председатель.

Галявин вздохнул с облегчением человека, с которого

сняли большую вину, и благодарно поднял глаза на замученно-злое лицо хозяина пятистенка. Поднял и сразу представил тот жутко короткий срок, какой оставалось прожить Rogozinu дома. В душе Галявина выросла жалость, но тут же к ней примешался испуг: ведь председатель-то вор! Открытие это для юного счетовода было таким невозможным, что он невольно отпрянул и замигал.

— Значит, есть еще и не это? — спросил требующе инспектор.

— Что не это? — насторожился Rogozin.

— Зерно.

Председатель переступил по боркнувшим половицам.

— Другого нету.

Бабарыков прошелся медленно по сараю, отпывая носками галош тут и там валявшиеся тряпицы. Остановился, переместил к затылку околыш фуражки.

— А ты, счетовод, что скажешь?

Пальцы Галявина задрожали, и он вцепился ими в полы хлопчатобумажного пиджака и еще не решил, что сказать, как услышал:

— Он скажет вам то, что и я!

— Но! Но! — оборвал Rogozina Бабарыков и, повернувшись к Галявину, улыбнулся. — Интересуюсь второй захоронкой зерна. Ты понял меня, надеюсь?

— Попаял, — выдавил через силу Галявин.

— Так почему же молчишь? Или его боишься? — Инспектор взглянул на Rogozina с равнодушной пустой усмешкой, как глядят на заведомо обреченных. — Зря, счетовод! Зря, потому хотя бы, что твой председатель — преступник.

— Преступник! — вскрикнул Rogozin, да так дико и изумленно, что Галявин вновь испытал к нему жалость, но, подавив ее, нервно спросил:

— Почему тогда, Павел Фролович, эти мешки оказались тут? Кто о них знает, кроме тебя?

— Никто.

— Все понятно, — глухо вымолвил счетовод, ощущая растущий в нем гнев. Гнев к человеку, которому еще утром, еще каких-нибудь двадцать минут назад был по-сыновьи предан.

— Ничего не понятно! — Rogozin мотнул головой, как лошадь, отряхиваясь от гнуса, и по лбу, из-под самых корней волос потекла на лицо сероватая бледность. Он стал торопливо и сбивчиво объяснять, будто бы этот ячмень он оставил на семена, что год ныне люто неурожайный, и потому так важно зерно сохранить до весны.

Галявин слушал его. Слушал, волнуясь, как затаившийся мальчик, которому важно установить: так кто же такой есть Rogozin — или ни в чем не виновный, однако ошибшийся человек или искусный притворщик?

Покосившись на складку мешков, Галявин сказал:

— Коли хотел сохранить до весны, так па кой у себя-то зерно оставил?

Rogozin вспылил:

— А где его оставлять? В кладовой?

— В кладовой!

— Да там бы живо его описали! Там бы...

— Но, но, — снова обрезал его Бабарыков. — В другом месте об этом расскажешь! — И проскрипел резиной галош, увлекая вслед за собой счетовода.

— Поверь, Николаша, я же не для себя! Поверь! — крикнул Rogozin ему вдогонку.

Галявин поверил и испугался: а вдруг эта вера ему повредит? Не лучше ли сделать обиженный вид и взглянуть на Rogozina как на вора? Он так и сделал, сказав председателю лживым голосом человека, который спасает личную жизнь:

— И рад бы поверить, да не могу.

За деревней, в мокрых полях умирал осенний пасмурный день, собирались стаями галки, шумели ручьи, когда Галявин привел Бабарыкова на овин и, показав на хлебную захоронку, попросил, чтоб за это зерно пикого к ответу не привлекали.

Тридцать лет минуло с той поры. Галявин как был счетоводом, так им и остался. Только общественных дел поприбавилось у него, и все по части выверки и контроля, ибо не было человека в колхозе, кто лучше его умел бы бороться с общественным злом, выявлять расхитителей, пьяниц и бракоделов. Порой он даже усердствовал лишка. Стоило человеку справиться новую обстановку, корову купить, выстроить дом, как счетовод прикидывал с подозрением: а честно ли он, на свои ли на трудовые?

Сегодня с утра из головы у него не выходит Федька. Взяв книгу данных по молоку, встал и прошел к председателю в кабинет.

Андрей Елизарович Селиверстов кричал в телефонную трубку, кого-то разносно ругая. Бросая трубку на рычажки, кивнул Галявину: дескать, давай, чего у тебя, говори.

Галявин заговорил, с неудовольствием замечая, что Селиверстов, хотя ему и внимает, однако думает о другом.

— Чего он сделал-то, говоришь? Украл с зерпотока зерно?

Галявин поморщился:

— Слушать, Андрей Елизарович, не умеешь. Не украл, а пытался украсть, но ему не дали.

— Не дали. Ну что ж. Так и должно быть!

— Но, Андрей Елизарович?

— Так, — председатель взглянул на Галявина с нетерпением. — Просьба какая? Совет?

— И то и другое. Ты только, Андрей Елизарович, подключись, — Галявин вдруг улыбнулся такой завлекательной, мягкой улыбкой, будто хотел увести Селиверстова в гости. — Правление собери! Уж мы его там пропесочим. Отучим раз навсегда пялить глаза на чужое.

Больше всего не терпел Селиверстов подсказок людей, которых не уважал. Он и сам понимал, что надо этому Федьке поправить мозги, чтоб не больно-то куролесил. Работник он — будь здоров, и характером не капризен.

Такие, как Федька, в хояйстве опора, ибо они подставляют плечо под любое тяжелое дело. Дел же тяжелых покуда в колхозе хватает.

— Ладно, — сказал Селиверстов, вставая, — я с ним побеседую...

— Но этого мало! — воспротивился счетовод.

— В самый раз! — сказал председатель, как отрубил.

К себе за стол Николай Петрович вернулся обиженный и смущенный. Подшивая книгу данных по молоку, подумал вдруг с охватившим его облегчением: «Может, плюнуть на этого Федьку? Черт с ним! Забыть, будто и не было ничего...»

В двенадцать часов позвонил председатель районного комитета контроля Олег Тимофеевич Дегтярев, чтоб узнать: нет ли каких нарушений на жатве? Галявин назвал фамилии комбайнеров, кто недостаточно плотно герметизирует агрегат, кто оставляет высокую стерню, и на прощальный вопрос: «Каково здоровье?», хотел сказать привычное: «Все хорошо», как вдруг почувствовал боль под глазом.

— Есть, — сказал он негромко и осторожно, — случай хищения ржи. Самому вопроса этого не поднимать. Вот если бы кто приехал ко мне на подмогу.

— Будет подмога, — ответили в трубке.

Сегодня, вернувшись домой, кроме деда и матери, Алик застал постороннего человека в широкополом, с двумя рядами пуговиц пиджаке. «Откуда-нибудь из района, проверять, как у нас тут идет косовица», — подумал Рогозин, встречаясь с вежливым взглядом вечернего гостя, который поднялся с лавки и голосом ясным, открытым представился:

— Олег Тимофеевич Дегтярев.

— Немытый я, — уклонился Алик.

Но Дегтярев и немую руку пожал. В пожатии этом, и плавном наклоне крупной седеющей головы, и в том,

как Олег Тимофеевич посмотрел, проглядывали манеры бывалого человека, который с любимыми людьми умеет держаться свободно.

— Занятно, — сказал Дегтярев, снова усаживаясь на лавку, — все три поколения в сборе... Так вы, стало быть, Катерина Михайловна, восемнадцатый год на ферме?

— Ага! — Катерине Михайловне было лестно, что с ней разговаривал вежливый человек, интересуясь ее работой. Была Катерина Михайловна женщиной неприметной, с невыразительным круглым лицом. Ее было просто спутать с такими же, как она, кто мелькает на каждой ферме, в каждой бригаде и каждой избе. Торопливыми, легонькими шагами ходила она по кухне, уставляя стол самолучшей едой, и следила за самоваром, который стоял под шестком и постреливал угольками. Дегтярев расспрашивал, а она волновалась, как волнуются многие из крестьянок, когда в один удивительный день их вдруг балуют редким вниманием, и отвечала приветно и радостно, торопясь сказать о себе побольше.

— Сколько коров-то у вас? Восемнадцать?

— Ага, восемнадцать да еще четыре телка.

— А надоила две тысячи сто?

— С седнишним днем — две тысячи сто пятнадцать.

— И сын, наверное, в мать, такой же проворный?

Алик подсел к столу, переодевшийся и умытый. Олег Тимофеевич хлопнул его по колену.

— Ну как, хлебороб? Много сегодня намолотил?

— Восемь бункеров.

— Молодец! — похвалил Дегтярев и, сделав движение головой, захватил глазами Павла Фроловича, который сидел, привалившись спиной к теплой русской печи.

— А где хозяин у вас? — спросил.

— На спокойе, — откликнулся Павел Фролович, а Катерина Михайловна пояснила:

— Помер от рака желудка.

Дегтярев провел ладонью по волосам, помолчал ровно столько, сколько необходимо, чтобы выразить этим сочувствие, и сказал:

— Смотрю, Павел Фролович, па пенсии вы, а с колхозной работой не расстаетесь.

Старый Rogozin пошевелился, поднял лицо. В покойном и тихом взгляде его туманных зрачков, слабой-пре-слабой улыбке и движении длинной ладони была какая-то терпеливость долго и трудно жившего человека.

— Силёшка есть, отчего не работать, — сказал, процедив белую бороду между пальцев. — Да и скучно без дела. К тому же годов-то мне всего шестьдесят один.

— И на войне воевали?

— А как!

— В пехоте?

— В стройбате.

— Награды, наверное, были?

— Была медалишка «За отвагу».

— А после войны?

— А после в колхозные председатели возвели.

— И долго вы возглавляли колхоз?

Водянистые, с тусклеющей глаза старика уставились в клюквенно-розовый пол, а долгое, в паутинных морщинах лицо принахмурилось и померкло.

— Покуда не взяли.

— Куда?

— Осечка случилась у меня, — ответил Павел Фролович. — И за нее я расплатился...

Дегтярев виновато и вежливо улыбнулся.

— Я понимаю... вполне... Да, конечно... Ведь раньше многих сажали по пустякам.

— Меня за серьезное посадили, — оспорил Rogozin.

— Но незаслуженно? Так?

— Нет, я вполне заслужил, потому как пошел сознательно на обман, — ответил Rogozin и вспомнил тот злополучный сорок шестой, когда его обвинили в подлоге и краже. Обвинение было тяжелым, и оправдаться он

не сумел. Хорошо, хоть на долю его срок наказания вы-
пал короче — семь лет вместо положенных десяти. Ам-
нистия снова поставила рядом с людьми, вернула в род-
ной пятистенок, в котором от бывшей его семьи остался
лишь сын Валентин. Руководить колхозом Павлу Фро-
ловичу больше уже не пришлось: замарано имя, но он
утешал себя мыслью, что будет полезен хотя бы сы-
новьей семье. И был полезен, благо умел конюшить и
чинить ременную упряжь, и косить на косилке траву, и
мастерить всевозможные шкафики-поставцы, столы, бу-
феты и гардеробы. Появились деньжата, а вместе с ними
и обстановка, хорошая пища, обувь, одежда. Живи бы,
казалось, так целый век. А нет. Заболел Валентин. Бо-
лел тяжело и недолго, а умер легко, как заснул. Горько
Павлу Фроловичу было в те дни. Лишь одно утешало
его: после сына остался наследник, есть кому род Ро-
гозиных продолжать.

Шаркая вязаными носками, Павел Фролович прошел
к столу, за которым сидели Алик и Дегтярев, и почув-
ствовал, как на душе у него потеплело и появилась по-
требность поговорить. Принимая из рук Катерины чаш-
ку горячего чая, задумчиво произнес:

— Жизнь наша вроде не краденая, а все время чего-
то боишься. Председателем был — за людей боялся, как
бы их с сумой по миру не пустить. Сын заболел — за
него дрожал, чтобы он наперед меня богу душу не отдал.
Теперь вот за Альку боюсь.

— А чего за меня бояться? — удивился юный Ро-
гозин.

— Смелый больно. А смелые все не особенно осто-
рожны.

— Не то, дедушка, говоришь!

И Павел Фролович понял: не время сейчас затевать
подобные разговоры. Напившись чаю, он возвратился к
приступку, зевнул и стал рассеянно слушать.

— Если не ошибаюсь, в вашей деревне должен жить

один богатырь. Говорят, здорово тяжести поднимает, — сказал Дегтярев.

Алик предположил:

— Уж не Федька ли Лавушкин?

Дегтярев кивнул головой.

— Вот, вот. Хочу познакомиться с ним.

— А зачем? — удивился Алик.

— Да так. Просто. Люблю интересных людей.

Алик отставил недопитый чай, поднялся, на узком его лице выпукло выступили тонкие скулы.

— Я бы вам не советовал.

— Почему? — спросил Дегтярев.

Алик заволновался, но что-то его подкупило в госте: уважительность да солидность. И он выпалил наудачу:

— Мешок зерна чуть с гумна не упер! Ладно, я встретил его, а то бы и адреса не оставил.

— И что же вы сделали с этим мешком?

— Обратно — на зерноток.

— Молодец! — Дегтярев опять хлопнул Алика по колену. — Правильно поступил! А кому ты об этом сказал?

— Как кому? Никому.

— Вот это уже похуже. — В голосе Дегтярева прорезалась нотка досады: — Ты ведь, кажется, комсомолец и должен бы знать, что бороться с общественным злом надо не в одиночку. Как полагаешь?

— Так-то так, — согласился Алик, почувствовав вдруг в вопросах и в тоне, с каким задавал их ему Дегтярев, нечто тревожное для себя. — Но, мне кажется, Лавушка больше не сунется воровать.

— А если сунется? И однажды все-таки украдет. А мы не узнаем. Кто получится тут виноватым? И он тот, кто его пожалел. В данном случае ты. Вот ведь какой нежелательный поворот. Ну да уж ладно. Будем надеяться, в другой раз ты такой оплошности не допустишь?

— Не допущу, — тихо вымолвил Алик и встал, чтоб уйти в заваленный сеном сарай, где стояла его раскладушка.

Три вечера Федька на пару с Ершовым ходил в лесопунктовский клуб. Надевал расклешенные брюки, рубаху с алым шнурком и огромный белый берет, под которым скрывалась его темно-рыжая шевелюра.

В первый вечер Лавушкин млел и потел, поедая глазами девчат, которых было так много, что сердце прыгало от волнения. К какой из них подойти? Конечно, хотелось к самой приметной. Но приметные были разобраны, и приходилось порыскивать взглядом по неприметным. Однако и к этим девчатам не сразу нашел он подход. Смущался голоса своего, который был настолько жесткий и грубый, что казалось, кому-нибудь угрожал. Одна — тонколицая — даже одрогла и посмотрела на Федьку с испугом, когда он сказал: «Пошли-ко станцуем». Танцевать он, естественно, не умел. Но в толкучке, где каждый тебя потирает плечом, это было совсем незаметно, и Лавушкин, приглашая партнершу, спешил пробиться с ней в толчею и, конечно, отаптывал ноги всем, кто поблизости с ним танцевал.

— Ничего! — утешал его Кавалер. — Все одно верх за нами!

Ершову что! Освоился вмиг, никого не боялся, и не стеснялся, нырял, как щука, среди девчат, и в первый же вечер пошел провожать дочь начальника лесопункта. Возле нее похаживал и жених, спортивного вида парень, на модной рубахе которого нарисовано было мужское лицо. Он был куда красивее Ершова. Но Кавалер на это не посмотрел. Пошел провожать, да и только.

Два вечера Федька завидовал другу. На третий маленько поосмелел. Стал приглашать, при этом отвешивал полупоклон, улыбался и бормотал: «Разрешите!», чему его научил Кавалер. И отказа не получал. Парень расцвел. По большому, в густых конопушках лицу скользи-

ло сияние превосходства, и к одиннадцати часам, когда радиола запела прощальную песню, забрал податливый локоть десятиницы Гальки и, презирая хмурые взгляды ребят, двинулся следом за Кавалером, который под ручку с Катюшей, как звали дочку начальника лесопункта, брел куда-то в сторону штабелей.

Было сумрачно и тепло, пахло опилками и дровами, почти от самого горизонта светила в лицо налитая звезда. Сердце у Федьки нежно томилось, он думал о счастье, о скорой своей женитьбе, о том, что женой его будет десятиница Галька, которую он заберет отсюда в колхоз. Глянулось Федьке в ней то, что была она молодой, голосок с переливцами, как звоночек, а волосы гладко расчесаны, пахнут рекой и поверх волос краснеет гребенка. Федька остановился, коснулся рукой гребенки и, засмутившись, спросил:

— Свидимся завтра?

— Свидимся.

Лавушкин шею нагнул и хотел было Гальку поцеловать, как услышал сердитый кашель. Он растерянно обернулся, и сердце его провалилось.

По тускло белевшей дороге шла молчаливая стая парней, в губах у каждого — сигарета. «Будут бить», — догадался гуляка и неверной рукой подхватил Галькин локоть. Догоняя Ершова, который, как ни в чем не бывало, тискал Катюшу, тяжело и отчаянно затужил. «Еще укокошат», — грустно подумал и ощутил заструившийся меж лопаток острый томительный холодок.

— Гребни, Катерина, сюда! И ты, Галина, гребни! — крикнули сзади. — Есть тема для разговора! А вы, оглоеды! — Это уже относилось к Лавушкину и Кольке. — Стойте, где стоите!

Пальцы у Федьки дрогнули и обмякли, и Галина, отбросив его ладонь, метнулась на голоса. Но ее поймал Кавалер, уцепившись за пояс платья. Поймал и тут же лишился своей Катюши, которая взвизгнула, топнула и пропала куда-то за спины парней.

— Что будет! Что будет? — запримчала Галина, прижатая Кавалером к поленнице дров.

Ершов невесело усмехнулся:

— Не бойсь! Как-нибудь! — и стал отстегивать флотский ремень.

Парней было четверо. Выплюнув сигареты, они шли, подбирая с дороги обломки битого кирпича. Впереди, в долгополой, навыпуск рубахе с проступавшим на ней и в потемках рисунком мужской головы — Катеринин жених. Лавушкин ткнул Кавалера в бок.

— А ну их всех на шиш! — И, поглядев в темноту кустов, помазанных сверху покойнирко-желтым лучом луны, прыгнул, ломая ногами какие-то доски. Ему слышалось, будто и Колька за ним пропустил, это его подхлестнуло, прибавило прыти, и он, хватая губами воздух, рванулся что было сил. Скрипели листья, темень металась по сторонам, а он летел, обгоняя кусты и деревья и оставляя на них лоскуточки от брюк. На дорогу, петляющую меж стволов, он выскочил с радостным стоном, и только хотел приударить к Борку, как разобрал отдаленный топот, чье-то кряхтенье и чей-то пронзительный свист. Повернулся лицом к перелеску и понял, что Колька остался там.

Лавушкин сжал руками виски и, ощущая в коленях противную дрожь, поплелся в деревню.

Утром он встал, неприспавшийся и сердитый, с такой звериной тоской на душе, будто кого-то вчера погубил и теперь придется за это ответить. «По кой попёрся на эту базу, — каялся про себя, — и в деревне девахы есть. И убежал ровно заяц. Неужто такая я сволота, что только и гожа воровать да трусить? Кляни вот тепере себя, трясись, как овечий хвост. Ох, надо бы как-то иначе...»

В щели забора упорно лезла крапива. В частоколе ее стеблей заблудился цыпленок, подавая сквозь злую лист-

ву отчаянный писк. Федька просунул руку меж досок и, поймав малыша за ножку, опустил его в росную мураву. И нечаянно, в первый раз со вчерашнего вечера улыбнулся, глядя, как тонконогий птенец, помахав коротышками крыльями, покатиł одуванчиком по траве, а навстречу из-под узорчатых листьев тмина с кудахтаньем бросилась курица-мать, увлекая вслед за собой целое полчище желтых младенцев.

Лавушкин шел на работу и мог бы пройти боковым переулком, минуя дом Кавалера, однако чувство вины перед Колькой было сильнее боязни, и он не свернул. Еще издали услышал громыханье ведра и кашель.

Ершов заливал в радиатор воду. Сквозь широкий пиджак угадывались лопатки — большие и круглые, как придорожные лопухи, которые туго и медленно расходились, словно тесно им было под пиджаком, и они выби-
рались наружу.

— Э-э, — позвал Лавушкин потихоньку.

— Бэ-э! — отозвался Ершов. — Куда ты вчера де-
вался?

— Да надо тут было...

Кавалер отшвырнул ведро и оно покатиłось по жир-
ной траве.

— Ты, Лавушка, видимо, начитался?

— Об чем?

— Об том, как Кутузов француза в Москву за-
маньвал!

— А я тут при чем?

— При том, — объяснил Кавалер, — что ручейских
ребят заманьвал тем же манером.

— Куда заманьвал?

— В Борок!

Лавушкин так и палился свекольным соком.

— А может, живот у тебя заболел, и ты сиганул до
кустов, да там заблудился?

Федька молчал, отупело мерцая зрачками прищурен-
ных глаз. Перед ним, наступив ногой на ведро, стоял его

закадычный дружок, который имел теперь полное право над ним посмеяться и поглумиться.

— Дай закурить, — попросил, забыв о своих сигаретах, и посмотрел на Ершова жалко, потерянно, по-собачьи. — Обижаешься на меня?

— Нисколько, — ответил с улыбкой Колька, — наоборот, я должен спасибо тебе сказать!

— Спасибо! — У Федьки в душе царила неразбериха. Он и завидовал Кавалеру, и боялся его, и хотел, чтобы он над ним больше не зубоскалил. — А за что?

— За Гальку! — Ершов подобрал ведро и подвесил его под кузов машины. — Эх и сладкая, о-па-ля! Женюсь на ней! А тебя тамадой приглашу на свадьбу!

— погоди! — Федька тарашил глаза на Кольку, который после вчерашней драки был без единого синяка и выглядел так, будто и в самом деле устраивал свадьбу. — А хмыри-то с камнем... Как... Не тронули, что ли?

— Вот моя оборона! — Кавалер погладил по бляхе. — Пару раз замахнулся — и все. Даже обидно, что мало огрел.

— А Галька?

— Галька со мной осталась. Завидуешь?

Но у Федьки какая зависть. Он был доволен и рад, что все обошлось, Колька не сердится на него и даже еще приглашает на свадьбу.

Обивая носками ботинок росу, Лавушкин шел и с каким-то нездешним восторгом смотрел на курчавую мураву, по которой, как мыши, бойко прыскали воробьи, поедая зеленую крупку, на залитые клюквенным светом творожно-рыхлые облака, на сквозившие вдоль опушки цветные заплатки. Смотрел и рассеянно улыбался.

Братаны Макар с Александром, оба в рубашках с короткими рукавами, ожидая его, курили. Некрупные, пожилые, с какой-то сонной усталостью на лице, они вызвали к себе то ли сочувствие, то ли жалость. Но Лавушкин знал, что это обманчиво. И тот и другой были крепкими мужиками. Силенки большой, конечно, уже

не имели, ибо ее растратили на строительстве разных навесов, гумен, складов и скотных дворов, но были еще выносливы, будто кони, и Федька не в каждый день мог работать с ними на равных. Однако сегодня во всем его теле жил, торжествуя, спорый азарт. Мышцы его застоялись, соскучились по работе. И Федька, увидев стопу неостроганных досок, заухмылялся, уселся на них, приглашая в напарники Александра. Обхватив рукоятки фуганка, повел на себя. Над железкой взбурлила белая стружка. Федька двигался по доске, нагибаясь и разгибаясь, а строганина густо ползла, ломалась и опадала, хрустя под ногами, как мартовский наст.

Александр, имевший привычку работать неторопливо, понял, что парень его загонит, поэтому грустно моргнул и, пытаясь успеть за Федькой, после первых трех досок устал до того, что руки его дрожали.

И Макара хватило лишь на три доски.

Федька видел, что плотники им недовольны, и это его забавляло. В его порывисто сильных движениях, заносчивом взгляде и в том, как он время от времени властно поваживал шеей, было бахвальство. Все у него сегодня ладилось как никогда. Строгал ли еловые доски, тащил ли их кверху по слегам на потолок, поднимал ли стропильные связи, — за всяким делом задиристо улыбался и смотрел на своих притомленных товарищей по работе с великодушием силача, привыкшего им прощать повседневную слабость.

Порой он косился по сторонам. И было ему приятно, что где-то шагах в сорока прошумел короткий, бог знает откуда взявшийся дождь, и что прохлопал цепями удаленький грузовик и на фарах его серебряно брызнули всполохи света, и что заснул на ходу вечерний ленивый ветер и стало вокруг неподвижно и тихо, будто на землю упал блаженный покой.

И теперь, когда топоры и рубанки схоронены в мох, когда день торопился спрятаться с солнцем за желтую гривку берез, когда вился над травами холодок, и луна

поворачивалась рожками на запад, Федька испытывал ту же приятность, при которой его подмывало вдруг ни с того ни с сего рассмеяться или громко окликнуть кого-нибудь и, услышав себя, с беспечной радостью убедиться, что и он живет на земле и может видеть родные пределы, видеть столько, сколько захочет душа.

По всем переулкам Борка разлетелась тревожная весть — сын бригадира проворовался. Где только это ни обсуждали — и в мастерских, и на ферме, и в магазине...

— Начальство приехало, э!

— Будет теперь разберуха!

— А Федорийко-то кто? Не плут, не картежник — ночной придорожник!

— Жалко отца: экой хорошей.

— Возле хороших черти водятся чаще.

— Черт-от с удочкой оказался! Тащил из омута щуку, вытащил куль зерна!

— Лукавый руководил!

— А я скажу: трезвый расчет! Краденая краюха купленной подешевле!

— Да он не украл — на спине подержал, на этом и поймали.

— Кто поймал-то? Аличек?

— Аличек, мять бы ему цветочки! За глаза па Федьку наговорил.

— Дак это он пачальству-то сообщил?

— Язычок его долгой!

— Тихо вынес, да громко разнес!

— И смех и грех! Чего-то сегодня будет? Никак правление соберут?...

Было два часа дня. Вблизи колхозной конторы стоял бледно-синий «Москвич», в котором приехал Олег Тимофеевич Дегтярев. В первый раз приезжал он три дня назад, чтоб проверить сигнал счетовода насчет хищения

ржи. Сигнал подтвердился, и вот опять Олег Тимофеевич здесь. Сегодня в конторе колхоза он потолкует с народом о мерах борьбы с расхитителями зерна. Дегтярев сидел в бухгалтерии, рядом с Галявиным, за столом, редактируя текст повесток. Счетовод переписывал их, то и дело справляясь:

— Ветеринару писать?

— Пиши.

— А зоотехнику?

— Тоже можно...

Час спустя Николай Петрович с полной горстью шуршащих повесток спускался с крыльца.

— Ершо-ов! — блеснул глазами в сторону бортовой, остановившейся около магазина, куда шофер ходил купить папирос. — Вот, на! Рогозину передашь! — И, сунув в кабину повестку, бежал по деревне дальше, помахивал кепкой и бодро кричал: — Сийко! А ну сюда поживей! Сергеевич! Задержись на минутку!

Лишь Федькиному отцу, рыжебровому бригадиру, кого всегда почему-то боялся за хриплый голос, большие руки и мутные маленькие глаза, вручил повестку без лишнего эмоций.

Лавушкин, не читая, пихнул записку в карман, поглядел на Галявина, как на подростка, и ушел, переполненный горем за сына. Как бы ему хотелось пресечь все эти летавшие в воздухе слухи! Он прошел сквозь них, как через пытку, и лицо его нервно горело. «Неужто Федька до этого докатился», — думал он, чувствуя на себе липковатые взгляды внимательных глаз.

Был Илья Николаевич пожилым покладистым мужиком, который знает одну работу, и знает давно, казалось, с этой работой он и родился, настолько в Борке все привыкли видеть его бригадиром. Хотел бы он, чтоб и сын был бы в чем-нибудь постоянен, дабы колхозники видели в нем путевого парня. Илья Николаевич скорбно вздохнул: «Воспитывали не эдак. Вот и вырос с туманом в мозгах».

Дома Федьку встретили худо. Мать завздохала. Отец поморщился, как от боли. «Начальство, поди, поругало», — подумал он свёсела об отце.

Отец взял с комода бумагу.

— Читай!

Федька взглянул на повестку и густо побагровел.

«Уважаемый Федор Ильич!

Сегодня в восемь вечера в конторе колхоза состоится заседание группы народного контроля по делу хищения зерна на току. Ваша явка строго обязательна».

— Как тебе это глянется? — донесся голос отца.

Федька, грузно топая, вышел в сени, напился холодной воды. На душе его были сумятица и кошмар. «Ну, Алька! Ну, распродажная тварь!» Он стоял на крыльце, ошарашенный, оглушенный, и казалось ему, что все это было не с ним. И мешок не он уносил с зернотока, и в повестке написано не о нем. Долго Федька стоял. Потом перебрался на крышу сарая, улегся и начал курить. Сигарету за сигаретой.

Рогозин косил ячень. Поле за перелогом, в каком-нибудь километре, спустись под угор, перейди пескариную речку, тут тебе и работа. Ладонь у Алика сухо горела, проворачивая рычаг. Из-за кустов, подымая пыль, вырвалась бортовая. «Что-то у Кавалера стряслось», — подумал Алик при виде Ершова, который не вышел — вылетел из кабины, красный, как после драки, вскарабкался в кузов и заблажил:

— Давай! Чего там чешешься! Живо-о!

Рогозин открыл задвижку и с бодрой улыбкой, какой приглашают к веселому разговору, спустился с комбайна.

— Хе, Кавалер! Не невеста ли убежала?

Ершов и бровью не шевельнул. Присогнув лопатки, двигал ими, как при косьбе, разгребая ячень лопатой. Его полосатая толстая кепка сидела на низких

бровях, под которыми тускло мерцали налитые злостью глаза.

— Или сам от нее смотался? — продолжал Rogozin, памереваясь Ершова расшевелить.

Шофер приподнял над бортом лопату, распрямился и сильно ее потрянул. Ячмень засыпал Алику и глаза, и ноздри, и рот. Чихая и закрывая ладонью лицо, он круто попятился от машины.

— Чок... Чокнулся, что ли?

Над бортами нависли подошвы ботинок. Кавалер на руках спускался в кабину и, усевшись, щепоткой двух пальцев, будто паршивую кошку, вынес оттуда повестку, швырнул ее на жнивье.

Подобрав записку, Алик растерянно начал читать: «Уважаемый Альберт Валентинович...»

Алик почувствовал, как по спине прополз мерзковатый озноб. «Да что это, хе? — вскинул бровями. — Выходит, я Федьку жалобой обложил? Но я ведь этого не хотел. И не думал об этом. Рассказал Дегтяреву. А он...»

Комбайн захлебывался от гула, но Алик не слушал его, как не слушал и свиста скворцов, собиравшихся на совет перед дальней дорогой. На сердце было нехорошо. Чувствовал он себя так, будто на нем провели гнусный опыт. Провели осторожно, тайком, и этим его оскорбили.

Приехал Ершов. Алик нытался с ним было разговаривать, но Кавалер был презрительно-замкнут, на мрачном его лице лежало брезгливое выражение человека, который еще никому предательства не прощал. И все же домой Rogozin поехал с Ершовым. Садясь в кабину, услышал:

— Опасно поне с тобой.

— Это как?

— Не люблю с прокурором встречаться.

— Ты это чего-то?! — Алик схватился за руль, отчего бортовая свернула с дороги, проехав одним колесом по краю копны.

Ершова это не взволновало. Лишь отпихнул Рогозина к дверце, а перекрестье руля, где лежали у парня руки, вытер замасленным рукавом.

— Лавушкина запачкал, тепере машину?

Плечи у Алика опустились.

— Я не по доброй воле.

Ершов не очень-то и поверил:

— По злой?

— По злой!

Кавалер сбросил газ, и машина остановилась.

— А ну-ко очисти, да поскорей! — Ершов поглядел на Рогозина иссиня-черпыми, как у вороны, глазами. — Что зенки-то выкатил? Машину освободи! Один вор и трус, другой доноситель. Ну и дружки у меня!

Глотая пыль, Алик смотрел на широкие крылья брезента, громко хлеставшие по бортам. Машина таяла на глазах, пропадая в клубящемся вихре. Алик отер рукавом потный лоб и вдруг отчетливо осознал, что он не только смущен и обижен, но и испуган еще.

Где-то внизу, за распадком осин, беспокойно бурлило поле. Алик шел, унося на вземах сапог кривые стручки придорожной сурепки. Шел и видел, как все окрест куда-то спешило: вытягивались по ветру текучие ветви, листья срывались с пих и, шурша, запружали канавы и межи, п солнце, скользя через гряды искромсанных туч, вдруг стало гаснуть и исчезать, словно кто-то его тащил за стемневшую землю.

«Все пройдет, — думал Алик, успокаивая себя, — и опять по-старому будет. Федька потужит, да перестанет. А потужить ему все же полезно».

Хотел бы Рогозин, чтобы никто павстречу не попался. Закрыв полевой отводок и услышал скрип крыльев взлохмаченной птицы. И вздрогнул, как если бы птица могла о нем кого-то предупредить.

Сквозь листву дворовой рябины Алик увидел Федьку, который лежал с сигаретой па крыше сарая и мрачно помахивал кулаком.

— Иуда-а.

Алик озяб, словно его с головой окатили ведром холодянки. Осевшая где-то на дне души большая тревога бередила сознание, горько подсказывая ему, что действительно он — иуда. «Я не хотел, я не думал», — пробовал оправдаться. Но это было уже ни к чему. Кому-кому, а себе-то бы надо верить, иначе таким отчаяньем напихнет, что жизнь покажется как обуза — тяжелая, давящая к земле, которую вытерпеть может не каждый.

В дом Рогозин вошел, заставляя себя улыбнуться, чтобы видом своим не встревожить деда и мать. Однако дома уже все знали.

Катерина Михайловна, как увидела сына, так сердце и запросило обнять его, приласкать, сказать несколько добрых слов, от которых бы стало ему легко и спокойно. Она подсела к нему на лавку и только хотела взять его руки в свои, как сын деревянно насторожился, уперся взглядом в полусапожки и выдохнул с горем:

— Чего и делать?

— Не убивайся, сынок! — На невзрачном лице Катерины Михайловны проиграла улыбка. — Горе да беда с кем не была?! Как уж нибудь. От хорошова к худу один шагок. И от худа к хорошему тоже один. Все перемелется. Не тужи.

Алик встал. Прошелся по белому половику. Глаза его были наполнены раздражением.

— Федьку станут в правлении обсуждать, — сказал похоронным тоном.

— Бог с ним, воровать не будет, — откликнулась мать.

— Неуж не жалко тебе?

— Мне не этого растрепая жалко — тебя. Вон как крутит из-за него, даже личиком приопал.

Алик редко когда курил, а теперь достал папиросы и задымил, взглянув на деда, который чугуном тупым косарем щепал перед печью лучину. Длиннотелый, сухой, в пообвылезшей мехогрейке, с белой и мягкой, как

лен, бородой, он нависал над поленом, похожий на доброго домового. В его подержанном, вялом лице, неспорых движениях рук, покойном и кротком взгляде туманных зрачков ощущалась какая-то безучастность. Словно старик устал от всего, что ему перепало за долгую жизнь, и теперь с удовольствием отдыхает. Вернее, не отдыхает, а обиходит по дому, по хозяйству. Сунув лучину в подпечек, дед помылся и, сняв с настенного зеркала полотенце, покрыл, как белыми берегами, все четыре кромки стола, оставив лишь малое устье, и пособил Катерине высыпать ягоды из ведра.

Алик смотрел на красневший пригорок брусники и думал: кто и когда догадался набрать столько ягод? Наверное, мать. Нашла между дойками на дворе пару свободных часов и сбегала на полянку. Она и в прошлом году напосила так много этой брусники, что в доме до самой зимы пахло ягодным лесом.

Алик открыл половину окна.

— Прямо беда.

— Это еще не беда, — отозвалась сочувственно мать.

А дед уточнил:

— Это бедошка. Беда, когда потеряешься в людях и будешь бродить между ними, как сирота.

— Я и так уже потерялся.

Дед и мать, приподняв на поленьях один край столешни, катали ягоды под уклон, направляя их к глиняному разливу, стенки которого мелко постукивали, будто по ним барабанили пальцы ребенка.

— А мы-то на кой! Я? Мати твоя? — Дряблая кожа на длинном лице старика глянцево посветлела, обнажив возле глаз паутиньи мягонькие морщинки. Дед улыбался. Обещающе, ласково улыбался. — Не! Мы не дадим тебе потеряться! Ага, Катерина?

— Ага!

Разлив был наполнен. Алик отнес его на шесток и задвинул ухватом в теплое устье.

— Расчихвостят, как пить, — сказал, громыхая печной заслонкой.

— А ты дерись за него! — посоветовал дед. Но посоветовал как-то заученно, машинально, вроде не веря своим словам.

Алик, почувствовав это, больше того поугрюмел.

— Как драться-то?

Вокруг глаз старика настигалась иссиня-серая тень, а к сердцу с томительной грустью приваливало бывшее. Оно-то Павла Фроловича и смущало, и он, пугаясь его, крепился что было сил, не давая воспоминаниям ходу. Закурив из протянутой Аликом пачки, он отклонился к стене, борода его поднялась, и по ней, как по лестнице, покатились ступени дыма. И тут Rogozinu показалось, что внук его глубоко не прав, что он, сочувствуя вору, этим невольно его защищает и, стало быть, сам потворствует воровству.

— Иному полезен и суд, — сказал назидательным тоном, — ежели он по правде да по закону. Ведь воровал же твой Федька? Ага, Катерина?

— Ага.

— Так почему бы его не судить?

Глаза у Алика заискрились.

— Ты рассуждаешь, будто Галявин!

И снова Павел Фролович напрягся душой, заставляя себя бывшего не беспокоить.

— А что! — сказал он, чтоб хоть чуть-чуть успокоить внука. — Галявин — мужик ничего. Строгий, конечно. Но ведь без строгости ноне нельзя.

— А раньше, хе! Можно?

— Раньше тем паче. Но ведь и время было... — старый Rogozin смутился, ловя себя вдруг на том, что опять говорит заученно, машинально, а душу меж тем захлестывало волнением. Непокойное, давнее мелькнуло в его зрачках, сегодняшней день отошел, и вспомнил он ту листопадную ночь, когда его уводили из дома и он, садясь на телегу, тыкался слепо в сырые глаза жены,

обнимал замурзанных ребятишек, самых несчастных и дорогих, кого не чаял больше увидеть. Обнимал, пока из потемок не прозвучало: «Вору ворово!»

Это Галявин кричал. Кричал намеренно громко, дабы его услышали на деревне и взяли в расчет, что он и Рогозин — большие враги, которых никто уже не помирит.

— Как бы выручить этого Федьку? — услышал Павел Фролович. Услышал и помотал головой, не сразу соображая, что это внук его говорит. — Характер-то у него легонький, как у зайца. За себя уж не постоять.

— Стало быть, — Павел Фролович смотрел на внука рассеяннo и туманно, смотрел через что-то свое, давнишнее, словно искал в том давнишнем нечто надежное, верное, чем бы можно было парню помочь. — Стало быть, веришь этому Федьке? — Старик растроганно замигал, ощущая, как на него накатило дыхание дней сегодняшних и минувших, в которых так много общего оказалось, что он попробовал разобраться. — Видимо, веришь, — сказал, вытирая глаза рукавом. — А в меня Николаша Галявин поверить не захотел. Случай особый. Опасно было тогда в меня верить.

Старик навалился локтями на стол, в его ноблекших глазах отражалась беда человека, который хотя и справился с ней, но позабыть ее все не может.

— Теперь вижу: больно желаешь Лавушкину добра. Только зря так изводишься за него. Вроде тоже особый случай, да не такой, какой был у меня. Я старался для общества. Твой же Федька для глотки своей старался.

— И все равно никакой он не вор, — поморщился Алик. — По дурости все это вышло.

Помолчав, дед задумчиво процедил бороду между пальцев.

— По дурости, значит?

— Ну да.

— А доказать ты им это сумеешь?

— Не знаю... А надо бы, надо...

Свет от конторы стекал в забитый березами палисад. В одном из окон темнела спина дородного человека. «Дегтярев», — догадался Алик.

Он вошел в председательский кабинет. Не зная, куда приткнуться, Алик позыркал глазами туда-сюда, увидел, как чья-то ладонь поманила его к себе, приглашая садиться. «Галявин! Очень-то надо!» — мелькнуло в уме. Однако свободных мест не было больше, и Алик, пройдя вдоль длинного ряда мужских коленей, притерся плечом к этажерке и снова увидел дряблую, в серых морщинках ладонь, поползшую с обшлагом полосатой рубахи куда-то к его животу. Алик еще не понял, что это значит, а Галявин уже умилялся и, пожимая его холодную руку, жарко шептал:

— Молодец! Так и надо ему! Так и надо!

— Кому? — удивился Rogozin.

— Э-э, хитрец! — пожурил счетовод, сладко щурясь и улыбаясь, и тут же замолк, ибо на шепот его обратил внимание Селиверстов.

Председатель был явно не в духе: вид деловой и в то же время печальный, как если бы, думая о делах, он делами и тяготился. Место свое он уступил представителю из района и стоял у левого края стола, подперев лицо горбатой ладонью.

— Сегодня, товарищи, — начал он, — надо нам обсудить серьезный вопрос. — К нам в колхоз приехал председатель комитета народного контроля Олег Тимофеевич Дегтярев. Все вы, наверное, слышали: случилось у нас ЧП. Колхозник Федор Ильич Лавушкин пытался украсть куль зерна. Как с этим колхозником поступить? Ставлю вопрос открытым. Ну, Федор! С тебя и начнем. Объяснись.

Федька встал. Онемело-понурый, с овечьей покорностью в сизых глазах, он испытывал тот запредельный позор, ниже которого падать уже невозможно.

— Сам не знаю, как это вышло. — сказал он, туго ворочая языком, — виноват. Не хотел, да лукавый попу-

тал... — Федька еще порывался что-то добавить, но голос охрип, и он, сердясь на свою неспособность защитить себя с помощью слов, тяжело и подавленно сел.

И тотчас же взгляды колхозников устремились к середине стола, где лежала красная папка, одним своим видом дававшая всем понять о значительной миссии Дегтярева. Председатель контроля сидел негибато-прямо, положив на папку огромные руки. Его длиннощекое, в южном загаре лицо выражало суровую необходимость настоять на важном и неприятном. Все почему-то решило, что говорить сейчас будет он. Но Олег Тимофеевич только папку раскрыл, посмотрел на ее содержимое с интересом и снова закрыл.

Возникла неловкая пауза, и нужен был в эту минуту не только находчивый, но и смелый по части речей человек, который сумел бы затронуть каждого за живое. Алик смотрел на вспотевшие лица понурившихся людей, досадуя и страдая. Что-то будет? Этот вопрос стоял перед ним как укор, вызывая в душе сочувствие к Федьке и какое-то жалкое раскаяние. И вдруг рядом с ним поднялся Галявин — низенький, сухонький, сероволосый. Сцепив ладони на животе, легонько крикнул и, повернувшись к столу, разоблачительно усмехнулся.

— Буду, товарищи, откровенен, — сказал он с уверенной бойкостью человека, которого не собьешь, — Федора Лавушкина мне очень и очень жаль. Но и обидно мне за него. Такой здоровый, красивый парень, и вдруг оказался вор!

Напротив Галявина, рядом с Федькой, сидел его дюжий отец, от стыда и позора по-банному красный и раздраженный.

— Уж сразу и вор, — буркнул он, не сдержавшись.

— А ты, Николаевич, не встревай! Повторяю: истинно вор!

Илья Николаевич спял из-за уха химический карандаш, с которым не расставался.

— Но он ничего не украл! — сказал, и две по-

ловинки карандаша, хрустнув, скатились ему на колени.

— Однако мог, хотел и, наверное бы, украл, если бы не колхозник Rogozin! — вмешался Олег Тимофеевич Дегтярев. Вмешался вкрадчиво, но и сурово.

— Дак, по-вашему, что? — вспыхнул бригадир.

— По-моему, надо не забываться, — посоветовал Дегтярев и кивнул головой в сторону счетовода. — Продолжайте, товарищ Галявин.

Счетовод признательно улыбнулся.

— Факт, товарищи, налицо, и отводить от него глаза мы не имеем права. Я предлагаю, и думаю, все меня здесь поддержат. — Тут он взглянул на собравшихся, как глядят иногда с трибун, заранее полагая, что идея понравится всем и ее обязательно примут, как коллективную, правильную идею, в которой можно не сомневаться. — На Лавушкина оформить дело и передать это дело в народный суд. Вору ворово! Никаких снисхождений и послаблений! Чтоб другим неповадно!

На лице у Алика выступил пот, в висках закололо, и возникло вдруг ощущение, что все здесь заведомо решено, никто за Федьку бороться не будет, и пропадать, пропадать забубенной его голове.

Стояла строго-казенная тишина, и в ней шла невидимая работа разнообразных раздумий и чувств. Молчал Дегтярев. Молчали колхозники. Молчали шкафы, этажерки, настольный глянцевый телефон, картина Шишкина на стене, и было такое чувство, словно кто-то кого-то обидел, и всем от этого стало нехорошо. Две лампочки под потолком горели сильным огнем, равнодушно высвечивая на лицах складки, углы, выступы и морщины. А черные окна, в которых, как в зеркалах, отражались недвижные спины, казалось, только и ждали этой минуты, чтоб подчеркнуть разобщенность собравшихся, их растерянность и смущение.

Первым не выдержал Селиверстов. Выступать ему было трудно. Здесь, в своем кабинете, он испытывал чув-

ство неловкости по причине того, что не может вести себя как хозяин. Здесь он был, как зашедший с улицы человек, с которым можно и не считаться. Хозяином был Дегтярев. Задевало его и то, что тон заседанию дан какой-то чрезмерно жесткий. Так решать судьбу человека нельзя.

— Слов нет, — сказал он с желанием как-то выручить парня. — Лавушкин виноват. Однако на суд? Нет, нет. Надо чего-то помягче. Может быть, пристыдить? Хотя и так уж его пристыдили.

— Что же вы предлагаете? — спросил Дегтярев.

— Взять на поруки.

Дегтярев провел ладонью по черным, простеганным проседью волосам.

— А если он снова решится на воровство? Ведь тогда не только ему, но и вам отвечать придется?

— Не знаю, — сказал Селиверстов, — после такого урока да воровать? Что хотите, а не уверен!

Дегтярев укоризненно усмехнулся.

— Не уверены, а готовы взять на поруки вора? Это как называется?

— Демагогия! — готовно откликнулся счетовод.

Дегтярев покачал головой, давая этим понять, что Галявин перестарался.

— Безответственность! — поправил он счетовода и, обращаясь уже ко всем, добавил кратко и деловито: — Я к вам, товарищи, приехал, чтобы во всем разобраться. Предварительно кое с кем я уже говорил. Но этого недостаточно. И потому я готов сейчас выслушать всех. Интересно, что нам скажет колхозник Rogozin?

Алик дернулся, ткнулся плечом в этажерку и умоляюще пробежал глазами по лицам сидевших. Почему-то выбрал из всех остроносого, с голой, как яйцо, головой ветеринара Лещёва, сидевшего напряженно, с боязнью, что заставят сейчас выступать, а он ничего, ничего не знает. «И у меня такой же видок», — мелькнуло в уме.

— Давай, давай, — подтолкнул локотком Галявин, по

Алик молчал, потеряв все слова, которыми только что мысленно заступался за Федьку.

— Нехорошо, — шепнул счетовод, — ждать себя заставляешь.

— Могу и не заставлять, — огрызнулся Rogozin и повернулся на стуле так, что между ним и Галявиным образовалось пространство, в какое мог поместиться еще один человек.

— Смелей, смелей! — подбодрил Дегтярев.

И Алик сказал:

— Я не хочу, чтоб Лавушкина судили. — И сразу заппнулся, все в нем напряглось, и стало обидно от мысли, что вот представился случай как-то Лавушкину помочь, а он ничего не может и не умеет.

Дегтярев похлопал ладонью по папке и доверительно, тихо, будто для Алика одного:

— Я ведь тоже этого не хочу. Однако нельзя иначе. Нельзя, дорогой Rogozin. Преступление совершилось. И тот, кто сделал его, должен нести ответ. Лавушкин получит, естественно, по заслугам. Так что, товарищ Rogozin, ты зря жалеешь его. И не только жалеешь, как я гляжу, но почти заступаешься за него. Как же так? Как прикажешь себя понимать?

Алик замученно улыбнулся и открыл уже было рот, чтоб сказать, что Федька не вор, а дурак и лучше его наказать не судом, а березовой вицей, как вдруг вмешался Галявин:

— Очень просто, Олег Тимофеевич. Его Лавушкин припугнул. Под евонну дудку он и запел.

— Ты что, Николай Петрович?

— А что, знаем мы эти шуточки!

Знал Галявин, чем можно было сразить. Лицо у Алика стало бледным, а глаза, уйдя глубоко в провалы, побито глядели перед собой. Сияла в них горечь обидного поражения, мука незнания и тоска. Надо было прийти в себя. Надо было на что-то решиться, ибо настала минута, которая Федьку или угробит, или спасет.

Алик вдруг ощутил бодрый озноб, пробежавший под кожей его головы. Почувствовал, как суетливо-пугливое начало в нем куда-то деваться, а в жилах, мускулах и крови пробила мужская спокойная сила, и стало ему безразлично, что могут о нем подумать, если он скажет сейчас не так.

— Судить Лавушкина нельзя, — сказал он порывисто и упрямо. — По глупости это вышло. А глупость раз в жизни может случиться с каждым. Значит, каждого и судить? Или только того, кто попался? Вот ты, Николай Петрович, ни разу в жизни не попадался, а тоже ведь воровал.

— Я-я?! — поперхнулся Галявин, не ожидавший, что разговор вдруг перекинется на него.

— Или забыл, как рассказывал?

— Об чем?

— Как ночами ходил на колхозное поле, щипал там горох, а после варил из него похлебку!

— Но когда это было? В детстве. Чего вспоминать. И потом, ты давай с больной головы на здоровую не вали. Речь-то о Лавушкине идет и о том, с каких таких тиглей-миглей ты к нему эдак здорово подобрел? Может, сунул тебе он, а? Рубельков эдак десять, а то и двадцать?

Алик встал. Все в душе у него звенело. Он взмахнул рукой, не заметив, как пальцы яростно сжались, и от них резко дернулась голова покрасневшего счетовода, и нервной походкой прошел вдоль длинного ряда мужских коленей. Толкая высокую дверь, услышал, как в ней гроыхнули разошедшиеся филенки. Уже за дверью, из темного коридора он вытянул руку в сторону Федьки и с горечью в голосе прокричал:

— Чего как пень-то сидишь? Сделай чего-нибудь! Сделай!

Федька сидел, перебирая пальцами рук подколенные жилы. Голоса до него доходили невнятно и глухо, словно где-то на стороне шел спокойный осенний дождь, и моно-

тонность его усыпляла внимание Федьки, как вдруг этот крик: «Сделай чего-нибудь! Сделай!»

Лавушкин встрепенулся. Взглянул на Алика с тем особенным интересом, с каким глядят на отчаявшихся людей, и вдруг почувствовал, как в груди у него горячо и дико забилося сердце. «Во, парень! Во, удалина!» Рогозин растаял за дверью, и Лавушкин вдруг испугался, что не увидит больше его никогда.

— Я счас! Мигом! — Он вскочил и, меряя пол двухметровым шагом, порывисто выбежал на крыльцо.

В разгоряченные щеки ударил воздух вечерних полей. Лавушкин глухо взревел:

— Э-э, Алька?

Однако никто ему не ответил, и он спустился на нижний рундук. Вечер был влажный и темный, как вспоротый лемехом пласт земли. Федька смотрел в потемки и волновался. Все от него отстранились, все, все. Даже Андрей Елизарович Селиверстов, и тот заступился как за чужого. И только Рогозин взял да и выступил за него! «А ведь я иудой его окрестил», — вспомнил Федька и, сунувшись вдоль забора, снова позвал:

— Э-э, Алька!

Впереди, у колодца звякнула дужка ведра. Лавушкин побежал, гонимый порывом найти если не Алика, так Ершова, самых надежных и верных ребят, кого ему так сейчас не хватало.

— Федорийко? — услышал он и, вглядевшись в грациную потемь, узнал в низкорослой бабенке с ведром старолицую Евдокию. — Откудова? Не с собрания?

Оскорбился Федька не столько вопросом, сколько тем, что его задает Евдокия, глухая душа, кому бы сейчас надлежало в такой же мере, как и ему, отвечать за хлебную кражу.

— Чего надо? — спросил оп, остановившись.

— Ну как там? Закончилось?

— Нет.

— Ой, Федорийко, как уж ты это неосторожно?

— Ладно тебе, не квакай.

— Да мне-то чего, мне-то ладно. А вот родителям каково?

— Не ты ли их пожалела?

— А я и тебя пожалею. Судить-то, поди-ко, будут?

Не к мести, не к озлоблению, а к справедливому чувству расплаты прислушался Федька, когда явилось на ум: «Пропадать, дак не мне одному!»

— Желаешь узнать? — спросил приглушенно.

— Жалаю.

— Тогда пошагали! — Федька ступил под крышу колодца, взял вдову за ладонь и потянул за собой к колхозной конторе.

Евдокия стала вырываться, плюнула Федьке в лицо, обозвав его хулиганом, упала и залягалась. Но Лавушкин ради святой справедливости был готов потерпеть и ругань, и визг, и плевки, и даже острые ногти, которые злая старушка вонзила ему в лицо, едва он к ней наклонился, чтобы помочь поскорее подняться с земли. В председательский кабинет Федька внес ее на руках.

У заседавших осели щеки и заблестели тревогой глаза. Затем послышалось хриплое «Ох!». Кто-то хихикнул, кто-то вздохнул, кто-то сказал: «Караул!» И все посмотрели на Дегтярева.

Олег Тимофеевич был спокоен, он первым оправился от смущения и, поглядев на Федьку, отдельно и требующе спросил:

— Это еще что такое?

Федька качнул Евдокию, будто ребенка, и задышавшим голосом объяснил:

— Это Оборонькова! Вот кто зерно на хмелину у нас переводит! Это она меня с толку-то сбила! Это она сунула мне свой мешок! Коли судить, дак обоих вместе! А коли не вместе, дак я ее вон! — Федька шагнул к распахнутому окну.

Его едва успокоили, усадили, с трудом отняв от него

Евдокию, которая тонко икала, трепетала и все норовила нырнуть в приоткрытую дверь.

— Вы способны сейчас отвечать на наши вопросы? — спросил у нее Дегтярев.

Евдокия взглянула с опаской сначала на Федьку, потом на всех остальных и молча уставилась в половицу.

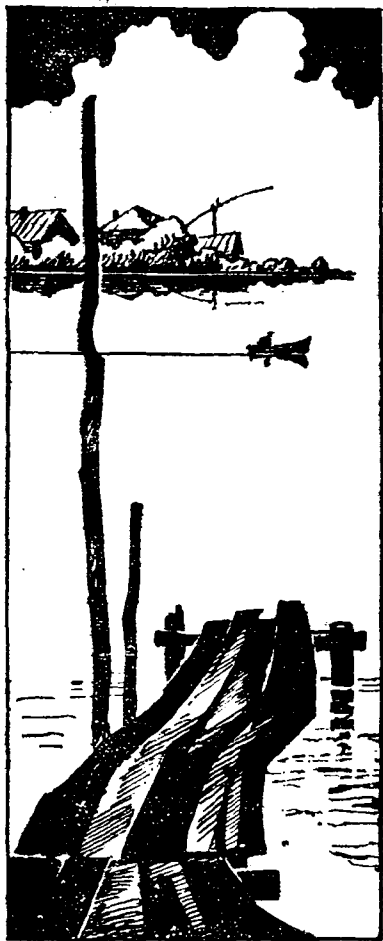
— Осложняется дело, — нахмурился Дегтярев и встал с выражением человека, который скажет сейчас о главном.

— Что же такое выходит, товарищи, — заговорил он с досадой и укоризной. — Минуту назад мы считали: один человек причастен к хищению. Теперь получается — двое. Кроме того, обнаружился факт перегонки хлеба на самогон. Это уже чересчур серьезно. Одним словом, товарищи, я вынужден буду связаться с отделом внутренних дел. Ждите инспектора из района...

Расходились колхозники из конторы, озадаченно хмурия лбы, словно им сообщили тревожную новость, но сообщили слишком внезапно, и к этому надо еще привыкнуть.

Отстав от всех, шел по дороге Федька. Лицо его было напряжено. Он думал: «Не все потеряно...»

Был погожий сентябрьский вечер. Пахло выкопанной картошкой. Улицы обметало листвой. Меж домов, недовольно урча, пробежал торопливый «Москвич». Пробежал — и вскоре в полях заметался оранжевый луч, выбирая в потемках дорогу.



РАССКАЗЫ



СОЛНЫШКО

Жара. Плавню струится воздух. В проводах, летящих к дальним увалам, остро блещут лучи. Трактор бежит, подминая под скаты желтую от хвойных иголок дорогу. За ним тележка с расхлябанными бортами. В ней обменные семена.

За рулем — Михаил, парень рослый, в широкой грузинской кепке, по краям которой привстали пшеничные кудри. Рядом с ним практикантка Валя с заносчиво юным лицом.

Михаил — тракторист с трехмесячным стажем, потому и нос держит кверху: дескать, вот он я, поглядите, сам колхозный механизатор! Сегодня он особенно горд. Ему доверили испытать практикантку. Он искоса обегает глазами румянец ее щеки, шею с ямкой возле ключицы, невысокий холмик груди. «Вечером как следует познакомлюсь, — решает про себя Михаил, — попробую, что за прияточка, насколько сладка...»

Не только на Валью — на всех симпатичных девчат готов Михаил смотреть глазами бойкого вертопраха, для которого ничего не стоит закружить любой из них голову, а потом вертануть плечом, да и бросить. Жизнь ему представлялась длинной дорогой, где на каждой версте будут

ждать его девушки и молодки, подходи только к ним, да сгребай с легким сердцем в охапку.

— Сегодня танцы будут, — жмурится, словно кот. — Надеюсь, придешь?

В васильково-ясных глазах Вали всполошенный вопрос: «Шутишь, что ли?» Она ищет на крупном лице Михаила выражение скрытой усмешки, а находит два стыдливо опущенных глаза. «Да не влюбился ли он в меня? Так скоро? Ах, вражочек какой!»

— Приходи! — просит ласково Михаил.

— Тебя не спрошусь! — отвечает с вызовом Валя. — В городе небось ни одни танцы не пропускала.

Улыбается Михаил.

— У нас лучше. Увидишь. Ты только не бойся. Я тебя в обиду не дам.

— А чего мне бояться? Или в пуганых я ходила?

Губы у Вали дрожат в снисходительно-мягкой улыбке. «А чего?! — взволнованно думает. — С ним смело гулять-то, поди. Никакая шпана не тронет».

По дороге навстречу — фигура, высокая, узкая, в желтой рубахе. «Алексей!» — узнает практикантка библиотекаря их деревни. Алексей из породы людей, говорить с которым может не каждый. Валя тайно ему сочувствует. Парню двадцать шесть лет, а все холостяк. И жениться не думает, ибо девки в деревне видят в нем скорее не жениха, а учителя восьмилетки, у кого недавно учились, оттого и стыдятся теперь. «А я бы не постыдилась! — участливо думает Валя. — Кабы не Мишка — ах, кудрявый красавчик!»

От нагретой травы в приоткрытую дверцу кабины кидает духом горячего лядника. Лядник жметя к канаве — чешуйчатый, колосистый. А за ним, как кипит, буйный ягодный лист голубых готóвиков и малины. Над кустами млеет глубокая синь. В ней делят веселые чайки. Валя смотрит вдогонку птицам.

— Нам бы эдак.

Сказала Валя так просто, к слову. Михаил, однако, при-

нял ее замечание как сигнал. Он бросает ладонь на рычаг.

— Эдак-то! Эдак-то можно! Неуж не обгоним!

Невозможного для него ничего сейчас нет.

— Наша где пропадала! — кричит Михаил, правя трактор вдоль бровки канавы. А потом резко вбок его, к другому кювету, и там, смяв колесом ивняк, мчит машину над кромкой обрыва. Под обрывом томится река.

Сердце у Валя вот-вот оборвется. «Тронулся, что ли?!» — хочется крикнуть, однако не смеет.

Берег страшен своей высотой. Колесо несется по самой бровке. Валя смотрит вперед с нарастающим страхом. Не выдерживает:

— Сто-о-ой, дурак! Ошалел!

Но уже поворот. Вот он, возле молоденьких сосен. Река теряется в ветках. По бокам бежит мирная зелень равнинного леса. От нее навевает успокоением. Михаил с лицом, с каким ищут законной награды, наклоняется к вздрогнувшей Вале. Слишком близко, запретно близко наклоняется он. Валя видит в его глазах черный ласковый луч. Ей и сладко и боязно. Она чувствует под ключицей осторожную Мишкину руку. Как крадется она! Будто мягонький зверь, торопя биение сердца, сквозь которое вдруг побежала молодая греховная кровь. Как сквозь десять подушек слышит:

— А давай заворотим в лесок...

Если бы все обиды прожитых лет можно было сложить в одну, и то бы она не вызывала того возмущения, какое сейчас охватило Валью. Голос ее, высокий и страшный, будто падающий с угора:

— Чего прижмурки-то выставил? Или я тебе помаху?

Михаилу немного стыдно. Не настолько, конечно, чтобы тут же каяться и краснеть. Он привычен к подобным разносам. Утешает себя: «Ничего! Мы ребята негордые. Пообтерпимся, да по новой. Супротив нас кто устоит?»

— Не сердись, — говорит он Вале, — я ведь что? Не

подумай. Не какой-нибудь приваленень. Я как даве на тебя посмотрел, так и понял: пара ты мне. Я ведь как? Ведь я по-хорошему. Я, быть может, жениться хочу на тебе...

На душе у Вали странное беспокойство. Где-то в дальних ее закрайках горит огонек интереса к парню. Вот он, кажется, рядом. Чем бы ей не жених? Вышел всеми статьями. А не надо теперь. Ни за что, ни за что не надо. Подымает Валя лицо. Подымает холодно и высоко.

— У тебя никак недобор, — говорит сочувственным тоном.

— Какой недобор?

— Мозговой.

Вот теперь Михаил краснеет. Краснеет не только лицом, но и твердой, как дерево, шеей. Он жует сердито губами, норовя найти нужное слово. Слово бьется где-то под сердцем. Глухое, темное слово, каким в бывалые дни ошарашивал каждого, кто с ним слишком настойчиво спорил. Но то были простые ребята. С ними можно без церемоний. А тут девушка. С норовком. Нет, не надо пока ее злить. Она может еще пригодиться. Лучше дать ей понять, что он парень себе на уме, с характером сильным.

— Кусают и комары до поры, — говорит, стараясь казаться спокойным, — а девки тем паче. У меня ума хватит от укусов оборониться.

Валя вся начеку. По упругой, гладкой щеке паутиной ниткой снует усмешка.

— С твоим умом в самый раз горох сторожить.

Михаил двумя пальцами касается кепки, снимает ее с пшеничных кудрей. Хулиганское темное слово вот-вот вылезет на язык. Смирив его, повелительно цедит:

— Объясни.

— Могу, — соглашается Валя. — У тебя редень в голове. Реденько засеяно. Уяснил?

Михаил проворачивает рычаг — трактор встает, не доехав шагов десяти до моста. Мост трухлявый, с проломом, глядящим на дно оврага, где среди лопухов и крапивы

пробивается мелкий ручей. Михаил усмехается. Пнув дверцу кабины, решительно вылезает.

— Вот так! — бросает с бровки дороги. — Бойкая на словах. Поглядим, как на деле. — И, всадив длиннопалые руки в карманы штанов, направляется вдоль оврага. За ольховым, обстрелянным глиной кустом останавливается, чтобы крикнуть:

— Коли застрянешь в мосту — за мной прибежишь! Хорошенько попросишь, может быть, пособию!

Вале потерянно и обидно. Кажется ей, будто она ничего-то в жизни не понимает. Но она пересиливает себя, выбирается из кабины и, взяв с собой топорик и гвозди, ступает к пролomu. По пути прихватывает широкую плаху, которую еще с трактора разглядела в траве.

В синюю знойную вышину нырнули гулкие звуки. Несутся они над мостом, над прибрежным ольховником, над дорогой. «За помощью к этому полудурку?! — возмущается Валя. — Ни в жизнь! Справлюсь и сама».

По залатанному мосту трактор проходит без промедлений. За кривой поворота мелькает река. Внизу, под берегом — длинная лодка. Михаил тут как тут. Рядом с ним — дядя Ваня. Дядя Ваня работает где придется, но чаще на переправе, перевозит на лодке людей и колхозные грузы.

— Давай съезжай! — плывет от него бархатистый басок.

Узкие Валины руки сдвигают рычаг. Машина идет неровно, то на сломанный якорь наедет, то на пыльный березовый кряж. Грохот, пыль, сочный запах солянки.

Веселятся забереги реки в желтоцвете рослых кубышек. Михаил среди них, грузинская кепка сдвинута набок — весь в ожидании, когда из кабины покажется Валя, попросит его: «Миша! А ну пособи! Ничего у меня не выходит!» И он, понятно, залез бы в кабину, хладнокровно бы взялся за руль и одним красивым заездом подогнал

бы тележку к лодке. «Во как надо!» — сказал бы, податливо улыбаясь.

Но кабина трактора плотно закрыта. Тележка медленно катится вниз. Колесо надвигается на дядю Ваню. Тот бороздит по песку.

— Ай да девка! — рокошет басом и заходит в реку, где на тоненьком тросе привязана лодка.

Михаил тоже входит в теплую суводь. Он не доволен, в голове его крутится мысль: «Завалиться бы, краля, тебе. Да как следует. Эхма! Чтоб не выбраться без меня...»

Трактор будто его подслушал — «даванул» сильнее, чем надо, и тележка, споткнувшись о камень, накренилась к реке. Михаил потирает ладони.

— Что?! — кричит. — На ту сторону хочешь махнуть?

Практикантке не до него. Руки, горя от мозолей, нервно скачут по рычагам. Трактор нехотя лезет вверх. Остановка. Железный скрежет. Снова вниз, под уклон.

Михаил торопится к лодке. «Ловко это она. Ловко, черт побери...» Грязно-желтый накат волны бьет его по ногам, заливая воду за голенища.

Тележка пятится еле-еле. До лодки добрых метра четыре, а она, как дразнясь, провизжала бортами и встала.

Из кабины на волю — Валина голова. Волосы желтые — сноп овсяный — рассыпаются по лицу. Сквозь них, как сквозь заросль, крадется улыбка.

— Ну как? Ладно?

Михаилу видится в этой улыбке измывательство над собой. Он, сердясь, забирается в лодку.

— Раззява! Где встала? Где? Что мы тебе на ручках бу...

Не успел досказать Михаил. Валя продолжила спуск тележки, и она ударила лодку, да так, что та развернулась, и стоявший в ней тракторист в один миг оказался в воде.

Поднимается Михаил, весь в потеках песка и ила, выбредает, грозит кулаком:

— Ты чего? Ты нарочно? Ты знаешь?!

— Знаю, конечно! Чего губы-то распустил? Давай выгружайся! А не можешь, дак откажись! Без тебя, буде, сладим! Дядя Ваня, скажи?

— Верно, девушка, — говорит дядя Ваня, — вошкаться нам недосуг. Слышь, Мишка?! Чего как статуей стоишь? Лезь в кузов!

Мишка вынужден покориться. С дядей Ваней не будешь спорить: у него характер тяжелый, а рука еще тяжелей.

Пахнет ряской и жаром кабины. Широко и густо льются лучи. Река, как сплошное белое зеркало, в огневых быстрых вспышках. На той стороне деревня. А под угором трактор с тележкой. Ждет обменные семена, чтоб отправить их дальше — на склады. Возле трактора Коля Травкин, все лицо в бороде. Не сбривает ее с того года. В том году приезжал в деревню художник. Имел крупный успех у девок. Коля тоже того захотел. Борода у него ниже шеи.

— Э-ге, Мишка! — кричит шаловливо Коля. — Практикантка-то что? Али за солнышко у тебя? Она светит, ты греешься?!

Пообождал бы Коля с намеком. Михаилу не до смешков. Он сердито хватает мешки, подает их вниз, на круглое плечо дяди Вани.

Коля снова кричит: не привык, чтобы бойкое слово его обходили вниманием.

— Дядя Вань? Да чего они?! Чего дуются-то, как пушки?

Дядя Ваня занят работой. В это время ему не мешай.

— Сгинь! — советует.

Травкин больше того разохочен. Кричит уже Вале:

— Валька! Ты лучше бы меня обсветила! А то холодно мне. Ай, подружка?

— Коза тебе с бородой подружка! — летит к тому берегу.

— Чего, бородатиков ай не любишь? — отзывается

Коля. — Да ради эдакой крали на что не пойдешь! Сбрею седни же вечером!

— Будешь бриться, — советует Валя, — заодно прихвати и язык, а то он у тебя вырос длиньше, чем надо!

Под густой хохоток дяди Вани Михаил добреет и мякнет. Ставя мешок на попа, он выжидательно смотрит на Валю. Видит узкую руку. Рука взлетает к лицу, забирает с него горсть волос и откидывает за шею. Затеплело у парня в груди. «Дурак я! — думает жадно. — Экую девушку от себя отшатил?! Да она на меня теперь и не взглянет. Эхма! Чего и делать? Али повиниться? Видимо, эдак. Наша гордость негдѣ завелась. Вот поедем сейчас обратно, обскажу все как есть...»

Над головой, расстригая воздух, снуют ласточки и стрижи. Михаил почесывает затылок. Сердце в груди у него льется круто и сладко, как волна под заревом солнца. Закрывая борт, он глядит на осевшую лодку. Дядя Ваня сильно гребет, вырезая в воде воронки.

Михаил торопится к Вале. Ногу выбросил из тележки и вторую занес — хочет прыгнуть прямо в кабину. — Отодвинься, э-э...

Видит нежный овал лица и глаза. Ах, какие глаза! — Не спросился, а лезешь? Ну-ко назад! — командует Валя.

Михаил застывает в неловкой позе.

— Но ведь я... Я за старшего-то как будто...

— Был за старшего. А теперь за младшего будешь!

— Пусти... Чего там...

— Спасибочки! — отвечает Валя. — Ты, говорят, под моим солнышком греешься. Хватит, буде, погрелся. Поостынь в кузову.

Трактор бежит, подминая под скаты пересохшую от бездождья дорогу. Следом — пыль. Михаил сидит, потирая лопатками борт тележки. Он не видит ни пыли, ни бегущего мимо хвойного леса. Не видит и показавшуюся вблизи фигуру высокого человека. Он вздрагивает

от неожиданной остановки. Слышит Валин радостный зов:

— Садись ко мне! Да в кабинку!

Что за голос? В нем плавится девичья гордость и нежность. Михаил проворно встает и бледнеет. Не его приглашают в кабинку. Залезает в нее длинный, узкий, в желтой рубаше библиотекарь Алеша. Библиотекарь спрашивает у Вали:

— А где этот, с тобой-то который ехал?

Валя смеется:

— В кузову! Он в кабине-то угорел...

Трактор срывается с места. Снова вперед. Высоко над ним, как привязанное к сосне, полыхает недвижимое солнце.

ДЬЯВОЛОК

Восточными окнами изб деревня Починок кидает поглядку на вятскую речку Лалу, а южными — смотрит вприщур на далекую рать вологодского бора. От Починка к Великому Устюгу средь перепогов, полей и лесов петляет дорога. По этой дороге и посылала летней порой полеводка колхоза «Завет» Ангелина Ивановна Добрякова своего недоростыша Петю:

— Поезжай-ко, золотцо, в город. Учись дальше-то...

Но сын считает, что хватит учиться. И так восемь классов закончил.

— На фиг, мамка. Небось в городе управятся без меня...

Мать не перечит. Так-то, пожалуй, не хуже будет. Чем бы Пете она помогала, если бы он уехал? Получка от силы шейсят рублей. Не делить же ее на части.

И все-таки кажется матери, что смогли бы они перебиться. Овечки-то целы и невредимы. Почему бы их не продать. Год-то бы протянули. А там бы снова придумали что-нибудь.

Жалко Ангелине Ивановне Петю. Сколько лет мечтала, что выучится он на какого-нибудь грамотея. Нынче-то без учебы куда?

Да с Петей много не наговоришь. Что ни утро, то из дому вон. Целый день пропадает. Возвращается грязный и радостный, бумазейный пиджак маслом светится.

Через неделю вдруг объявил:

— Меня, мама, на работу приняли!

Работа у Пети нехитрая. Одному — ключ там, гайку подаст, второму — околотит с поддона засохшую глину. В конце концов надоело ему все это. Подходит к механику Власову.

— Чего мне, долго на подхвате-то быть?

Власов — человек мягкодушный, не хочет он для Пети худого. Сделает он, скажем, из него тракториста — а если у парня талант к другому? Механик сдвигает со лба зеленый картуз.

— Потерпи, Петро, не все сразу. Сперва я должен к тебе приглядеться.

Очень уж охота Пете самостоятельным стать. Учить-то уму-разуму охотников хоть отбавляй. А на что они парню? Пичкают советами каждый день, да еще придираются: то не ладно, другое не так.

Один лишь Юра Параничев относится к Пете снисходительно. С Юрой Петя в одной деревне живет. Мужик он покладистый, из тех, которые со всеми хорошо уживаются. Возраст Юры поднирает годам к тридцати. Он широк, белобрыс, с толстогубого лица поглядывают веселые глазки. Нравятся Пете веселые люди. С ними готов он хоть горох воровать, хоть драться с парнями соседней деревни. Правда, с Юрой не станешь делать ни то ни другое, зато с ним можно порассуждать. Больно уж Юра горазд посмеяться.

Петя, как-то шагая с ним в мастерские, спросил:

— Тебе смешно или хохотно?

Удивился Юра:

— Нешто разница есть

— Да как! Смешно — когда тебя рассмешили, а хочотно — когда сам рассмешишься.

— Ты где это вычитал? — спросил с подозрением Юра.

— Сам придумал.

— Ну, ну, — скользнул Параничев взглядом в сторону, точно был там еще кто-то третий, кому старался он показать, с каким, мол, зеленым юнцом ему приходится разговаривать. Потом спросил неожиданно: — Чего у тебя с зубами-то? Нешто болезнь какая?

— Хы... — обиделся Петя. — С чего ты выдумал?

— А почему они крыются эдак?

Петя даже остановился.

— Ладно, ладно, шучу, — улыбнулся уступчиво Юра. — Хотел проверить тебя: дай, думаю, погляжу, умеешь ли ты сердиться. А то как на тебя и взглянешь, ты все какой-то довольненький.

Злости у Пети как не бывало. В самом деле, почему бы на него не взглянуть, когда он сердитый.

От Починка до мастерских колхоза «Завет» ровно два километра. Пока на работу идут, наговориться обо всем успевают.

Начинает обычно Петя:

— Ты чего вчера делал?

Юре приятны такие вопросы.

— Картошку окучивал, — скажет и эдак сытенько улыбнется. — Ее нонь страшным-страшно нарастет. Ветка-то уж теперь раздалась, ровно ивовый куст. А все оттого, что навозу с избытком клал. Да и садил ее сам. Ни Марью, ни мать не допускал...

Петю от таких объяснений возьмет позевота.

— А потом чего делал? — спросит, чтоб Юра сменил пластинку.

— Потом ел. Скусных пряжбоников Марья мне напекла. По кухонной части она, брат, тово, хитроукая у меня...

Не перебей его вовремя — и Юра будет рассказывать

долго, вздохнул: чем, когда и как часто кормит его хитроукая Марья.

— Юр, — наконец не выдержит Петя, — ты, когда парнем был, как с девками-то знакомился?

— Да всяко. Парень-то я был с дальним прицелом. Но случались и промахи. Одинова даже тово, частуху про меня сочинили.

— Какую? — загорятся глаза у Пети.

— А хоть бы эту. Не Марья составила, не подумай. Была тут одна. Особочка та еще! Да только не для семейной жизни поспела — для целованьица и всего таково потешнова. Раза и мне поддавалась. Ну я, конечно, не растерялся. То-се — и готово. Думал, на этом нашим связям конец. Да не тут-то, брат, было. Пристала ко мне: давай, мол, гулять. Ну а я ни в какую. Боялся паскудной славы. Так она что сделала? Взяла, да в тот вечер против моих хором и пропела:

Мой-ёт миленькёй пёс
Утащил меня в овес.
Девки спрашивают все:
Чего делали в овсе?

— А где теперь-то она? — любопытствует Петя. И Юра покладисто объяснит.

За таким разговором куда и время летит. Останутся позади перелесок, прогон, скотный выгон, сушиллка. И сквозь опушку мелькнут мастерские.

— А ты чего делал вчера? — в свою очередь, спросит и Юра, но уже с покровительственной усмешкой, с какой взрослые сохраняют необходимое расстояние в разговоре с неопытной молодежью.

— Я книжку читал, — скажет Петя.

— Книжку?

— Ну... Читал там, про этих, как, землю-то роют которые...

— Про геологов!

— Не! Археологов!

— Поди, — удивится Юра. — Это ведь как по науке. Неужто понял чего?

— Местами не понял, а местами — нормально.

— Писателя-то не помнишь? — снисходительно улыбнется Юра.

— А я на них почему-то и не смотрю.

— Эт с какой-такой стати?

— Да с такой, что книжек читал я не лишка.

— А все-таки? — спросит весело Юра, хотя ему безразлично, сколько на Петинной совести прочитанных книг.

— Да штук-то десять, поди, уделал.

— За месяц?

— Да не...

— А-а, за год. Ну так-то и я умею.

— Да не за год, — поправит Петя с досадой. — За всю мою жизнь.

— Петька, брат ты мой! — дальше Юра на слова не способен: подбородок, кадык и щеки его сотрясаются смехом, да таким заливисто-громким, что у Пети мелькает мысль: неужели он глупость какую сморозил?

В мастерских Петю используют кто как может.

— Петро, сбегай в контору, унеси накладные, — посылает механик Власов.

Не успеет Петя из конторы прийти, как снова задание.

— Воно-ка, Петька, ведро! — крикнет какой-нибудь тракторист. — Слетай-ко по масло! Получи у Якшонка!

Так целый день и гоняют его взад и вперед. До того догоняют, что встанет Петя, выпятив грудь, брови, как черные застрехи, а глаза под ними жальцами светят. В таком состоянии лучше его не тронь!

— Дьяволок, настоященькой бес, — ухмыльнутся механизаторы между собой. А если пойдут ему па уступ-

ку: — Ладно, Петро, давай-ко лучше покурим, — тут он сразу и сдастся, заулыбается, как счастливчик.

Механизаторы — народ понимающий, быстро раскусили Петин характер, знай похваляют его, и парень готов в лепешку разбиться. Но бойчее всех реагирует Петя на голос Юры. Тот по мелочам ничего не ставит.

— Поедем, Петро, скатаем по тес!

Это вот дело. Трясется Петя на мягком сиденье и, поглядывая в стекло, прикидывает: много ли еще осталось езды? Хочется ему, чтоб дорога была длинной и чтоб ехать по ней до самого горизонта, за которым скрывался Великий Устюг, город, куда уехали после школы многие Петины одноклассники.

— А потом, может, снова сгоняем куда-нибудь? — спрашивает, преданно улыбаясь.

— Что? На побегушках-то надоело?

— Давно надоело, — соглашается Петя.

— Верно, верно, Петро, что ты делаешь — это не работенка, не по твоей, брат, натуре. — Юра говорит задушевно, степенно, словно подлаживаясь под настроение Пети. — Надо будет тебе помочь.

Юра видит, что Петя растаял. Растаял больше, чем, может, надо. Это Юре не любо. И он готов уже досадить.

— Парень ты с головой. Вон какие щеки наел. Да и нос будь здоров! Его бы тово, подвострить: в самый бы раз пазы выколупывать...

Не посмотри бы Петя в упор, Юра бы надсажался от смеха. Но взгляд у Пети острый и хмурый, словно он хочет понять: насколько всерьез его принимают за полноценного человека.

— Ну не хотел, не хотел, — успокаивает Параничев Петю.

— На фиг ты нужен мне. Я с тобой не поеду. Высадь меня!

— Нет, Петро, никуда я тебя не высажу. А вот возьми да и дам тебе поехать. Садися! Чего?

Петя вскидывает на Юру светящиеся робким восторгом глаза. «Правда?» — как бы спрашивает ими и, убедившись, что правда, перелезает на Юрино место.

Трактор ползет с угрожающим ревом, ползет в чаду, дребезжании траков, и Петя упирается тем, что он ему безотказно-послушен.

— Хватит на одном-то месте молотья! — командует Юра. — Третью включай! Да не бойся! Всяко ведь подстрахую.

Петя бросает на тракториста сияющий взгляд, выражая всем своим видом, что теперь он для Юры верный союзник и друг, и пусть он об этом знает и рассчитывает на него.

— А ты, Петро, брат, тово... Смело взялся. Есть в тебе, видать, эта, механизаторская, как ее...

— Жилка, — подсказывает уверенно Петя, потому что про эту жилку он слышал тысячу раз.

— Ну да, жилка, — соглашается Юра и вдруг спрашивает ни с того ни с сего: — Седни вечером чем займешься? Опять про геологов будешь читать?

— Не. Пойду, наверно, в кино. А ты?

Юра будто готовился к такому вопросу.

— Я в лес, — говорит он устало, — надо вырубить три лесины для дома. Подоконные бревна погнили. Хотел, вишь ли, с Марьей, да та чего-то опять приболела.

— А можно с тобой? — предлагает Петя свои услуги.

— Не жаль. Только мать, поди-ко, тебя заругает.

— Хы! Мать! Да хочешь знать, она рада будет!

Не думал Петя, что Юра из его безотказности станет веревочки вить. Где только Петя ему не помощник? И на ремонте хорм, и на вывозке сена... Дело дошло до того, что чуть не каждое воскресенье он стал тратить на устройство чужого хозяйства. Механизаторы похихикивать начали:

— Не в батраки ли ты, Петро, записался?

Воскресное утро не разгулялось еще, а Юра уже топчет порог. На толстогубом лице — озабоченность, голос же проникает в самую душу:

— За жердьем собираюсь. Изгородь-то совсем упала. Ты бы, Петро, не мог со мной?

— Ну почему, — роняет Петя, сбитый с толку обезоруживающим подходом, но, вспомнив насмешки колхозников, кисло морщится и вздыхает. — А вообще-то я позабыл. Мне ведь некогда нынче.

— Что так?

— Пойду на Лалу. Клев нынче больно охотный.

Параничев смотрит на узенький Петин лоб, над которым ехидно топорщится ежик волос. «Да он надо мной вроде тово... Вроде смеется...»

— Так, так, — говорит, переводя взгляд на Ангелину Ивановну.

А та ладонью рот прикрывает. «Ага, и эта смеется!» — Параничеву становится ясно, что и Петя, и Ангелина Ивановна раскусили его. Не надо бы приходить ему в это утро. Всему своя мера.

— Извиняйте тогда, — говорит, стараясь поправить свою оплошность.

— А чего извинять? — В голосе Пети звучит скрытый вызов. — Не за что нам извинять, — добавляет, помешкав. — Это ты извини. А то пойдем, буде, вместе. У меня и удка лишняя есть.

Застывает Юра у двери. Обидно все же, когда над тобой смеются зеленые недоростки.

— Ангелина, — говорит он, покашивая глазами на Петину мать, — а ведь у сынка твоего вроде...

— Чего?

— Рога прорезаются, — добавляет Юра, — одно, Ангелина, мне непонятно: в кого он рогами нацелился?

Юра ушел, тяжело хлопнув дверью. Ангелина Ивановна испуганно сжалась.

— Может, зря, сынок, Юру-то не уважил? Как бы хуже не стало.

— Никак, мамка, ты его опасаясь?

Уж больно Петя прост и наивен. А Ангелина Ивановна столько на своем веку всего навидалась, что знает: без опаски не проживешь.

— Боюсь-то ить за тебя, — сказала она печально. — А вдруг Юра тебя невзлюбит, будет шпынять да кореводиться над тобой?

— А ну тебя, мамка, с твоими страхами. По тебе жить, так на всех людей надо жмуриться. Неужто я дам-ся в обиду? Да я этого Юру...

— Не торопись. Рано еще тебе судить людей. Для этого надо до стариковских годов дожить. Юра-то — мужичок тороватый. С доски Почета не слезает, как робить начал. И начальство его похваливает. Ну что он тебе сделал худого?

Застыдился Петя своей горячности, но пойти по совету матери вдогонку за Юрой наотрез отказался.

— Не хочу, чтоб меня теснили.

В том, что Параничев о случившемся не забыл, Петя убедился на следующий день, когда они остались вдвоем.

В мастерских было просторно и волгло, пахло железом и солидолом. Петя обтачивал на наждачном круге втулку для дизеля. Искры фонтаном — знай береги глаза. Петя подумал об этом, когда в роговицу будто кто иголку всадил. Помигал, помигал, но боль не стихала.

— Пойду домой, худо мне, — сказал Юре.

— А кто мне помогать будет? Или я за тебя вкалывать должен?

— Ей-богу, мне худо!

Юра, не торопясь, вытащил из кармана пачку «Волны», достал папироску, подул в нее и, видя, что Петя вот-вот взорвется, легонько съязвил:

— Худо бы было — небось бы стонал.

— Я стонать не умею. Так что давай отпущай!

— А не отпущу, дак чего?

— Сам уйду!

— Ладно, иди. А то еще отвечай тут за вас. — Юра плюнул, растер плевком сапогом. — Да стой! Деталь хоть закончи. Или уж вовсе тово?

Спорить Петя не стал. Опять за станок. Точит деталь, а ощущение очень уж скверное, будто в голову еж забрался, да так пронзительно колет, что хоть кричи на все мастерские.

Параничев подошел с недоброй ухмылкой, хотел было что-то съязвить, как вдруг отшатнулся, и Петя увидел в его глазах тот самый ужас, когда боятся не того, что случилось, а последствий, которые потому и тревожат, что неизвестно чем еще кончатся.

— Давай ко врачу! — закричал он на Петю. — Я думал, тово, мусоринка какая. Ну-ко давеча не заметил...

В больницу Петя отправился с матерью. Из кабинета вышел, голова вся в бинтах. Подает матери крошку железа.

— Вот этой штучкой меня.

Мать в слезах:

— А если глазок отемнѣет?

— Как бы не так! Теперь он зорче прежнего будет! — хвалится Петя и, чтоб увериться в похвальбе, быстро срывает повязку.

— Золотцо! Завязать ить надо. Давай-ка, давай, Петя!

— На фиг, мамка еще смеяться будут, — упорствует сын и подмигивает больным глазом, будто все уже зажило.

Думала мать, что к мастерским теперь Петя близко не подойдет. А он на другое утро снова туда.

Ангелина Ивановна пыталась было и курсами соблазнить:

— Ужо с председателем потолкую.

Петя пускает в ход решительный довод:

— На кой мне-ка курсы. Голова моя и в школе-то слабо усваивала, а на курсах — и подавно. — И улыбается до ушей, благо доволен, что самостоятельность свою отстоял.

За год Петя поднатолкался в механизаторском деле так, что хоть за трактор его сади. Но тракторов свободных нету в «Завете». «Хотя бы раз дали куда-нибудь съездить», — думает Петя и просит об этом Юру.

— Не по адресу обратился, — заносится тот. — Я человек семейный, мне заработка нужна.

В глазах у Пети — ядовитые жальца.

— Когда пособлял трактор тебе излажать, небось говорпл другое. А теперь заработка нужна... Ну чего тебе стоит? — упорствует Петя. — Дай проедусь! Трактора не убудет.

— Уймись, — советует Юра.

Понимает Петя: просить бесполезно. Покачиваясь над плугом, он безучастным взглядом окидывает пласты разработанной пашни.

Домой он приходит измученный, грязный. Мать руками хватается за лицо.

— Умаялся как! Ох ты мое горе! Давай-ко, Петя, я к бригадиру схожу. Пусть на лошадь переведет.

— На фи́га она мне. Задорно и тут.

— Доведешься, Петенька, лица на тебе нет. Да и глазок надсадишь. Слаб ить он у тебя.

— Ничего не слаб. Другие вон без рук без ног работают, да и то ничего...

Полуночи Петя едва дождался. Со школьником Серегой, мальцом отчаянным и бесстрашным, договорился заранее. И вот теперь оба вышагивают к темному пятистенку, напротив которого Юрин трактор.

Петя подсаживает Серегу в кабину. Сам открывает

капот. Волнуясь, наматывает на руку шнур. Резко дергает на себя.

— Серега, — предупреждает на всякий случай, — рычагов не трогай пока. — И вдруг замечает в окнах хорм у Юры вспыхнувший свет.

— Попались! — кричит Серега, собираясь выскочить из кабины.

Но трактор уже заведен, и Петя толкает Серегу обратно.

— Не бойся, Серя, всяко утикаляем.

Не зажигая фар, мчится трактор к зерносушилке. За сушилкой — осиновый лес, клетки дров и сельское кладбище с ветхой часовенкой и крестами.

— Поедем за Куровские поляны, — решает Петя, а сам улыбается, ощущая, как сердце его упоенно стучит.

— Я тебя, Серега, выучу! Оканчивай школу скорей — будешь, как я, трактористом!

— Разве ты тракторист? — ехидничает Серега.

— А ты вредён! — замечает с азартом Петя, — тебя, поди, парни частенько лупцуют!

— Я сам их лупцую!

— За что?

— Просто так.

— Ты видать, злой, Серега?

— А злым-то лучше! Злых опасаются!

Петя обеими руками выжимает фрикционный рычаг. Трактор встряхивает, и Серега скатывается с сиденья.

— На первом тряске, да и вниз?

— Я, может, нарочно, — оправдывается Серега.

С дороги трактор съезжает медленно, точно остерегаясь тумана, который струится по комьям и по кустам. Лохматая стерня бежит навстречу лучам от фар, мнется под мощными башмаками.

Серега теперь примостился над плугом, как нахолившийся снопик тресты. Петя ему сочувствует и с радостью думает о поре, когда Серега станет его помощ-

ником, и работать будут они не воровски, а открыто, у всех на виду.

— Эй, не свались! — кричит Петя, высовываясь в потемки.

— Сам не свались! — доносится снизу. — Свалишься, дак куда с трактором-то деваться?

В кабину трактора влетает ночной сквознячок. Петя чувствует свежесть тумана, он смеется, совсем не думая о завтрашнем дне.

Утром Петю ждал суровый вопрос:

— Кто велел?

Петя молчал. С полчаса, наверно, терпел Юрины злые попреки, потом вызываясь усмехнулся.

— Чем я хуже тебя?

Параничев пригрозил пожаловаться начальству и погнал трактор в поле. Там, при виде убежавшего к лесу ровного мелкокомья, поуспокоился. И хотя придраться было не к чему, крикнул с досадой:

— В углах пустовины много оставил!

— Дак там не трогано с того года, — ответил Петя, забираясь на плуг.

— Скажи лучше, что повороты ладить не можешь! Раздражение в Пете еще не остыло.

— Не ты ли научишь? — спросил голосом человека, уставшего от придирок.

— Вот дьяволок! А хоть бы и я! До завтра дня доживешь?

— Надо, что ли?

— Надо! — ответил Параничев. — Завтра я тебя заставлю, тово, пахарить...

Над бежавшими лемехами струились подзолисто-серые волны земли. Петя думал: «И чего он добрый такой?» Сегодня Пете работалось трудно: спал каких-то четыре часа. Сереге небось хорошо. Нежится где-нибудь на поветях, видит десятые сны.

По лицу вдруг хлестнуло словно огромным сухим полотенцем, и пошла по всей шири пыльная за́верть. Где столбит, где завесу подымет. Трактор точно в разорванном облаке. Солнце скрылось.

— Как тебя не засыпало? — крикнул сквозь ветер Параничев.

— Вот еще!

Ветер до самого вечера бесновался, застилая все поле грязной бьющейся мутью. Петя устало спустился с сиденья, хотел отцепить от трактора плуг, как вдруг на глаза нахлынуло что-то слепое.

— Петька? Чего с тобой? — схватил Юра его за плечи. — Да ты не тово ли? А, Петька? Неужто ослеп?

— Да не, — улыбнулся легонечко Петя, — пройдет. Только надо помешкать.

И действительно, минут, через пять перед глазами у Пети заколебался коричневый зыбкий туман, и в нем показался Юра. Правда, смутно, неверно, но стали уже различимы его голубая рубаша, руки в масле, испуганный взгляд.

— Ну вот я и вижу! — обрадовался помощник. — Я ж говорил! Ни фиги со мной не случится. А утром зорче этого буду. Ты, Юр, правда, что не обманешь?

— Чего?

— Да на тракторе-то сулился.

— Эх, Петро, да коли ты хочешь, я и сегодня могу. Веселое майское солнце уже закатилось за лес, и от запольных кустов поползли на дорогу прохладные тени.

— Сейчас мы с тобой, — сказал предусмотрительно Юра, — скатаем э-эвон туда. — И повернул трактор в сторону от деревни. — Там бревна. В том году заготавливали еще.

— Так они сопрели, поди?

— Вот и я так считаю, — согласился Параничев. — Заготавливали для пилорамы. Хотели на тес распилить. Да какой теперь из них тес?

Юра вывернул трактор на тропку и, сминая кустар-

ник, погнал его на прогал. За ольховой завесой открылась сорная вырубка — в пнях, шипицах, темнеющих елках. Трактор прошел вдоль делянки и встал.

Из-под нависи лап выступали тупыми торцами мате-
рые бревна, лежавшие на саях.

— Давай-ко, Петро, зацепляй! — скомандовал Юра.

— А куда повезем-то? На пилораму?

Юра натянуто улыбнулся.

— Да ко мне! Али не дошло? Буду ладить белую баню.

Петя глядел на толстые бревна, из которых не толь-
ко баню, а и дом бы рубить в самый раз, и хотел сказать
Юре, что воровским затеям он не потатчик, но вместо
этого лишь спросил:

— А если поймают?

— А ты не пугай, — присоветовал Юра. — Тебя ведь
вчера на пахоте никто не поймал. А меня почему дол-
жны?

Трактор ревел утробно и глухо. Груженные сани полз-
ли вслед за ним. «Хоть бы ни на кого не нарваться, —
думал Параничев, — а то, чего доброго, в правление со-
общат...»

Подъехав к закрытому отводку, за которым виднелась
деревня, он выключил скорость.

— Чего, отворить? — спросил его Петя.

— Не надо. Я сам.

Юра выпрыгнул из кабины, открыл отводок, погля-
дел вдоль посада и вдруг в жидком свете луны заметил
механика Власова, который шел от домов к ним на-
встречу.

Юра метнулся к трактору. Голос растерян:

— Все, нарвались! Чего, Петька, делать-то?

— Ехать надо. Чего? Больше нечего делать.

— Тогда, тово, поглядим... Посмотрим, на что ты спо-
собен.

— Ты чего? — удивился Петя.

Юре некогда объяснять.

— Меня он не должен видеть. Понял?

— А меня что, должен?

— Тебе тово... Тебе нет восемнадцати. В тюрьму не посадят.

Петя прошелся по Юре встревоженным взглядом:

— А чего я скажу? Куда везу-то их? К тебе, что ли, на баню?

— Не продай, Петро! Христом-богом прошу. Соври что-нибудь...

Юра прыгнул в кусты. Затаился. Стал наблюдать. Власов был уже близко. Вот и фуражка его. Вот и пиджак. Но лицо... лицо оказалось чужое. Да ведь это совсем не механик!

Юра бешено развернулся и, ломая кусты, вырвался на дорогу.

— И-ек! — громко икнул похожий на Власова человек.

Юра с досадой взглянул на него и, гремя сапогами, метнулся за возом. Обогнав тарахтящий трактор, он замахал руками, показывая Пете, чтобы тот заезжал в заулоч, где среди неказистых избенок, в тени рослых берез, возвышался его пятистеноч.

— Давай, Петруха! Давай, дьяволок!

Но трактор мчался по главной улице мимо конторы.

— Петька! Э-э! Ты куда?

Петя выглянул из кабины:

— На пилораму!

— Стой, дьяволок! Стой! — потрясал кулаками Юра.

— Отдохни! — посоветовал Петя, высунувшись из дверцы.

— Да я тебя упеку... Упеку куда надо! — доносился сквозь грохот рассерженный крик.

Но Петя словно его и не слышал. Он упивался ревом мотора и гнал, гнал трактор к нижним посадкам, за которыми в свете фар виднелись два штабеля теса, складка хлыстов и строенье пилорамы.

НА СПИЧКАХ

Морозы пришли ныне поздно. Сковало Сухону только в конце декабря. Сковало не сильно, и трактор не мог переправиться за реку, где стояли стога колхозного сена. Отчего центральная ферма колхоза осталась без корму.

Зоотехник Зеницын вынужден был пойти по дворам. Умолял владельцев коров, чтобы те на время одолжили сена. Согласились дать председатель колхоза, бухгалтер, парторг, кое-кто из доярок и бригадир.

Сено, загруженное с сараев, привез Захар Протопопов, двадцатисемилетний, широкий в поясе и лице, степенного вида механизатор. В том, как Захар отцеплял от трактора волокуши, как взглянул на доярок, хватавших сено едва не с бою, как сурово сломал моховые брови, было видно неодобрение. Зоотехнику, ездившему с Захаром по сено, тоже было противно таким вот манером латать хозяйственную прореху. Да что оставалось, коли Сухона подвела. Раньше всегда застывала где-то к Октябрьским. А ныне уже и январь на носу, а она еще только-только схватилась.

Протягивая Захару распахнутый портсигар, зоотехник искательно улыбнулся:

— Осуждаешь?

Протопопов взял сигарету и, прикурив, дыхнул на Зеницына дымом:

— Хозяевá! Что ни слово, то ком, что, ни дело, то бяка. Бить вас некому, партачей.

Зоотехник не оскорбился. Привык ко всякому обращению. Тем паче сейчас он зависел от тракториста и ухудшать отношений с ним не хотел. Лишь сказал, намекая на трудный его характер:

— Все-таки ты, Протопопов, тяжеленький человек.

— А ты бесхозяйственный, — буркнул Захар.

— Пусть будет так, — согласился, поморщившись,

зоотехник и перевел разговор на свое: — Лучше скажи, за реку-то по сено кого с тобой отрядили?

— Шубарина с Юдиным.

Движением рук учителя физкультуры Зеницын снова показав сначала на трактор, а после на строчку огней вечерней деревни:

— К Шубарину с Юдиным и махнем!

— По сено? — спросил Протопопов намеренно грубым тоном уставшего мужика, который не верит в успех предстоящего дела и все-таки будет его выполнять, потому что начальству перечить негоже.

Зоотехник кивнул.

Захар недовольно вернулся к отцепленным волокушам, снова их прицепил и забрался вслед за Зеницыным в трактор.

— Да оне не дадут. Я-то знаю. У них у самих его мало. Зря и поедем.

Фары блеснули вспыхнувшим светом, и трактор, брякая, дернулся к строчке огней.

Не прав оказался Захар: сена дали. Аркаша Юдин при этом ругался с женой, обзывая ее бессовестным элементом, а Рудик Шубарин незло урезонивал мать, удивляясь, что та домашнюю собственность ценит дороже колхозной.

Протопопову было странно. Ну-ко дают, будто щедрые богачи. Оставляют коров без корму. И ни который не спросит: что за сено, откуда, когда и как много его им вернут? То, что так поступает Аркаша, было где-то ему и понятно — легкомысленный человек. Однако Рудик, сын покойного Михаила, у кого Протопопов практику проходил, когда учился на тракториста, казалось бы, должен пойти в отца, мужика бережливого, страшно скупого, не дававшего никому не то что сена, а даже копейки. Трогая трактор от освещенных поветей, в воротах которых стоял, махая вилами, юный Шубарин, Захар посмотрел на него с досадой и отвернулся, недоуменно на морща выпуклый лоб.

— Чего загрустил, Протопопов? — спросил зоотехник. Захар бездельных вопросов не признавал. Пришлепнув ладонью правый рычаг фрикционных, решил направиться было в сторону фермы. Однако Зеницын кивком показал куда-то налево:

— Едем ко мне! У меня заберем. А потом у тебя. Ты, надеюсь, не возражаешь?

Протопопов почувствовал, как все его тело пробило горячим и резким. Он уперся глазами в приснеженный череп дороги. Зоотехника в эту минуту он ненавидел. И пока он сворачивал трактор в подворье, пока дожидался, когда Зеницын, зайдя к себе в дом, откроет ворота сарая, пока стоял на возу, принимая с вил зоотехника сено, пока забирался обратно в кабину и, мрачно насупившись, ехал к дороге, все это время спрашивал у себя: «А если возьму да и откажу? Частная собственность охраняется государством. Не дам, да и точка. Стыдите меня. Я от этого не расстроюсь...»

Зоотехник, словно почувствовав тайные думы Захара, участливо улыбнулся:

— Жалко, поди?

— Мне мое сено далось не шутя! — Протопопов сбавил у трактора ход, и голос его заглушил тарахтенье мотора. — Кости виха́л! Ночи не спал! И на вот — отдай! Отдай беззавтрашним! Безголовым! Тем, кто оставил коров без корму! Таким, как ты, зоотехник! Обидно!

— Но мы же тебе возвратим, — ответил Зеницын, — сполна.

— Сено колхозное и мое — разница велика!

— Значит, не дашь? — заключил зоотехник.

Захар на вопрос зоотехника тихо ответил:

— Десять пудов так и быть. — Ответил так потому, что сызмала подчинялся сидевшему в нем житейскому правилу: если делать чего, то лишь с пользой для дома. И нажал на акселератор, правя трактор к общиптому пятистенку.

Зоотехник заверил:

— Получишь одиннадцать.

Тракторист дальновидно прикинул: «Одиннадцать? Как бы не так. Получу все пятнадцать. Кто-то будет меня проверять». Был Протопопов из запасливых. Казалось бы, лишнее сено ему ни к чему. Заготовил его немало. Хватит небось прокормить и быка, и корову, и стайку овец. Даже будет еще избыток. Это-то было ему и мило: избыток можно продать. И продать по весне, когда сено подскочит в цене.

Четверть часа спустя, свалив с домашних поветей десять тяжелых навильников сена, Захар спросил у Зеницына:

— На сколь ден сена-то хватит?

— До послезавтра, — сказал зоотехник, слезая с воза.

— А там опять побираться?

— Вполне вероятно.

— Тогда рассчитывай на меня! — Протопопов, оставив вилы в воротах, спрыгнул на воз, утопая в сене почти по пояс. Перевалился плашмя на спине и съехал, словно с угора, на землю. — Пудиков десять еще добавлю.

— Интересно, — Зеницын пожал плечами. — То по горло в сене, а сена хочешь, то готов его все вон раздать?

— Не одним днем живем, — хохотнул Протопопов, — седни хуже, а завтра лучше. Авось мне от лучшего тоже перепадет.

Домой в тот вечер Захар возвратился хотя и усталым, но бодрым. Будущий день веселил возможностью приумножить запасы домашних кормов. Веселила Захара и чистота просторного пятистенка, где всегда по-воскресному было празднично и уютно. Веселили и двое сынков-дошкольников, белощеких и крепких, как молодые бычки, кого хотелось ерошить по головенкам. Веселила и вечно румяная, с обнаженными локтями рук молодая жена, воевавшая у печи с ухватами и горшками.

— Дай-ко я! Дай! — Перехватив у жёны ухват, Протопопов достал из печи корчагу с густым хлебным пойлом. Потом нарезал картошки для поросят, сходил па повесть, сбросив в подклеть, где бык, корова и овцы, по небольшому навильнику сена. Все это делал он с довольным, мягким лицом и ласково сложенными губами, в складке которых можно было прочесть: «Люблю!» Любовь у Захара к своей скотине, к своим запасам, семье, хозяйству и огороду, своей удобно и справно налаженной жизни всегда лежала через работу. Отдыхать он совсем не умел. Да это было ему и не нужно. Лучшим отдыхом был для него, пожалуй, лишь ужин.

Ужинал он основательно, не спеша, как бы сам себя награждая намеренно долгим сидением за столом. Когда был особенно сильно голоден, снимал рубаху и майку и, поймав глазами жену, кивал, чтоб дала ему полотенце.

И сегодня он ужинал с полотенцем, вытирая им поступающий пот на своем белокожем, упитанном теле. Огрузнев от соленой капусты, щей, картошки, сморчков, пирогов с молоком, макарон и каши, он устало поднялся и разморенно направился на постель.

— Завтре пойду на реку наращивать лед, — только и вымолвил, перед тем как свалиться на белую простынь.

Ночью морозило славно. И утром мороз не ослаб. С проводов и веток, задетая ветром, слетала пушистая пена. Река рябила от пестро одетых колхозников и колхозниц. Дорога на правый берег почти очертилась. Ее заливали Шубарин и Юдин, с кем Захар должен отправиться за реку. Были тут телятницы и доярки. И зоотехник тут был. И даже конторские люди вместе с бухгалтером Колнаковым. Кто подтаскивал жерди и доски. Кто укладывал их в колею. Кто черпал бадейками воду. Кто тащил вдоль дороги брезентовую кишку. Целый день визжали над Сухоной ведра, и, скоргоча рычагами, работал пожарный насос.

Вечером, когда сумерки уплотнились и колхозники двинулись по домам, зоотехник Зеницын призадержался, гля-

дня на троицу трактористов, от кого зависел завтрашний день.

— Теперь, ребята, дело за вами! — сказал он им с бодростью и надеждой.

— Мы что? Мы готовы. Лишь бы пустила река, — вздохнул Протопопов.

— Дело не в нас, — вздохнул и Аркаша.

А Рудик, мальчишечка, весь нескладный, первый год еще в трактористах, взмахнул леденелой перчаткой и как бы от имени всех заявил:

— Чего нам кошелиться! Завтра и притараним!

Зоотехник подобное слышать хотел бы от опытных трактористов, потому сочувственно хлопнул Рудика по плечу и пошел, подымаясь угором, к ферме.

Протопопов с Юдиным пересмеялись.

— Ты за себя отвечай, а за нас погоди, — посоветовал Рудiku Протопопов. — И прими на заметку, — добавил, — река скороспелых не любит. Поспешишь — уйдешь с тракторишком на дно.

Они разошлись, чтобы утром сойти, приехав сюда на своих тракторах.

И вот небосвод на востоке чуть заалел. Прояснились снега. Река, облитая тишиной, открыла себя от горизонта до горизонта.

Тишина раздробилась от жесткого бряканья траков, когда три машины, паля отработанным газом, спустились к реке. На том берегу зеленел захватанный холодом ельник. В елках петляла дорога. Промять дорогу должны три ДТ, правясь в луга порожнем, а обратно с возами сена. Сено с лета поставлено в сани, чтоб зимой его не грузить. Подъезжай лишь к нему, зацепляй треугольное дышло и вези нетронутым стогом прямо до фермы.

Трактористы сидели в кабинах, слушая рокот моторов. Кому-то из них предстояло поехать первым, открыв переправу через реку.

— Чего еще ждем?! — крикнул Шубарин, высунув остренькое лицо.

Протопопов и Юдин взглянули на Рудика с пренебрежением, хотя в душе были оба не против, чтоб парень двинулся за реку. Но Рудик тут же посунулся в глубь кабины, застыв с выражением вялой досады, мол, ладно, не буду навыхвалку лезть, вы оба с опытом, вы и решайте.

Юдин присвистнул и легкомысленно улыбнулся. Решать за кого-нибудь даже в маленьком деле ему ни разу не приходилось. И за себя-то он никогда не решал. Считал, что этим должно заниматься начальство. Сейчас бы он с удовольствием прыгнул в снег и, подойдя к Протопопову, заговорил бы о гиблой реке, которая все-таки слабо еще застыла и может им подарить вероломный сюрприз. Однако Аркаша не шелохнулся, определив: Протопопову не до него, он у них вроде как самый главный и должен что-то обмозговать.

Протопопов томительно ждал. Ждал того особого настроения, при каком душа его заиграла бы смелым азартом, а руки рванули бы рычаги, бросая трактор на ледяную длиной в полторы сотни метров дорогу, под днищем которой струилась большая река, равнодушная ко всему, что на ней затевали люди. Захар поморщился и пригнулся. В его напряженном лице и низко сдвинутой шапке с захватанным мехом была выжидательность человека, чей риск однажды его наказал, и теперь он будет всегда осторожным.

Гучи шли на юго-восток. Туда же тянула свой ледяной хребет и дорожная переправа, приглашая Захара открыть на ней тракторный путь. Протопопов сутулился, будто ворона на ветке. Эту ворону он зацепил боковым зорким взглядом. Птица сидела, прижавшись к стволу надбережной березы, качала свой клюв и, казалось, тужила, как бы передразнивая его. Протопопов взмахнул рукавицей. Однако ворона не улетела. И тогда он снова уставился на реку, увидев с провалью упавшим сердцем большую, будто хозяйственный двор, полынью. Среди снега казалась она особенно темной, и хотя от нее до

ледянки было шагов пятьдесят, все равно Протопопову сделалось зябко, точно он перепутал вдруг время, забыл, что прожил целый год и сейчас все должно повториться, как в прошлую зиму.

В тот годовалой давности день было так же облачно, как сейчас. Такой же была и река. И реденький снег сквозь короткие выплески солнца. Лишь состояние духа было другое. Ехал Захар, улыбаясь, словно в гости к семейному брату. И когда его трактор, пройдя две-третьи ледянки, стал обваливаться в реку, Захар пожал плечами, не понимая, что это значит. Он мог бы запросто выскочить из кабины. Однако не выскочил: не поверил, что трактор его уходит под лед. И надавил ногой на педаль, выжимая весь газ. К распахнутой дверце метнулся он только тогда, когда снизу, бурля и вскипая, вломила вода. Вода, поднявшись до подбородка, затихла и присмирела. Воздуху было достаточно. Протопопов глотнул его до отказа и, рвя зацепившуюся фуфайку, вынырнул из кабины. Вылез на лед, недоумелый, озябший и мокрый, и только тут при виде кабины, катастрофично торчавшей над полыньей, испытал запоздалый испуг.

И теперь он испытывал нечто похожее на испуг. Не хотелось зря рисковать. И почему это он? Он, а не кто-то другой должен ехать на тракторе первым? Протопопов почувствовал вдруг себя до гадости осторожным.

Вылезая из трактора, он опять мимолетно взглянул на ворону. Та сидела тихо и неподвижно, точно спала, и ничего-то ее не касалось. Захар позавидовал ей, пожалев на какую-то долю секунды, что живет не вороной, а человеком.

Полный в поясе и лице, с крепкими кражиками-ногами, с ремнем на фуфайке, Протопопов прошел валковатой походочкой до ледянки. Постоял, дожидаясь, когда подтянутся Юдин с Шубариным. Повернул к ним прихмуренное лицо.

— Ну и как?

— Надо ехать! — откликнулся Рудик.

— А ты как считаешь? — посмотрел Захар на Аркашу.

— Я бы не торопился, — промолвил Аркаша и поднял голову к облакам, откуда падали синие провальни света.

Протопопов впервые заметил, какой большой у Аркаши лоб, большой и бугристый, отброшенный круто к затылку, где ухитрилась держаться кроличья шапка.

— Как долго не торопиться? — спросил у него.

— Да уж до завтра-то надо. Хотя и сегодня попробовать можно, если, конечно, не искупнемся.

Захар почувствовал в голосе Юдина изворотливость хитреца, который не будет себя подставлять под удар, так как заранее знает, что неприятность случится не с ним.

— Нет! — рассердился Захар. — Поедем сейчас! — И вскинул глаза на крутой левый берег, откуда смотрели, слепо мерцая стеклами окон, четыре высоких, в два этажа, с белыми крышами пятистенка. Смотрели сочувственно и сурово, словно о чем-то предупреждая.

— Значит, кто? — спросил Протопопов. — Кто будет передним-то ехать?

Вопрос застал трактористов врасплох.

— Не знаю, — тихо ответил Аркаша.

— И я, — так же тихо добавил Рудик.

— Я, что ли, знаю? — сказал Протопопов едва не с угрозой.

— Кинем на спичках! — В руке у Аркаши вырос спичечный коробок. — Кто короткую выдернет, тот и поедет.

С ним согласились.

Юдин достал три спички из коробка, сломал на одной головку, смешал их и выставил вверх одинаковыми концами.

Первым тащил Протопопов. Взял крайнюю справа.

— Короткая! — вскрикнул с испугом Шубарин.

— Смотри-ко ты! — вскрикнул и Юдин, но не с пс-

пугом, а с тайным удовольствием, что досталась короткая не ему.

Протопопов спичку в пальцах не удержал, и она упала куда-то ему под ноги. Посмотрел на Аркашу пеняющим взглядом:

— Держать надо лучше! Давай по новой!

Аркаша смешался и растерялся, но спорить не стал. Снова выставил спички. Протопопов взял крайнюю слева.

— Длинная, — улыбнулся.

Следом за ним потянул Шубарин.

— Короткая, — прошептал и, сунув спичку в карман фуфайки, скривил сухощавенькое лицо. — Не по-честному! Я бы тоже мог уронить!

— Тогда бы кинули снова, — сказал Протопопов, — а раз ты в карман ее бросил, то сам на себя и пеняй.

Рудик смолчал. Повернулся. Дошел до трактора и, забравшись в кабину, дернул задребезжавший рычаг. Протопопов тоже пошел к своему тягачу. Залезая, уставился на березу. Сбивая снежную пыль, поднялась с толстой ветки седая ворона. Была она старой, отжившей свой век, так незащитно и низко летела, ища глазами дерево поспокойней, где бы ей удалось посидеть, лишний раз не вздрагивая от страха.

Протопопов подвел машину к реке. Наметил взглядом хвойную вешку. «Как дотуда доедет, так и я вслед за ним», — загадал, сжимая в зубах мундштук папиросы.

Трактор Шубарина удалялся. Мелькнувшее в тучах солнце лизнуло гусеницы ДТ, отразив на них всполохи белого света.

Сквозь рокот мотора слышался колющий звук. Кабину трактора накренило. Протопопов схватился за голову, сжимая ее до боли руками.

— Выпрыгивай! Ну-у!

Мотор машины затих и сразу отчаянно заработал. Раскрылась левая дверца. В ней показались плечи и го-

лова. Трактор попятился, выправляясь. Захар откусил мундштук папиросы, и та упала ему на колени. «Это куда он? — прикинул Захар, приходя постепенно в себя. — К берегу? К берегу, козье ухо. Слава богу, не провалился. А не то бы хана пареньку. Чего хоть там у него? Поганское, видимо, дело. Да вот, случилось. Ну ладно. После. После проверю...»

Сквозь испуг в душе Протопопова проиграло чувство бывалой удачи. Он даже жертвенно улыбнулся. «На са- лагу надейся, сам не плошай. Придется, видать, самому. Во петрушка, руби ее корень. Ехать — беда. И не ехать — горе». И стеклянно застыл глазами, глядя, как Рудик, весь искривившись в спине, сдал тягач до речно- го уреза и, прыгнув в сумет, посмотрел из-под кисти руки на то самое место, откуда приехал.

— Дальше чего? — спросил Протопопов, вставив в интонацию голоса пренебрежение человека, которого только что подвели.

Но Рудик вроде бы как и не слышал. Вышагнул из сумета и, скрипя галошами, медленно двинулся на угол — нескладный и тощий, с измученным лбом, закиданным потными волосами.

— Вывеску, что ли, тебе ободрало? — не удержался от окрика и Аркаша. — Эдак рожу от нас воротить?! — И взмахом руки забрал Протопопова в очевидцы: — Видишь, умный какой! Дай бог ноги! Домой наострился! А мы?

— Что мы? — Протопопов поднял лицо. Брови, как веточки, надломились, выразив бдительность и внимание. Аркаша кивнул вдогонку Шубарину:

— Мы чем хуже его?

— Не хуже, — ответил Захар, высунув валенок из кабины.

— Я тоже эдак считаю. Так и так седни по сено не бывать. Лед-от слышал, как колонуло. Айда-ко тоже помой!

Захар и вторую ногу высунул из кабины, встал на гусеницу и спрыгнул.

— Распутья бояться — в путь не ходить. Пойдем поглядим!

Аркаша ладонями отпихнулся.

— Что ты! Что ты! Давай водолазный костюм — и то не пойду. И вообще не война сейчас! Все! — Плечи Юдина наклонились, и скрежетнувшие фрикционы дали трактору разворот, направляя его по дороге в деревню.

Расстроился Протопопов. «Не уважают меня мужички, — желчно подумал. — Мое слово для них, что те чих простуженова среди здоровых».

Было десять утра. День мало-мальски подразгулялся, вытеснив с неба все облака. Шел Захар по ледянке прогулочным шагом. Почему-то было приятно смотреть в голубое глубокое небо и на изглоданный снег вдоль дороги, который вчера поливали водой, а сегодня он весь светяще искрился, напоминая холодный костер.

И вот Протопопов споткнулся глазами на размолоченном траками льду. «Ага!» — догадался. Лед намерз здесь слоями. Самый верхний сплющило тяжестью трактора, он и хрустнул, создав иллюзию катастрофы. Внизу, под зелеными крошками льда, виднелся мост вмурованных кряжиков, чурок и досок. Крепок ли он? Протопопов что было силы ударил ногой. И даже немного попрыгал. Но это было смешно и наивно. Насколько надежен здесь лед, можно было проверить лишь тракторным ходом.

Захар закурил и с тяжелым сердцем пошел к тракторам. Снова забрался в кабину. В кабине уютно и чисто, болтался на ниточке бархатный зайчик, порядок почти избяной, точно здесь каждый день прибиралась сама хозяйка. Глаза Захара были напряжены. Река пугала своей неизвестностью, как затаившееся несчастье. «Денек бы еще, — помечтал Протопопов и устыдился. — Нет! Нет! Поеду теперь. Вот только бы духу набраться. Решиться б, как раньше. Но так, чтобы глупо не рисковать. Как-никак, человек я семейный...»

Захар не услышал, как прибежал откуда-то зоотехник. Дверца кабины нарастопашку.

— Стоим! — Красноскулое, с горько опущенным носом лицо его ткнулось Захару едва не в ноги. — Неужто никак уж нельзя?

— Пытались, — сказал Протопопов, — да лед обвалился.

— В заячью душу! Были бы лошади — разве бы стал тут валандаться с вами! — Зеницын захлопнул с яростью дверцу.

Протопопов не думал, что зоотехник так неожиданно уберется. Кабы он уговаривал? Так ведь нет. Нашумел и исчез. Протопопов, ворча, закурил папиросу. «Нас не чтут, так и мы не будем», — подумал зевая. И неожиданно задремал.

Клюнув клоком волос, длинно вылезшим из-под шапки, он поднял голову и смекнул, что не только дремал, но и спал, не расслышав, как трактор Шубарина тронулся с места и побежал проворно через реку.

Захар изумился: «С каких это винтиков он эдак прытко? Ничего я не понимаю. Ведь не должен бы ехать. Не должен. Впрочем, зря это я. Зря волнуюсь. Ему ведь не долго и воротиться...»

Захар, казалось бы, умолял, чтобы трактор остановился. И действительно, трактор встал. Встал на том участке ледянки, откуда он уже раз возвратился. «Не хватило духу! — понял Захар, начиная испытывать к Рудику нечто похожее на презрение. — Сейчас засадит заднюю скорость — и полным ходом назад».

Послышался скрип рычага скоростей. «Этo чего?» — моргнул Протопопов: трактор рванул почему-то вперед, а Шубарин, выставясь из кабины, чуть наклонился и спрыгнул на лед. И тут же, выправив что-то руками, ступил параллельно ДТ, управляя им как конем. Захар догадался: в руках у Рудика были вожжи. Прицепил к фрикционам — и знай шагал себе обочь дороги. «И я бы так мог», — подумал с завистью Протопопов и раздра-

женно вздохнул, ощущая себя оскорбленным и обойденным, кого взяли и оттеснили, чтобы он не мешал таким вот мальчишечкам, как Шубарин.

Трактор шел за реку, а за ним ковылял облаченный в фуфаячку юный колхозник. И странно: чем ближе к тому берегу он подходил, тем казался Захару крупнее.

По готовому следу ехать полдела. Захар прогнал свой ДТ за реку, с ходу поднялся в угор по забитой узорчатой тенью от елок белой дороге. Приткнувшись с обочины к трактору парня, он повернулся к Рудiku головой. «Молодец!» — хотел ему было сказать. Но, увидев в мальчишески тонком лице Шубарина нечто брезгливо-насмешливое и злое, запрещающее в эту минуту лезть к нему с любыми словами, оторопело понурился и спросил:

— Это чего ты такой?

— Тово, — ответил Шубарин и сунул руку в карман фуфайки.

Протопопов отпрянул и покраснел, точно Рудик хлестнул с размаху его по лицу. Но Рудик всего лишь достал из кармана короткую спичку, взглянул на нее с невеселой усмешкой и протянул ее из кабины в кабину:

— Та самая. Только она не моя, а твоя. Возьми-ко на память.

— Ты чего от меня? Чего хочешь? — спросил Захар, стекленея глазами.

Шубарин сказал:

— Вспоминай иногда сегодняшний день.

СЫНОВЬЯ И ГОСТИ

Ветки берез мелко вздрагивают, роняя на землю тихие листья. От листьев по всем направлениям льется слабый ласкающий свет. «Газик» урчит покойно и добродушно, колеса его, будто боясь обидеть дорогу, бегут, едва прикасаясь к земле.

Возле распатанных прясел забора, похожих на ска-

чущих по угору козлят, мы пастигаем старушку. Уступая дорогу, она с батоном и хозяйственной сумкой метнулась через канаву и долго не понимала, почему же машина остановилась возле нее и даже дверца открылась, а из дверцы вышел шофер и что-то ей весело объясняет. Наконец до старушки дошло, что ей предлагают место в машине. Ах как она удивилась!

Старушка сидела на заднем сиденье, рядом со мной, застыв в каком-то благостно-робком оцепенении. Навстречу летели поля со скирдами рыхлой соломы, геодезической вышкой и толпами возледорожных рябин, полыхавших гроздьями ягод. За полями, на длинном угоре, открылась деревня: два низких, бескрыших гумна, деревянные погребки, в которых хранится зимой картошка, и четыре посада высоких изб.

Был ранний вечер, и солнце спускалось за косогор, поливая лучами двухскатные кровли, колодец с большим колесом и девочку на заборе. Старушка обеспокоенно шевельнулась, что-то хотела сказать, но вместо этого улыбнулась, и нам стало ясно, что мы проехали ее дом. Развернувшись, машина прошла к колодцу и встала, едва не заехав на крашеное крыльцо.

— Сюда? — обернулся шофер.

— Гой, куколки! Гой, спасибо! — Старушка зашеборшила ладонями по сиденью, забирая батон и сумку. — Честь-то какая! Ну-ко к саму крыльцу! Что деется, гой! У всей деревни в начальниковой машинке! Чего старикот мой скажет?! Да вот он и сам. Лексей! — крикнула с повелительной ноткой. — Прймай гостеньков!

Мы не успели выбраться из машины, как возле нас забегал юркий тоненький старичок с серебряной бородой и синими радостными глазами. Помахивая сжатой в руке старомодной фуражкой, он подтолкнул нас к крыльцу:

— Ходчей, ребята, ходчей! Выставай на крылец! Ну-ко такое дело! Старуху мою подвезли? О-го-о! А мы-то себя забытыми чаем. Ан нет!

Пройдя в покой, мы не спеша уселись на лавку. А хо-

зяева суматошно и бойко хлопотали. Уж чего-чего только не было на столе, а они приносили и приносили — и соленые огурцы, и рыжики в масле, и холодное мясо, и пироги с голубицей, и мед, и горячие щи. Последним поставлен был самовар, полыхавший внизу сквозь решетку поддонника розовым жаром.

Мы пересели к столу. Угощаемся. Отдыхаем. На душе ласково и надежно, будто мы дома, возле матери и отца, которые встретили нас после долгой разлуки и очень нам благодарны.

— Сами-то дальные? — наконец спрашивает хозяйка.

Мы ответили.

— Гой, куколки, из кой далины! И часто, чай, это вы?

— Что часто?

— Да в путях-то, дорогах живете?

— Частенько.

— А мы как привязаны ко двору. Все на одном местечке. Стронуть-то нас отселя, гой, как трудненько. За пять километров сползаешь в магазин, вот и вся буде наша дорога.

— Неужели всю жизнь никуда из деревни не выезжали?

Хозяйка взглянула на нас с откровенностью просто-душной крестьянки, которой хочется много сказать о себе:

— Мы домоседные с малых лет. Никуда из дому не отлучались.

— Ты что, Антонида, — поправил ее супруг, — я-то ведь отлучался. На целых четыре года, пока шумела война. А ты говоришь... — Он встал, серебристоволосый, тонкий, в бязевой теплой рубаше и валенках с загнутыми верхами. Пройдя до стряпного стола, принес оттуда пустую консервную банку, поставил на подоконник, снова уселся и закурил. — Да и ты отлучалась. Али Ус-

тье забыла? Пийсят небось верст отмахала туда да эс-толь же и обратно.

— Гой правда, робята! — вспомнила Антонида. — Ходила на Устье. Было такое, было. Реки-то большой не видела никогда, а тут на нее как вышла да как углядела, что плывет по ней двухэтажная церква, так я от страху и задрожала.

— Это она пароход за церкву-то приняла! — объяснил хозяин. — И было же там потехи. Все Устье тогда от смеху понадрывалось.

Мы отпили чай и хотели было поехать дальше, но Алексей сердито закипятился, пробежал по кухне, встал на порог и раскинул руки:

— О-го-о? Выдумали чего? А кто ночевать у нас будет? Не! Не! Лучше не сподобляйтесь! И не пушу!

Мы снова уселись на лавку и понимающе улыбнулись. В конце концов это не так уж и плохо, когда тебе предлагают ночлег.

Шофер, устав больше всех от длинной дороги, нашел себе стопку журналов «Крестьянка», зевнул и стал бесконечно долго листать. Фотограф начал возиться с аппаратурой. А я огляделся по сторонам.

Кухня была обычной: по левую руку от входа печь с дощатой заборкой, по правую — ситцевый полог, скрывавший большую кровать, и деревянная лавка. На стенах голым-голо, ни полотенец, ни зеркала, ни фотографий, какие обычно бывают в каждой избе. Однако... Я повнимательней посмотрел и в углу, под божницей, заметил три парусиновых картуза белого, черного и зеленого цвета. Были они с упруго натянутой тульей и твердыми жесткими козырьками, совершенно новых три картуза, которые долго должны бы носиться.

— Чьи? — спросил я старую Антониду, убиравшую со стола.

Она на какой-то миг растерялась, тряпка выпала из руки, по морщинистому лицу проскользнула тень вос-

кресшей тревоги. Но оправилась тут же, вытерла обе ладони о ситцевый сарафан.

— Эта вот, — показала на белый картуз, — Вани. Эта, — перевела указательный палец на черный, — Коли. А эта, — направила руку к зеленому картузу, — Юры.

Я понял, что это фуражки ее сыновей, которые очень давно не бывали дома.

— Это ваши, стало быть, сыновья. А живут они где? Наверное, в городах?

— Гой нет. В городах, стойно нас, не живали. Все трое в земельке...

Мне стало как-то не по себе, словно я подглядел чужое несчастье, которое тщательно скрыто от всех, и не надо бы было его тревожить. Досадуя на себя, я сидел и растерянно слушал, как хозяйка шуршала тряпкой по краю стола и негромким голосом говорила:

— На войну одного за другим забрали. Старшева — в сорок первом, среднева — в сорок втором, а малова — в сорок третьем. Никто не вернулся.

— А фотокарточки сохранились?

— Гой нет. Фотокарточек не бывало. Только эти картузики и остались. Цвет разной, размер одинакой. Покупала их в тридцать девятом, на Устье.

— Это когда церковь-то спутали с пароходом?

— Ага. Четыре штуки купила, на сыновьев да на батьку. Только один картузик теперь на головке, а могли бы и все четыре, кабы не эта война...

Убрав со стола и задернув белые занавески, Антониде уселась на табуретку и, подперев подбородок рукой, повела подробный рассказ. Сперва про своих «паренков», после про то, как вернулся с войны ее муж, как жили они на пару, смертно тоскуя по сыновьям, как шли и дошли по житейской дороге до стариковских годов, в которые только тогда и бывает отрадно, когда в покои их дома заходит нечаянный гость.

— Теперь у нас три гостенька, — сказала хозяйка,

вставая, и сняв с деревянных катушек один за другим все три картуза, поглядела на нас с надеждой.

— А ну-ко примерьте! Пожалуйста, коли можно...

Мы взяли по картузу и, осторожно надев, посмотрели на старую Антониду. Она стояла в своем полосатом ветхоньком сарафане и водила ладонью по подбородку. Глаза ее были тусклы, и в них томилось желанье что-то узнать или вспомнить. Быть может, с помощью нас, изменившихся от фуражек, она хотела увидеть те невозвратные дни, когда жила и она и ее Алексей сердце в сердце с любимыми сыновьями?!

— А четвертый-то где картуз?

— У хозяина. Он как с войны воротился да как надел на свою головку, так до сих пор не сымает.

Мы обыскали глазами кухню и, не увидев хозяина, удивились:

— Дед-то куда твой девался? Вроде только что был?

— На колхозном дворе, — улыбнулась хозяйка, проходя к распахнутой двери, — сторожит там коров. Мы с им подменно на этом деле. Ночь он да ночь я... — Шаги ее застучали по половицам сеней, и мы поспешили снять картузы, повесив их вновь на катушки.

Возвратилась она минут через пять с голубым широким матрасом.

— Сейчас устелю я вам. Одному — на кровати, второму — на голбце, третьему — в той половине. Сыновья-то у нас как раз по этим местечкам спали...

Было тихо, тепло, где-то на печке мурлыкала кошка. Шофер и фотограф заснули мгновенно. А я долго ворочался с боку на бок. От мысли, что мы занимаем места, на которых могли бы сейчас отдыхать сыновья хозяев, становилось как-то неловко и возле сердца, странно его волнуя, рождалось сочувствие к жителям этого дома.

Утром нас ждал клокочущий самовар. Позавтракав, мы попрощались со стариками и хотели было уйти, не забыв положить на угол стола три бумажных рубля, но стремительный Алексей, все в тех же валенках с загну-

тыми верхами, той же теплой рубаше, догнал нас в сенях, сунул обратно деньги и умоляюще улыбнулся:

— Этова не берем. Хватает покуда. А уж коли охота вам расквитаться, так прокатите меня на машинке! Вчера старуху катали, седни — меня. Да чтоб видела вся деревня!

«Газик» бежал от посада к посаду. Из передней дверцы, высунувшись по пояс, сияя серебряной бородой, махал сжатым в руке картузом не спавший всю ночь сторож колхозной фермы, крича при этом так громко, что от нас шарахались курицы и собаки:

— О-го-о! Игнашка! Это я?! Видишь!!!

— Тимофей! Мотри! Мотри в оба! Кто едет-то? Э-э!

— Товарищи девки! Вот-ка я! Сам Алексей Никонорович Домородцев! Завидно небось? О-го-о!!!

Наулыбавшись и накричавшись на всю деревню, Домородцев сошел наконец с машины и, спасибо нам, надел на седую голову мятый картуз — единственный из четырех, который так носится долго.

Мягкий свет продравшегося сквозь ельник большого желтого солнца, мурава на проулках, спокойная белая борода старого Алексея — все вокруг казалось нам утешающим, благодарным, склоненным в поклоне к началу осеннего дня, который лениво и медленно разгорался.

Машина рванулась, и мимо нас промелькнул обутый в валенки Домородцев. Он махал парусиновым картузом. Махал озабоченно и прощально, как своим сыновьям, которые навсегда уезжали из дома.

СТРОГИЕ ГЛАЗА

Не было в Еловце смирней человека, чем кассир лесопункта Цивеленков, глава многодетной семьи, постоянно грустивший от трудной задачи: где бы найти хоть маленько денег, потому что его небольшая получка, как всегда, уходила на выплату ста-

рых долгов. Так и жил он, перебиваясь от старых долгов до новых, но с каждым разом все меньше и меньше охотников находилось, кто бы давал кассиру займы. Цивеленков женат был на толстенной Анне, которая рада была бы пойти на работу, да дети связывали ее. И кассир был вынужден сам решать злую денежную проблему, которая дважды в месяц, пугая его, подбиралась к нему, как востренная бритва. Цивеленкову было за пятьдесят, волосы серые, с проседью на макушке, лицо кабинетно-бледное, кроткое от очков, одет постоянно в затертый пиджак с футляром из-под очков в нагрудном кармане. Работал кассиром он так давно, что казалось, тут за конторским столом провел не только свои трудовые, однако и детские годы.

Цивеленков был из тех, кто просить не умеет и все-таки просит, сердясь в такие минуты на свой голосишко, в котором было что-то стыдливое и сырое, вот-вот готовое выжать слезу. Как-то Цивеленков попросил пятнадцать рублей у начальника лесопункта. Трофимов, естественно, дал, но при этом предупредил:

— Ты бы, Иван Иванович, насчет займов поосторожней.

Цивеленков замигал:

— Что я это такое?

— Компрометируешь честь конторы! — сказал Трофимов и так посмотрел на кассира, что у того приотнялся язык.

После этого стал Иван Иванович спрашивать в долг с большой осторожцей, ища кредиторов среди самых участливых посельчан, кто мог бы войти в его положение, поверить ему и понять, что он унижается ради деток.

Лучше всех понимал его Фенко Зверев, двадцатипятилетний степенный парень, работавший старшим на шпалорезке. Фенко был возмужало-красив, лицо в метинках от опилок, постоянно стегавших из-под пилы по его щекам, подбородку и горлу. Зверева почитали в поселке: был он спокоен и незадирист, умел зарабатывать

хорошо и никогда ни на над кем не смеялся. А не смеялся лишь потому, что его глубокие, зоркой поглядки глаза видели в жизни больше грустного, чем смешного. Тот же кассир виделся Звереву прежде всего как усердный трудяга, который хочет выбиться из нужды, да ничего из этого не выходит. Однажды Фенко спросил у него:

— Иван Иваныч! Ты займешь все. А по кой? Вон у тебя сколько денег — полный, поди-ко, сейф?

Цивеленков даже руками затряс, отгораживаясь от парня, до того напугал его этот вопрос:

— Казенное! Не имею права! Что ты! Этова я боюсь. — Кассир покосился на сейф с опаской. — Раз откуда возьмешь — потом уж не остановишь. А это, скажу по совести, все до поры. Нагреешь ручку, а там, глядишь, и покатишься, ровно двугривенный по этапу... Нет! — Цивеленков опять покосился на сейф, но теперь уже поспокойней. — Из этого ящика мне не надо. Уж лучше я попрошу у тебя. Десять рубликов дашь?

Фенко готов был отдать кассиру все деньги, какие имелись в его карманах, лишь бы Иван Иванович пособил подобрать верный ключик к сердцу дочки своей Любаши. Любаша была у кассира старшей, ныне закончила среднюю школу и вот, приехав из города в Еловец, решила устроиться на работу. «Ко мне бы на шпалорезку... Десятницей...» — думал Фенко, но предложить об этом не смел.

Девчат в поселке было изрядно, и редко которая не мечтала пройтись после танцев среди сумерек улицы рядышком с Фенком. Но Зверев всем гладкоплечим предпочитал нескладную, худенькую Любашу, видя в юном ее лице отпечаток житейской закалки, какую она обрела, одолевая в годы учебы, когда жила в городском интернате, самые разные недостатки. Глаза у Любаши строгие, светлые, цвета осенней воды, чуть прихваченной на морозе. Как бы хотелось Звереву эти глаза оживить, растопить в них морозец, увидеть в светлой пронзительной глубине затеплившуюся улыбку.

Собираясь впервые ее проводить после какого-то плохонького концерта, он так мучился, так томился, словно ему предстояло нырнуть, не глядя, в немереный омут. И все же рискнул. За клубным крыльцом, на тропинке, возле поленницы дров поравнялся с ней и спросил, шевеля отвердело-каменным ртом:

— Любаша! Я рядом пойду. Ничега? Не прогонишь?

— Мне что? — сказала Любаша скучающим тоном, как если бы слышать такое ей приходилось почти каждый день и, взглянув на широкую Фенкину руку, подставила для нее свой сухой локоток. Подставила с осторожностью неумелой девчонки, захотевшей вдруг выглядеть взрослой и в то же время боявшейся этой взрослости.

После того провожания минуло месяца полтора. Фенко такие прогулки был бы рад устраивать каждый вечер. Но это зависело не от него. За всю половину лета только раз и сумел снова взяться за локоток, пытался шутить, но в осенних глазах девчонки мерцал нерастопленный холодок и еще полудетский наивный вызов, намекавший на то, что она, Любаша, без Зверева обойдется, но обойдется ли он без нее? Расставаясь возле забора, за которым ютился кассиров дом, Фенко упорно и ласково добивался:

— Когда теперь свидимся? Завтра?

— Нет, нет.

— Послезавтра?

— Нет, нет.

— Так когда же?

— Там видно будет.

— Но я хочу поскорей!

— А я не хочу.

— Почему?

Любаша взглянула на парня, и он прочитал в ее строгих глазах: «Я нисколько не виновата, что ты мне нравишься меньше, чем тот, кого я не встретила, но когда-нибудь, может, и встречу».

И все-таки Зверев не верил в свою неудачу. Искал

подход к незнакомой душе и, не умея его найти, упрямо спрашивал у себя: «Может, сделать какой подарок? Или в гости к себе пригласить?»

Единственный, кто в Еловце сочувствовал Фенку, желая ему пособить, был кассир. Цивеленков был отгадчиком смутных тревог, какие кипели в душе человека. Зверева он любил, заранее видел в нем зятя и вечерами, когда случалось тому завернуть на конторский огонь, встречал, как желанного гостя, тащил за дощатый барьер, ставил на плитку наполненный чайник и, вынув коробку грохочущих шахмат, ласкающим голосом предлагал:

— Партейку-другую сгоняем?

К шахматам Фенко был равнодушен, знал толк в игре, но играть не любил. С Цивеленковым садился за партию ради Любаши, благо Иван Иванович был в такие минуты словоохотлив и услаждал его слух разговорами о поре, когда он со Зверевым породнится.

Проиграв кассиру несколько партий, Зверев вставал, возбудившись не столько от шахмат, сколько от чая и заверений кассира, что скоро его холостяцкой жизни наступит конец.

Холостяк уходил. А кассир оставался. Домой его не тянуло, ибо там ожидали его шумливые, самого разного возраста дети, нервная толстенькая жена и какая-нибудь незадача, решать которую должен был почему-то всегда только он.

Час, когда пустела контора, был для него самым легким и самым приятным, потому что Иван Иванович отдыхал, отходя исподмедля от бумаг, от бухгалтера Гомелькова, седого, замученного работой очень серьезного старика, сурово следившего, чтоб кассир не остался хотя б на минуту без дела.

В тишине опустевшей конторы можно было отдаться покою. Цивеленков сидел за рабочим столом. Но сидел не как напрягшийся от внимания служащий лесопункта, а как расслабленный человек, который волен был делать все, что захочет. И было желанно ему, отвалясь на высо-

кую спинку стула, слушать глухое ворчание воды, а потом заваривать чай и, налив его в белую с блюдечком чашку, дуть на волокна горячего пара и пить глоток за глотком, ощущая блаженство.

И сегодня после пяти увлекательных партий с будущим зятем он сидел за столом и, поставив блюдечко на губу, наслаждался свежесваренным чаем. И заветными думами наслаждался. Потому что в думах этих являлся к нему возмужало-красивый Фенко, самый добрый и самый покладистый холостяк, кто избавит его от долгов, а вместе с ними и от вопроса: где бы занять до получки денег?

Уходя домой, Иван Иванович всякий раз косился взглядом на плитку, боясь оставить ее включенной. Но в сегодняшний вечер он был настолько радостно-беззаботен, что посмотреть на нее забыл.

Еловец взбудоражился через час. Топот стоял по мосткам, по дороге, по междудворьям. Взревел грузовик. Кто-то выстрелил из двухстволки. Зверев выбежал на крыльцо. Отсюда явственно разобрал мерзлый бой тяжелой кувалды. Было странное ощущение, словно откуда-то из потемок рванула нечистая сил, заполнив собой весь поселок.

Кругом все двигалось, суетилось. Сновали фигурки людей. Лаял пес. И над всем над этим реяло зарево от пожара. Было жутко и ненадежно, как в драке, в которой могут тебя затолкать. Фенко бежал. Пока бежал, разобрал среди криков, что загорелось от плитки, которую кто-то не выключил, уходя из конторы домой.

Одна половина конторы была в огне, вторая — в дыму. Заливали из ведер. Однако вода была далеко, и пожар разрастался. Промелькнул в расстегнутой белой рубашке начальник Трофимов. Большое лицо его было взбешенным, сверкали глаза, а страшный голос взвивался в такую высь, что слышно было на весь поселок:

— Пожарная? Где пожарная, сто бы ей кочерыг!

Проскочил на коротеньких ножках мастер Антонов, кому-то скомандовав на бегу:

— Разворачивай мотоцикл!

Внутри конторы кто-то гремел этажерками и столами, хватал, что под руку попадет, и выкидывал в окна. Летели в толпу кирпичи бухгалтерских книг, скоросшиватели, папки, стулья.

Огонь полз по стенам и потолку, высветляя комнаты сверху и сбоку. Заскрипело стекло, и в разбитую дверь на ступеньки крыльца, словно выкинутый пожаром, вылетел потный мужик, паникерским голосом объявляя:

— Печенки и легкие опалил!

Еще кто-то красный и опаленный вылетел следом за ним, держа под мышкой настенный портрет. Но кто-то еще оставался, работал среди огня, продолжая выкидывать связки бумаг и обломки стульев.

Бледнолицый Цивеленков, найдя в суматохе начальника лесопункта, бегал за ним как привязанный и кричал:

— Андрей Фролович! Там сейф! Сорок четыре зарплаты!

Андрей Фролович остановился:

— А что я могу? Что? Где раньше-то был?

Цивеленков прижимал руки к сердцу и умолял:

— Андрей Фролович! Шесть тысяч рублей! Сгорят!

— Вместе ответим, если сгорят!

— Как вместе? — не понял Цивеленков.

— Я морально, ты материально! — Оставив кассира с разинутым ртом, Трофимов пронесся к окну своего кабинета. Увидев сквозь чад силуэты людей, бодро призвал: — Орлы! На вас вся надежда! Ящик в столе! Средний! Да записная книжка под телефоном!

Над головой начальника прошумели ящик с бумагами, телефон, толстый справочник и тетрадка.

— Сейф! Сейф взломайте! — потребовал было Трофимов.

Но захрустели оконные рамы, хлынул дым, и в нем

показались два лесоруба. Оба мешками свалились на землю, кое-как поднялись и, охая от ожогов, поторопились к ведрам с водой.

— Шесть тысяч рублей! Ребята! — плакал Цивеленков. — Мне двух жизней не хватит, чтоб расплатиться! Слазайте кто-нибудь! Отоприте! — В руке у кассира был ключ от сейфа. Он держал этот ключ, будто крестик. Очкастый, с сухонькой головой, в пиджаке, из кармана которого тускло мерцал голубой футлярчик, он метался среди толпы. И все шарахались от него и смотрели на поднятый ключ с суетливым волнением и испугом. И Зверев шарахнулся, отводя от кассира глаза, как от очень несчастного человека, которому так и так уже не помочь. «Кабы пораньше, — посетовал он, — а теперь? На крыше вон тысяча петухов, и чердак весь опряло. Пять минут — и конец».

В середине толпы мелькнула Любаша. Была она в желтом халате, с печальным лицом и косичками за плечами. Фенко время от времени взглядывал на нее и раз было сделал попытку к ней подобраться. Но Любаша, заметив его, отвернулась, будто хотела этим сказать: «Вон лихо какое! Не до тебя!»

Прогудела сирена. Толпа разомкнулась, давая дорогу красной машине. Пожарная встала, и несколько мужиков метнулись к брандспойту и рукаву.

— На сейф направляйте! На сейф! — замахал руками Трофимов, подлетев в своей белой рубаше откуда-то из берез.

Водяная струя, выбив стекла, щелкнула в алый проем и стала выплясывать среди пожара. Пламя внизу посникло, поослабело, и начало рваться, словно рябое тряпье, а металлический сейф зашипел, обвиваясь густым самоварным паром.

Толпа вдохнула единой грудью, а комнатно-бледный Цивеленков, лучась морщинками и очками, запотирал сухими ладонками и присел. И все увидели возле него трех тонкошеих сынков и трех таких же тоненьких до-

чек, среди которых, как курица-мать, хлопотала, кудахча, толстуха Анна.

Струя сбивала огонь до тех пор, пока не лопнул рукав, и вода побежала в разрыв, обмывая забор и деревья.

— Охх! — вырвалось из толпы, как из больничного лазарета.

Цивеленков, теряя точки, поднялся с коленей:

— Ребята-а-а!

Зверев усунул голову в плечи. Он был человеком не то чтобы робким, но и не смелым. Не было дней в его жизни, в которые он рисковал бы своей головой. И вот почувствовал толкнувшейся где-то под сердцем взволнованной кровью, что наступил отчаянный час, когда решится — то ли ему, как и всем осторожным, остаться в толпе, то ли вырваться из толпы и проверить себя в пожаре. «Надо кому-то, надо!» — сквозила жесткая мысль, холодя его голову до озноба. И на какой-то миг ему показалось, что каждый смотрел на него с затаенной надеждой. «Не, не, — думал он, обнимая взглядом неровное пламя, — оттуда можно не возвратиться». Фенко сощурил глаза. От гривы огня, снова поползшего в сторону сейфа, от жалких, замурзанных деток кассира, от пестрой толпы с побелевшим как смерть начальником лесопункта стало ему так горько и виновато, что он ощутил, как в груди у него тяжело и призывно забилося сердце. Фенко вспотел.

— Была не была! — отчаянно молвил.

Потолок и стены еще держались. Струя из брандспойта пробила среди пожара дорогу, которой он должен добраться до сейфа, чтобы открыть его дверцу и вынуть оттуда шесть тысяч рублей.

— Вот ключ! Вот портфель! — суетился Цивеленков, а подгоревшие на пожаре безбровые мужики, кряхтя, подымали рукав, направляя воду на Фенка. В натянутой на уши кепке, хлюпающий и мокрый, он бросился к выбитому окну.

Дальше все получилось как-то неловко. Сделав несколько длинных прыжков, Зверев присел перед сейфом

и в бликах огня увидел замочную щель. Попадая в нее ключом, услышал тяжелый скрежет, с каким ломалась чердачная балка. Посыпались хлопья огня, головешки и пепел. Фенко обжегся, дернул рукой, да так торопливо, что выронил ключ. Тщетно было его искать среди дыма. Треск повторился, и потолок стал медленно оседать. «Пора уходить!» — почувствовал Зверев. «А детки кассира? А люди? Оставить детей без отца, а людей без зарплаты?» Все это снова прихлынуло к сердцу, и так укоряюще, так беспощадно, что Зверев, не зная, что делать, боднул головой распроклятый железный сундук. И тут мелькнуло соображение: «Могу ведь и унести? Могу! Только бы выдержал пол».

Наклонился Фенко к горячему сейфу, облапил его, как здорового мужика, поднатужился и, срывая спинные мышцы, поднял на грудь и понес. Успел-таки он дотащить громадину до окна. Успел кувырнуть ее вниз. Успел и ноги свесить за подоконник. Но не успел в тот последний момент, когда потолок провалился, уберечь себя от доски, звонко стукнувшей по затылку.

Он уселся на подоконник, не собираясь спрыгивать вниз, потому что не мог управлять своим телом. Чьи-то руки схватили его, сволокли, окатили водой и, обняв за мокрую спину, довели до длинного, в три крыльца на проулок, барака.

Очнулся Зверев в утренний час, и было ему непонятно: то ли он спал, то ли лежал без сознания целую вечность? Узнал свою комнату с тумбочкой, печкой, столом и второй запасной кроватью, на которой, борясь с дремотой, сидел староватый подросток.

— Иван Иванович?! — удивился Фенко. — Ты снишься мне? Или на самом деле?

— На самом деле, — ответил Цивеленков.

Зверев пошевелился, и пружины кровати заскрежета-ли.

— Значит, пожар был тоже на самом деле?

— Тоже, — кивнул подбородком кассир.

— А я там чего?

Иван Иванович встал в золотое сеево света, влетавшее в комнату сквозь окно.

— Ты там прошел сквозь огонь и воду.

В голове у Фенка болело, и в пояснице болело, и где-то в ногах, и в руках. Но боль была не особенно сильной, с ней можно было о чем-нибудь думать, вести разговор и даже слегка улыбаться. Взглянув веселяющим взором на тощую, с проредью средь волосенок головку кассира, Зверев спросил:

— Не целу ли ночь меня караулил?

— Попеременно, с правого ока на левое.

— Как? Как?

— Одним глазком караулил, вторым — почивал.

Фенко коснулся рукой до неуклюжей и толстой от многих бинтов головы:

— Это кто меня так? Фельдшерица?

— Не. Она в отпуску. Я постарался. Ведь было такое, что крайчик войны прихватил. А был я там санитаром. С такими, как ты, часто дело имел.

Говорил Иван Иванович с горькой печалью, с обреченностью и виной, потому что, кроме заботы о Фенке, пала на сердце ему незадача с конторой, сгоревшей от плитки, которую он вчера почему-то не выключил из сети.

— Посадить не посадят, однако платить заставят, — сказал.

Изумился Фенко:

— За что?

— За контору.

— А ты тут при чем?

— Вчерася я уходил последним. А перед этим пил чай...

Понял Зверев, какая беда свалилась на слабые плечи Цивеленкова. Понял и ощутил, как обнаженно раскрылось сердце и, разметнувшись по всей груди, заскорбело

и застрадало, словно к нему прикоснулось чужое горе. А может, и не чужое? Может, свое?

В полуую форточку проникали сентябрьская волглость вскопанных гряд, мычанье телянка и жаркий галдеж ребятни, ретиво спорившей о футболе.

— Поди-ко лучше домой! — потребовал Фенко. — Не такой уж я хворый, чтобы за мною ходить.

Цивеленков не заставил просить себя дважды. Ушел. Но вскоре вместо него появилась Любаша с хозяйственной сумкой в руке, из которой она достала наполненный чаем розовый термос, кулечек конфет и большую белую булку.

— Папка послал, — сказала, задерживаясь глазами на перевязанной голове и длинном, в частых метинках от опилок болезненно-сером лице со сгоревшими на пожаре бровями.

— В обед горячего принесу, — добавила с кроткой заботой и повернулась, плеснув косыми складками легкого платья.

Отодрав недужную голову от подушки, Фенко уставился взглядом в барачную дверь, в которую только что вышла Любаша. Стук каблучков раздавался где-то в конце коридора. Зверев рассеяннo заморгал. Любаши не было с ним, а он ее видел. Видел руки с сухими и острыми локотками, юное, в пылком румянце лицо и пронзительно-светлые, совершенно не строгие, без морозца глаза, в которых теплилась растерянная улыбка.

КОЛЕСОМ ДОРОГА

Словно от водополицы, вскарабкались избы Сараихи на бровку угора, укрепились там и стоят, бахвалясь наличниками и князьками. Половина изб крашена, половина обшита вагонкой. Лишь один пятистенок как бы плачется своей беднотой: бревна под окнами повылезали наружу, на тесовых скатах цветет бурый мох.

Живет здесь бригадирша Галина, расторопная старая дева, про которую говорят: «У нашей Галины все на виду: голова с поклоном, язык с приговором, ноги с выходкой».

В избе у Галины хоть шаром покати. Только и есть, что русская печь, стол, продольница-лавка да перетянутый железными лентами красный сундук, который служит и гардеробом и койкой. На стене в черных рамках с бумажными розами — три пожелтевших фотопортрета. В середине — Галинин отец: горбоносый, с жестким взглядом прищуренных глаз и нависшими дремуче бровями. Справа — мать, вся в нечаянном удивлении, будто ей сказали веселую новость. Слева — Миша, Галинин жених, с черной челкой, упавшей на глаз, и проказливой полуулыбкой, с какой смешат на вечерках девок.

Тридцать лет как следят они за Галиной и не вымолвят ни словечка, точно все, что она ни делает, было, есть и будет неосудимо. «Чьи хоромы, того и правда», — говорят их немые взгляды. А на что она ей, для чего эта правда?

Укатило вдаль то заветное время, когда была она молодой, с лицом белым, как мытая репка, и мечтала каждое утро встречать веселой хозяйкой — подоить во дворе корову, завтрак мужу сготовить, а потом вместе с ним на виду у народа пойти на работу, он куда-нибудь на строительство, а она на колхозную ферму. Не сбылось. Не ладонью судьба погладила.

Зазвенел, словно пуговики рассыпая, горластый будильник. Опоздал. Даже сильно устав, вставала Галина рано. Такова бригадирская должность: надо успеть до солнышка разнести по деревне наряды. Наряд на отвозку навоза. Наряд на паковку тресты. Большинство выслушивало ее с вниманием. Но были и спорщики, которым казалось, что их специально наделяют невыгодным делом. Такие в слепом раздражении поднимали голос до крика. Да только ли до крика? Сторож Кукушкин однажды навозным заступом замахнулся. Галина смолчала. И хотя

скуластое лицо ее выражало насмешку и удивление, в груди от жестокой обиды все стонало и ныло.

— При твоей работе надо сердце иметь с овин, — говорили Галине.

— Сердца моего на всех хватит, — отвечала Галина, и непонятно было: то ли она сокрушалась, то ли подсмеивалась над кем.

Станным становилось ее лицо. Углы тонких губ и сухие морщинки над ними выражали готовность, кроме старых печалей, принять и новые на себя. Зато взгляд, пересмешливый, резкий, отдававший припрятанной тайной, как бы смело подсказывал: «А ведь я удалая! И жалеть себя никому не позволю!»

Галина сняла с гвоздя телогрейку и вышла во двор. На ступенях крыльца стлались волокна тумана. Там, за мглистой рекой и желтеющим лугом, осторожно и тихо вставала заря.

Раскидавшийся по вершинкам травы тенетник был похож на веющий розовой влагой невод. Пахло мокрой соломой и огурцами. Из-за хвойных вершин, кинжально сверкая, брызнул тоненький луч. Он промчался по лугу, засветил берега и, съедая росу, побежал огородами к баням. Вслед за ним размашистым клином потянулась в важном молчании стая северных птиц.

Загляделась на них Галина, робкой завистью замлела душа, точно встретилась памятью с возможным и редкостным счастьем, которое из прошлого не приходит.

— Колесом дорога... — шепнула она журавлям.

На верхнем порядке, задыхаясь жирным баском, зашумел заведенный трактор. Это Коля Синицын, задавала и девушник, готовит машину к рейсу. Повезет волокно. И Галина с ним. Волокно от того еще года, и сдавать его надо умеючи, чтобы рубль не сошел за полтину, а полтина за гривенник. К Коле кто-то подстал. Вася Дудин, похоже.

— С кем, Миколка, поедешь?

— Да с ягодой, с кем еще.

— А сколько ягоде лет?

— Сорок семь...

— Будь ты проклят, Миколка! Горька твоя ягода. Не позавидуешь!

«Вот они молодцы-размолодчики, — удивляется с грустью Галина, — даром что язычки-то молоденьки — островатенько жают». Свернув с травяного проулка, она выходит к почте, подле которой тарахтит «Беларусь». Глаза Галины скользят по верху тележки, ищут, где какая неаккуратность, находят и от этого закипают смолой.

— Ты что, Коля, так увязал-то! Дождь нападет — всю волокнинку замочит!

Коля одет в зеленую куртку из замши. Потирает ладони.

— А дождя-то, Галина Ивановна, сегодня не будет. В густом, крепком Колином голосе слышится рассудительность дошлого парня, норовящего показать самостоятельность и культурность. — Я в барометр смотрел, — добавляет с улыбкой.

Галина проверяет в кармане деньги. Их немало — триста рублей. На деньги эти да на выручку с волокна купит она в райцентре три телевизора — таков наказ председателя. Решено отметить подарками лучших людей.

Коля роется под сиденьем.

— Куда, Галина Ивановна, сядете: в кабину или в тележку?

Спрашивает учтиво и хочет, чтобы она забралась на воз, потому что соседствовать с ней не очень-то любо: будет опять про жизнь толковать да про всякие планы.

— Правда, в кабине грязи навалом.

Бригадирша смотрит на Колю так, что улыбка сползает с его лица. «Неужто почуяла мой намек?» — думает Коля и сочно краснеет.

— Буде, можно соломки взять? — предлагает. — Сбегать, а, Галина Ивановна? — А сам готов услышать отказ.

— Обязательно, Коля!

Коля уныло плетется в сторону фермы, до которой почти полверсты. «Ну да я! — ругает себя. — Сунулся, ровно мышь. Да и она-то тоже! Совесть нет».

— Ладно, Коля, — доносится до него, — побереги свои ноги. Я в тележке устроюсь.

Галина уже на воз забралась, уткнула промеж коленей полы длинного платья, как с крылечка ближней избы, путаясь в лямках вещевого, сбежала доярка Павла.

— Постой, Колюшка! — кричит. — Меня с собой хоть прихватишь! Вот хорошо!

Коля важно кивает в сторону воза:

— Как начальство посмотрит. Мне что?

— Чу-ко? — оторопела доярка, поймав на себе насмешливый взгляд Галины. Начала исподволь, переходя с низшей ноты на высшую. — Чего мне... Чего мне, Галина Ивановна, нельзя и в город податься? Али я доярка, дак услужения мне никакова?! Парень третью неделю в первый класс ходит, а ни портфельчика для него, ни букварика. Когда я в другой-то раз соберусь? Не будет времени никогда!

— Но, Павла, так же нельзя! — упрекает Галина. — Вот ты уедешь теперь, а кто обрядит твоих коров! Али им недоемым остаться? Не дело ведь это...

Павла скидывает с плеч вещевик.

— Тебе, Галина, смело рассуждать! Семеро по лавкам не скачут. Знай живи на себя!

Галине обидно слышать такое. Но, поборов обиду, она говорит:

— Ни в какой город ты не уедешь. Ступай-ко давай на ферму. А портфель да букварь не тяжело, чай, и мне купить. Вечером занесу. Поди, Павла, поди от греха...

Галина хотела еще чего-то сказать, но Коля уже надал на педаль, и трактор с грохотом ринулся с места.

У колхозной конторы Коля издали разглядел девочек-практиканток. Захотелось понравиться им. Высунул голову из кабины, придав лицу небрежное выражение, какое, считал, больше всего подходит ему. Нога, нажимая на газ, дошла до самого низу. Навстречу бежали два ряда изб, телега с приплюснутым колесом и свалка жердей. Коля готов был прицять улыбки зависти и восторга. Но девочки весело щебетали и на него внимания не обратили. «Безмозглые тараторки!» — обругал про себя их Коля, и лицо его сделалось вялым.

За палисадником школы, красневшим кистями рябин, трактор резко убавил скорость. Подул неожиданный ветер, затревожил брезент и вершины деревьев. Зароптали, как заговорщики, листья. Свист пронёсся в ветвях. Грустный крик одинокой вороны.

Но Галина сейчас ощущала не звуки осеннего леса, а далекий ласковый смех, перебор красномехой минорки, топот конских копыт, игривое ржанье. Смытые давностью годы возвращали одну за другой картины минувших дней, за которые упрямо цеплялась Галинина память. Вот он, Миша, ее забавочка, кавалер, дружок и зазноба, долговязый, всегда веселый, с черной челкой, упавшей на глаз. Как он страшно летал на качелях! Как играл на звонкой минорке! Как лихо отплясывал на гулянках! Табунились за ним девчата, ревновали к Галине. А Галина сама в ту пору была первой среди сверстниц в деревне. Все в ней было свежо и пылко. Кровь бродила вином. Хоть кого могла отуманить. Только люб ей был разьединственный Миша — темнобровый молодчик с такой завлекательно-дерзкой улыбкой, что смотреть на него хотелось день и ночь напролет.

В то прощальное утро, когда уезжал на войну, он сказал:

— Не тоскуй обо мне. Я веселый. А веселых все пули стороной облетают. А чтобы меня не забыла, на... — И по-

дал маленькую, с поготовок, фотокарточку. Из глаз его па мгновенье плеснуло осенней печалью. Галина почувствовала, как у нее защемило в груди. Она растерянно улыбнулась, обхватила Мишину шею.

— Колесом дорога. С возвратом назад...

Шлепнулись о глину подковы коня, телега рванулась.

Галина явственно помнила, как Миша откинул со лба непокорную челку, растянул на груди гармонь и отчаянно вывел:

До чего стоит красиво
На росстáнях елочка!
Была долгая любовь,
Теперь вот остановочка...

Телега нырнула в лесок, голос Миши погас, затерялся в далеких березах, но Галине казалось, что он возвращается и летит ей навстречу, долго, долго казалось.

От тоски забывалась Галина в работе. Мешки не мешки, бревна не бревна — за все бралась с мужицкой сноровкой. Поступила на курсы механизаторов, закончила их и сразу стала проситься на трактор. Председатель просьбу уважил, но при этом сказал:

— Как робить-то будешь? Карасин был да сплыл. А купить его на какие шиши?..

Весна к той поре разгулялась вовсю. Пospела почва в полях, а солдатики, кляня свою участь, пахали — кто на лошади, кто на корове. Было горько смотреть на них. Для чего и курсы кончать, если трактор стоит в проулке как истукан.

Опять явилась Галина в контору.

— Завтра, Николай Ильич, в город подамся. Карасин — не печеный хлеб, всяко достану...

Сказала в надежде, что председатель расщедритя и даст с собой на обмен овощей или конского мяса. Напрасно всматривалась в сухое его лицо. Ни один мускул не дрогнул на нем, будто умерло оно в ту минуту.

— А лошадь-то, Николай Ильич, всяко можно? — сказала тоном, не допускавшим отказа.

— Нельзя, Галинка, — ответил участливо председатель. — Хоть Гордый, хоть Князь, хоть мой выездной — ни который не одолеет такого волока, обломает копыта, а то и подохнет.

— Но как же?

— Никак, Галинка, никак... Добро бы каб трактор-от был на ходу.

Галину будто кто со стула сорвал:

— А и будет!

В тот же день пошла пешком до районного центра. По дороге сбилась артель. Кто откуда, но у всех путь конечный — райцентр. Кто зачем туда шел: одни наниматься на лесозавод, вторые менять на одежду съестные припасы, третьи — в амбулаторию и больницу. У Галины в руке ведерная фляга, а на спине котомка с картошкой.

— На посторонние заработки? — спрашивают ее.

— Нет, — отвечает, — по карасин.

— Дак на ходьбу-то два дня потратишь?

— Не два, а один, — поясняет. — Обратную-то дорогу я и ночью пройду.

— Волков-то ай не боишься?

— А это на что! — показывает перочинный маленький нож, которым когда-то чинила карандаши.

— Господи?! Руководство с ума посходило!

— А руководство-то ни при чем! Я сама по доброй воле пошла. И ходить буду!

— До каких это пор?

— До таких, пока не управимся с севом.

Волок долгий. Над ним тяжелело серое небо. Дорога вся в кривороинах да бугринах. Тупая усталость проникла в тело.

А тут еще дождь, моросный, зябкий.

Приуныли, примолкли путницы, разговоры будто водой унесло.

Галина вспомнила Мишу — и словно кто-то большой

и добрый отшел от нее печаль и усталость. Она не заметила, как голос ее зазвучал, выводя за собой припевку:

Ты, Германия, Германия,
Германская война,
Ты оставила, Германия,
Без дролечки меня...

Начала тихо, а как увидела, что попутчицы обернулись на нее и вроде бы взволновались, затянула покруче:

На германскую границу
Я поставлю елочку,
Чтобы гитлеровские банды
Не убили дролечку...

Бабы и девки концами платков завытирали глаза. То же небось завспоминали своих мужей и дружочков. Где-то они теперь?

Голос Галины окреп и широко разливался вокруг:

Я батистовый платок
Не буду оповязывать,
Пошлю милому в окопы
Раны перевязывать...

До конца пути слушали путницы ее пение, забыли и про усталость, и про грузные кузовки, не заметили, как показались дома райцентра.

— А картофельку-то на что будешь выменивать? Поди, на баские туфельки? — спросили Галину.

— Ну вот еще! — обиделась она. — Я ведь вам говорила — на карасин. Так что туфельки тут ни при чем.

— А картофелька ай колхозная?

— Да нет, — засмушалась Галина. — Колхозную-то еще зимой всю приели. А это наша, домашняя.

...Сквозь клочья клубящейся пыли смотрит Галина в небесную синь. Солнце завязло где-то в лесу, оттого прогалы между стволами похожи на печи, высокие узкие пе-

чи, в которых плавится желтая медь. Пахнет мокрой кожей осины.

Минувшее снова рвется навстречу, вызывая в душе Галины прилив нежной грусти. Она видит себя на дороге с тяжелой флягой, наполненной керосином. Видит, как движется по полю трактор, как пахнет она, ощущая спиной и затылком благодарные бабьи взгляды, в которых и зависть к ее молодому здоровью, и изумление, и мольба: больше, как можно больше вспахать этой глинистой твердой земли. Но керосину хватило только на смену.

Вновь и вновь уходила Галина пешком в райцентр, забирая с собой котомку с картошкой. Но теперь на обратном пути ее стали встречать: кто на третьей версте, кто на пятой. А председатель колхоза, по-прежнему жалея кривых коней, отправился как-то навстречу ей на езжалом быке. И с собой захватил письмо, которое поступило на имя Галины.

— От Мишеньки! — обрадовалась Галина, но тут же встревожилась, заметив, что почерк чужой.

Торопливо распечатала конверт, пробежала глазами первые строчки — и все потемнело вокруг.

— У-би-и-ли!.. — вырвался крик из ее груди.

Не успело первое горе зажить, как пришло второе, а там и третье: от ран в тыловом лазарете помер Галинин отец, а через две недели она лишилась и матери, которая не перенесла горестной вести и истаяла как свеча. Одна-одинешенька осталась Галина, не к кому голову приклонить.

...Рокот трактора возвращает Галину в сегодняшний день. «Да, прошлого не воротить, от будущего не отвернешь...»

Неожиданно взгляд ее схватывает одинокую старую сухую ольху. Оранжевой раной блестит на солнце глубокий подруб. «Среди лесу, а одна-одинехонька, — думает грустно Галина. — Вот и я так же: одной головой смеюсь, одной головой и плачу, и такой же подрубышек на сердце...»

Коля остановил с маху трактор, выкупав в пыли низенькую старушку, сиротливо стоящую возле капавы.

— Куда, бабка, в город?

— Посади, паренек, посади!

Галина приняла у старушки берестяной короб.

— Побережней только, поаккуратней. Там яички, расколоть нехитро...

Забравшись, старушка осмотрелась вокруг, отмяла для удобства ямку в брезенте, заглянула в короб:

— Тут у меня и любовинка* и сало. Пользуюсь, покуда в лавках-то пусто. В драку берут. Даже до рынка не всегда дохожу. Раскупают прямо на улице. Я и то вот теперь прикидываю: уж не трех ли свиней завести? С мяском-то долго еще недохватки будут?

— Всяко последний год, — сказала Галина. — В колхозах теперь за животноводством пуще следят. Примени хотя бы к нашей «Заре»: скоро на бойню гурта погоним, а каждый бычок небось по триста пятьдесят килограмм.

— Эвоно что... — приуныла старушка. — Как опять жить-то станем?

— Да лучше, — улыbnулась Галина. — Жизнь взяла поворот в хорошую сторону.

Старушка неожиданно рассердилась:

— Не знаю, не знаю, когда солнышко вспрянет над нашими головами...

Уныло и глухо текла с языка старухи ворчливая речь, и было в ней много правды, однако не той, которая выпрямляет и делает человека чище, а той, что пригибает к земле, побуждая видеть только плохое.

— Как зовут-то тебя? — спросила Галина.

— Олександрой.

— Так вот, Олександра, погоди говорить, — сказала Галина. — Посмотри сначала, что будет завтра.

Последние версты они ехали молча. Уже стали попадаться строения, когда Галину будто кто подтолкнул в по-

* Люб о в и н к а — отборное мясо.

ясницу. Обернулась. Вьется синяя змейка, выползая из волокна.

— Э-ей! — закричала она. — Миколка, чай, искру заронил... Мико-о-ол!

Но тракторный лязг заглушил ее голос. И тогда Галина рванулась к жиденькой змейке. Отогнула брезент, и в лицо хлестнуло клочьями дыма. По локоть засунула руку, но тотчас выдернула обратно, почувствовав, что сердце зашлось от злого ожога. Огонь брызнул вверх. Галина прикрыла его своим телом и лежала до тех пор, пока жаром не опалило всю грудь.

— Ватник сымай! — приказала старушке. — Вдвоем-то всяко утушим!

— Поняси леший! — завизжала та. — Куда и села?

Она сбросила на дорогу короб и следом за ним перевернулась за борт тележки.

А Галина осталась. Пропадет ведь столько добра! Неужели она ему даст погибнуть? Да нет! Никогда! Она топтала огонь ногами, била ватником, колотила горящие клочки.

Галина не помнила, как кто-то растерянно крикнул, как сухо скрипнули тормоза, как проворные Колины руки стащили ее на землю. Она очнулась, когда на нее полилась вода.

Перед глазами — какие-то мужики, мальчик с пузатенькой репкой. Коля... Боль была сплошной и рвала ее тело на части. Галина вдруг ощутила себя навсегда-навсегда нездешней. Обострившимся чувством схватила, что случилось что-то страшное, непоправимое, как судьба.

— Как волоконце? — спросила она через боль, которая уже не имела значения.

— Утушил, Галина Ивановна, — тихо промолвил Коля, и голос его показался ей незнакомым. — Пришлось тележку-то опрокинуть.

— А куфайка моя... Где она?

— Тут, — сказал растерявшийся Коля и поднял с земли груды тлеющих тряпок.

— В ней ведь триста рублей. Вынь-ка, вынь их скорей. Деньги они, чай, колхозные...

Покидали силы Галину. Она вздыхала редко и тяжело. Закрыла глаза и увидела себя такой юной и легонькой, какой можно увидеть только во сне. Идет она в ситцевом платье, а рядом с ней ее суженый — Миша. «Теперь-то я с ним никогда не расстанусь. Пойдем рядышком по одной дороге. Колесом нам дорога...»

— Галина Ивановна, — дошел до нее Колин голос. — Сейчас «скорая помощь» придет. Вылечит вас...

У Галины Ивановны не было сил возражать.

— Коля, милой, — только она и сказала.

Но никто ее не услышал.

Она ощущала себя плывущей в осеннем желтом просторе. Но вот простор оборвался, и на нее надвинулась мгла. «Что-то там будет? Что?»

Ветер дул беспрерывно и резко. Гнулся желтый вершинник. Меж крестов, бугорков и оградок кружились падальцы-листья.

На краю деревенского кладбища темнел под тумбочкой маленький холмик. Хоронили Галину Ивановну всей деревней. Хоронили вчера. А сегодня Коля Синицын снова пришел на могилу. С той самой минуты, как случилось несчастье, с души его не спадал тяжелый осадок.

От желтого листопада, от свиста ветра в ветвях, от крестов и кладбищенских светлых оградок становилось Синицыну очень тревожно. Боязливо взглянул на тумбочку. На топорной затеске ее, под стеклом — фотокарточка бригадирши. Галина смотрела на Колю вызывающе бодрой улыбкой. В улыбке этой прочитывалось ему: «Не надо сочувствовать мне: я этого не желаю».

Возвращаясь обратно в деревню, Синицын спрашивал у себя: «Мог бы я так, как она?» И страшно мучился от того, что не умел на это ответить.

КРИВАЯ СТРЕЛА

Старые елки, столовая на полах, дом-курилка с железной трубой и большая, на козлах, цистерна стоят при развилке трех зимних дорог. Одна дорога уходит к дальним полянкам, вторая — к скатищам нижнего склада, третья — к поселку Митинский Мост.

Запах снега и хвои перебивается запахом кухни. Запах такой, что, кажется, кто-то сейчас объявит: «Здесь кормят каждого, кто голоден! Пожалуйста, заходите!»

По толстым осиновым плахам заходят одетые в ватники лесорубы. Длинный стол, две скамьи. Притомленные, с паром от скинутых рукавиц, прижимаются грудью к столу рабочие нижнего склада. Тут раскряжевщики. Тут машинисты лебедок. Тут подкатчики бревен. Тут трактористы. Кто в шапке сидит. Кто без шапки.

— Добавь-ко, Настасья! — слышится то и дело.

Настасья с зарей на щеках от горячей плиты, в белом халате и белом платке старается всем и во всем угодить. Сколько рук у нее? Поглядеть — не поверишь, что две. Так споро она успевает пройтись с уполовником подле мисок, наливая туда капустные щи, и хлеба нарезать ножом-автоматом на толстой доске, и второе вовремя снять с раскаленной плиты, и компот поднести. Хорошо Настасье среди лесорубов, словно матери возле детей. Каждого рада попотчевать доброй едой и приветливым словом:

— Ешьте, ребяташки, вдосыть, чтобы работа давалась шутя!

Настасье хотелось, чтоб дверь в ее густо пропахшую щами и кашей столовку пела скрипучими петлями целый день, пока она тут кашеварит, ставит на стол, убирает и моет посуду. Но едоки у нее сидят не подолгу. Каждый привязан к работе. Запьют горячую кашу морсом или компотом — и благодарствуем, ждите нас завтра. Настасье приятно, даже когда к ней приходит мастер

Рогоулин, неразговорчивый, лысенький человек, посидит, пороется в кирзовой сумке, достанет оттуда стопу нарядов, попишет в них что-то свое и, не сказав ничего, незаметно уйдет, оставив после себя слабый шорох бумажных листочков. Без бряканья ложек, без голосов, без шороха тихих листочков ей становилось не по себе.

Ее огорчало не то, что она прожила век безмужней. Не то, что была некрасива лицом. Не то, что мужчины в нее никогда не влюблялись, хотя один из них все-таки был ей двухмесячным мужем, и от него у нее появился сынок. А то, что сынок ее Коля, кого она так берегла, так ходила за ним, так его тешила и ласкала, только-только вступил в настоящую взрослую жизнь — и погиб.

Пять лет прошло с той поры, и все это время Настасья боится остаться одна. И дом в деревне, где с сыном жила, продала специально, чтобы поменьше ее угнетала тоска. Но и в поселке, переселившись в квартиру барака, она каждый раз, возвращаясь с работы, входила в жилое с пугливой душой, словно там, за обитой кнопками дверью, сидел с папиросочкой перед печью вернувшийся к ней из какого-то жуткого места ее смертельно уставший сынок. Чтобы как-то себя обесстрашить, на полную громкость включала динамик. Голос радио разом глушил беспричинный испуг. Настасья даже слегка веселела и становилась способной делать чего-нибудь по хозяйству, разговаривая при этом, будто рядом с ней был живой человек. Так и вели меж собою двойную беседу; динамик — свою, и Настасья — свою, не вникая в то, о чем и чего говорит по отдельности каждый. Выключала Настасья радио лишь тогда, когда к ней прибегали соседские дети. Как старалась она им потрафить! Не чинила запретов ни в чем. Берите яблоки и конфеты! Скажите, как козлики, через стулья! Пойте песни и хохочите! Всем пыталась завлечь ребятишек, лишь бы с нею подольше они посидели, не покидали ее.

Не могла без людей Настасья ни дома, ни на работе. За последний год столовку чаще других навещала десят-

ница Вера. В Митинский Мост приехала Вера в прошлом году. Вскоре стала работать приемщицей леса. Вскоре и свадьбу свою отгуляла. Была она юной, настолько юной, что верилось, будто и замуж затем поспешила, чтобы немножечко повзрослеть. Муж у Веры — шофер. Возит орсовский груз.

Поглядывая на Веру, на ее симпатичное, чему-то тихо ликующее лицо, на деревянный с крючком и черными цифрами метр, с которым она врывалась с мороза в столовку, Настасья вздыхала: «Могла бы невесткой мне быть...»

Сегодня Вера в столовку вошла осторожно и робко, точно чего-то остерегаясь. Волосы в белых морозных колечках, губы дрожат, взгляд какой-то туманный. «Вся перезябла», — решила Настасья, ибо машины шли к эстакадам нижнего склада безостановочно друг за другом, и Вере пришлось поохотиться с метром за каждым хлыстом, тут же розовым мелом пятная на них свои метки и голый рукой на холодном ветру заноса в кубатурную книжку цифру за цифрой.

«А может, чего такое ей мужички сказанули? Эка молоденька — долго ли огрубить?!» — подумала повариха, зная, что Вера, приняв древесину, обычно идет в дом-курилку — сделать подсчет привезенных хлыстов. В курилке же этой вечно кто-либо сидит, жарко и тесно, надымлено до угара и слышится крепенький разговор.

Настасья еще раз взглянула на Веру. Та неловко при-ткнулась к столу, распахнув полушубок и полушалок. В слабой шее ее, горловой белой ямке, широко раскрытых глазах и лице с нежным выступом скул ощущалась не только хрупкая красота, а еще и незащищенность, какую старалась она утаить, но выражение горько опущенных губ выдавало ее настроение. Настасья, чувствуя сердцем чужую беду, спросила с заботой:

— Чего это, Веронька, у тебя седни личико не такое? Ровно его со вдовой обменяла?

Взмахнула Вера ресницами, заливая Настасью взгля-

дом недавно плакавших глаз. Взглянула, словно проверила: та ли женщина перед ней, кому довериться можно в самом секретном? «Та!» — поняла, разглядев в окружении дряблых морщинок бусые, выцветшие глаза, глаза участливой женщины, притерпевшейся к давней печали.

— Не знаю, как и чего, — ответила Вера. — Боюсь за себя! И за маленького боюсь!

Удивилась Настасья:

— Маленький-то откуда? Ай! — догадалась, обняв глазами скрытый полой полушубка Верин живот. — Глупо, девушка! Тут не бояться — тут радоваться да ждать! Это же счастье! Твой ну-ко собственной человечек!

— Тетка Настасья, ты добрая! Да только Борю-то моего на жалость не склонишь. Как он сказал, так и будет. Иначе — развод.

Взгляд Настасьин, и так-то тусклый, еще более потускнел.

— Ребяточка, что ли, не хочет?

— Не хочет, тетка. Мол, надо с маленьким погодить, с ним, мокроштанником, будет сплошная бессонница да забота. Велит, покуда беременность небольшая, ехать в город, в эту больницу. Чтоб от ребеночка опростаться.

— А ты?

— Ни в какую!

— Так и не езд.

— А Боря?

— Что Боря?

— Уйдет от меня. Он такой. Ой, поди-ко, нельзя не ехать. Страшно мне, тетка Настасья.

— Страшно-то, Вера, не это.

— А что?

Настасья подвинулась к двери, открыла ее. Лицо, окупившись в утренний свет, тут же торжественно загрустило. Она услышала хвойную песню, какую ей пел старый ельник, неся свое эхо от горизонта и здесь превращая его в глухие напевы, к которым прислушивалась душа,

узнавая в них быть и небыль. Настасья захлопнула дверь. В повороте ее головы было что-то суровое и волевое.

— Страшно, когда тебе не для кого стараться! — И, помолчав, прибавила поучая: — Человеку дни выданы не для страха. — Вздохнула, задумавшись круто не только о Вере с ее неродившимся человечком, а обо всех матерях, кто в угоду жизни без лишних детей добровольно себя отдает на жестокие пытки. — На смерть посылать его — сама худая статья.

Личико Веры подраггорелось, иней растаял в ее волосах и влажно блестел, похожий на мелкие слезы.

— На словах-то, тетка Настасья, можно сказать хоть того красивей! А на деле?

— Было дело и у меня. — Настасья стояла, опершись рукой о гладкую кромку стола, большая и рыхлая, с вялым лицом, повитым дряблостью и печалью. Видела Вера, как в длинных щеках ее прорезались сухие морщины. Морщин этих не было раньше, и вот они вышли, как выражение старого горя.

— Было? — Вера прошлась ладошкой по волосам, снимая с них щекотавшую влагу мороза.

— Да, — подтвердила Настасья. — У тебя младенчика-то чего? Еще нет, а на жизнь его повернуло. А у меня, хоть и был он, и был даже больно большой, а от жизни, как по высокой воде сухое бревнышко, утащило.

Заволновалась десятница, не заметила, как поднесла указательный палец к губам, прикусила его точь-в-точь девочка-недоростыш. На нее накатило дыханием сильной беды, какая случилась не с ней, и все равно ее поразила.

— Тетка Настасья, я ведь не знала! Да как это вышло-то у тебя?

— Глупо вышло. Ноне Коле-то моему, каб не тот темный вечер, было бы двадцать пять, столько же, сколько твоему Бориску. В клуб пошел паренек-от мой. Приоделся во что красивее. Жили-то мы тогда не в поселке — в деревне Нелюбино, через поле. Идет, значит, он. А за ним увязался кот Мартик. Тот часто его прово-

жал за деревню. А тут еще дале пошел. Ступают на пару, как брателко с братом. Кот то об Колину ногу потрется, то вперед забежит, вроде бы как закрывает ему дорогу. Возле бараков, как поле-то сын мой пройди, на него с батогами и налетели.

— Вот он! — кричат.

Повернуться бы Коле вправо, на электрический свет от окон, был бы жив и теперь, а он влево, в темное повернул. Нож-то под ребра и угодил. Парни хлещут его батогами. Откуда-то девки взялись, и бабы, и старики. Кто стонет, кто крестится, кто унимает. Тут фонариком кто-то Колю и освети. Да на весь-то поселок слезным голосом:

— Не тот, робята! Не Виська! Не он!

Был-от Коленька мой смирённый-смирённый. По ошибке, значит, его. Кривая стрела. Метил в одного, да попала в другого. Приняли, стало быть, за углана *. Был такой у нас Виська Облузин, с малолетства из тюрем не вылезал. А попадал все туда за гадости да за драки. Чуть малёшенько подопьет — тут и жди от него какой пако-стишки. В последний-то раз глаза свои гадские насветил на чужую невесту. Уследил, что ночует она в сеновале. Ночью туда и залез. Снасильничал будто поганец. На-завтра узнал об этом весь Митинский Мост. Вот тут и решили ребята поганцу здоровьишка поубавить. Да немного поторопились. Вышло так, будто ими нечистый руководил. Коленька мой за Виську-то, змия, попался.

Побледнела Вера. Больно ей за тетку Настасью. Больно и непонятно.

— А кто убил-то его? Нашли?

— Был тут следователь. Искал. Да только ему ничего не сказали.

— А все-таки кто? — загорелась Вера, так вся и уйдя глазами в лицо Настасьи.

Посуровела повариха:

* Углан — шпана.

— Не надо тебе это знать.

— Не надо?!

— Кто сына моего прикончил, — сказала Настасья, — тот виновен, да не настолько, чтоб гноить его за решеткой. По мне довольно одной потери. Вторая потеря мне бы Колю не возвратила, а нового горя дала бы в излишке, и я могла бы не устоять.

Вера почувствовала себя какой-то маленькой, глупой и неприятной. Горе ее по сравнению с горем Настасьи было ничтожным. Она посмотрела на повариху, как та, сугорбя рыхлые плечи, прошла к плите, встала одной ногой на колено, швырнула полешко в огонь. «Как живет-то она? — подивилась Вера. — С такой зарубиной на душе? Ой как худо ей! А гляди, не выкажет горечка никому. Да и выглядит эдакой бодрой. А у кого что стрясись — готова еще и утешить. Откуда в ней это?» — думала Вера. И приходила к мысли, что, видимо, это от вечной русской привычки раскрывать свое сердце для каждого, кому плохо и тяжело, кто расстроен и болен или не знает, как дальше жить. И вдруг молодухе открылось: Настасья ей для того и рассказывала о сыне, чтоб укрепить в ней, неопытной, слабой и глупой, веру в счастливое материнство. Подступила к горлу сладкая дрожь, перехватила дыхание на секунду. «Никуда не поеду! — решила Вера, и ресницы ее задрожали от проблеснувших в них радостных слез. — Ну ее к демону, эту больницу! Мой малыш будет жить!»

И все-таки к дому Вера ступала с какой-то неясной тревогой. Волей-неволей думала о себе. Чего она видела в жизни? Да то же самое, что и все, кто, как она, закончив в родном городке учебу, едет с дипломом техника в лесопункт. А в лесопункте — работа. Не мастером — молода и характером слабовата, десятником нижнего склада определило ее начальство. Работа простая. Знай залезай на площадки машин, к пахнущим терпкой смолой еловым комлям, зацепляй их линейкой, смотри на отсчет и записывай в книжку. Кроме работы, не знает

Вера, чего ей и вспомнить. Разве замужество с Борей. Счастлива ли она? Покуда Вера не разберется. Замуж вышла как с перепугу. А перепуг оттого, что была она девушкой видной, и стоило ей появиться раз в клубе, как среди парней моментально возник раздраженный шумок, словно делили ее, решая на спор, кому с десятиницей лучше пройтись. Многие парни в ней разглядели ту самую, с кем бы хотели связать свою жизнь. Она же выделила Бориса. Привлекли ее в нем широкие плечи, синие пристальные глаза и лицо с выражением твердости и упорства.

Ночные прогулки, свадьба, семейная жизнь запомнились ей как один затянувшийся день, в котором все было слаженно и спокойно. Однако спокойствие кончилось. Это случилось вчера. С изумлением и боязнью учуяла Вера в себе трепыханье еще одной жизни. Значит, она тяжелеет! Значит, под сердцем — родное дитя. Странно смущаясь, сказала об этом Борису. Полагала: он будет рад. Но муж огорчился.

Целый вечер она страдала, слушая, как Борис монотонно внушал, что ребенок сейчас преждевременен, свяжет заботами по рукам и что лучше Вере не мешкая съездить в больницу.

Это молодку сейчас и пугало. Что она скажет Борису? Где отыщет слова, какими можно сломать в нем худое упрямство?

Над поселком ползли вечеревшие тучи. До ночи еще далеко, а серая мгла сдавила Митинский Мост. То тут, то там замелькали огни, осеняя крестами от рам глубокие снежные огороды. Провизжал за забором в хлеву молодой поросенок. Бухнул валенок о порог. От трубы отемнелой косицей пошел развиваться распластаный дым. Жизнь продолжалась и здесь, несмотря на холод и снег, скучный лес и давившее на дома и бараки глухие потемки.

Вспомнила Вера, что Митинский Мост был для нее когда-то настолько чужим, неприветливым и ненужным,

что она настрочила домой письмо, убеждая свою никогда не болевшую мать выслать справку о ложной болезни, которая, дескать, ее привязала к постели, и потому за ней требуется уход. То было год с небольшим назад. Теперь поселок как бы сменил чужое лицо на лицо знакомое, где-то даже и дорогое, и Вере было приятно, что нету в пей прежней тоски, привыкла к работе и знает многих людей, с кем любит здороваться каждое утро. «С людьми хорошо — так с мужем худенько? — маялась Вера в своих передумьях. — И чего он такой? Ведь не пень. Должен понять, что нельзя мне в эту больницу. Не выдержу я...»

Борис уже ждал. Он даже ужин сам приготовил. Впрочем, он делал за Веру не только ужин — стирал и гладил белье, мыл полы, ходил в магазин. Много было заложено в нем от просужей хозяйки, любившей в квартире порядок и чистоту.

Он сидел за столом в шерстяном спортивном трико, обтянувшем его мускулистое тело. Пальцы рук, плясавшие на груди, тонкогубое с правильным носом лицо, блеск внимательных глаз, наблюдавших с улыбкой за Верой, — все в нем как бы шутя, но и с достоинством говорило: «Вот я какой у тебя! Настоящий хозяин! Где такого еще найдешь?!»

Умывшись, Вера уселась за стол. Вздохнула с чувством забитой хозяйки, которой скажут сейчас неприятность. Однако Борис был корректен. Сам поел. Дал и Вере поесть. И лишь после того, как она взялась убирать со стола, серьезно и требующе сказал:

— Едешь завтра. С Третьяковым договорился, — называл начальника лесопункта. — На три дня отпускает. Увезу тебя сам. Так и так мне по орсовские консервы.

Ознобило Веру в висок. Она покосилась на дверь, откуда так остро и холодно кинуло стужей. Но дверь была плотно закрыта.

— Боюсь,

По тонким губам Бориса скользнула коротенькая усмешка:

— Другие вон раз — и в дамках! А ты?

Чашка вывалилась из Вериных рук и, хрупнув отколотой ручкой, покатилась вертком по столу. Почему-то глаза ее поймали вешалку возле порога, где поверх занавески торчала зимняя шапка, схватили и умывальник, зеркало на стене, полотенце для рук и недвижно сидевшего мужа, чье лицо неожиданно вызвало в Вере какую-то скользкую неприязнь.

— Не поеду. — Она побледнела: — Ты должен понять...

— Не дури, — недослушал Борис. — Как, не знаю, не понимаешь! Для тебя же будет потом хорошо. Что я враг тебе, что ли? Значит, завтра...

Собралась Вера с духом и тоже не стала дослушивать мужа.

— Скучный ты, Боря, — сказала, заставив себя хоть и слабо, но улыбнуться, — ну точненько дятел. Говоришь, как березу долбишь.

Удивился Борис.

— Потому и долблю, — объяснил, — чтобы было у нас все как надо. Надо сначала пожить на себя. Так что давай. Не упрямься. Дурехой не будь. Обойдется, как в точной аптеке.

Расстроилась Вера. Но неожиданно, как поддержка, на память пришла ей тетка Настасья.

— Человеку дни выданы не для страха, — заговорила ее словами. — На смерть посылать его — самая худая статья.

Брови Бориса сошлись:

— Угрожаешь?

— Предупреждаю.

— Сама придумала?

— Повариха.

Отшатнулся Борис на горбатую спинку стула. С минуту сидел, о чем-то мрачно соображая. За эту минуту

лицо его сузилось, потемнело, а лоб пропахала стая продольных морщин. Знал Борис за собой преступное дело. Был виновен в гибели сына Настасьи. Не ножом он его, а палкой. И хотя этих палок в тот вечер пало на голову парня немало, еще неизвестно, какая из них была самой смертельной. И повариха могла его обвинить так же, как и других, кто участвовал в этой свалке. Но она ни о ком ничего не сказала. Тогда не сказала. Выходит, сейчас?

— Душа моя не баранья, — сказал он, угрюмо уставясь в клеенку стола, — за дешевку ее не продам.

— Это о чем ты? — смутилась Вера.

Борис шевельнул головой, глаза резко вылили свет удивления и испуга.

— Разве тебе повариха не говорила, кто уколошил ее Николашу?

— Спятил, Боря! Об этом она сказала другое.

— Другое? — Борис сидел неподвижно и постно, точь-в-точь икона с суровым лицом.

— Она сказал, что это парни, а кто — конкретно не назвала.

Борис повернулся вместе со скрипнувшим стулом.

— Тогда ответь мне: кто и кого посылает на смерть? Так ведь сказала твоя повариха?

— Так.

— Ну так и кто?

— Кривая стрела, — снова ответила Вера словами Настасьи. — Метить в дите, а ударишь в себя.

— Фу ты черт! Фу ты! Я думал, ты говоришь о Настасьином сыне, — промолвил Борис, отпуская тяжелый выдох, а вместе с ним и миготный испуг. Но Вера-то видела: муж встревожен, и дикая мысль о чем-то неправильно-нехорошем билась в его голове, как беда, с которой, возможно, он и не сладит.

— Чего уж теперь говорить о Настасьином сыне. Его не вернешь. Говорю о нашем...

Борис неотчетливо понимал, что сейчас толковала ему супруга. В заболевшей груди его то сжималось, то раз-

жималось. Казалось, там сшиблись друг с другом жестокость и жалость, и примешались к ним где-то сбоку надежда и страх, и было ясно ему, что сегодняшней ночью он не заснет, потому что будет судить его совесть. Совесть сына Настасьи, которого нет. И совесть ребеночка Веры, который, кажется, будет.

Свет потушен. Потемки в квартире. Потемки и там, за морозным окном, где текла, освещая себя слепыми снегами, молодая январская ночь, и в ее губительно-жутком зените серебристой колючкой мерцала малютка-звезда — единственная из всех, что пыталась проникнуть взглядом в окно и узнать: почему же хозяева этой квартиры никак не могут сегодня заснуть?

Донимает Бориса мысль о жене: «Теперь она все обо мне узнаёт. Завтра же спросит тетку Настасью. И та ей расскажет. Конец. Была жена — и не станет. Уйдет. Или скажет, чтоб я уходил...»

И Вера терзает такая же мысль. Она задает себе страшный вопрос. Сотню раз задает: «Неужто и Боря увечил Настасьина сына? Если так, то и жить мне не с ним...»

Утром они уходили из дома, будто чужие. Не позавтракав, шли: Борис, направляясь в гараж, Вера — в столовую на полозьях.

Настасья нисколько не удивилась, когда дверь в столовую распахнулась и Вера, вся в белых ниточках от мороза, красиво-печальная, с горьким надломом губ и бровей прошла, прошуршав по скамье полой полушубка. Остановившись возле плиты, ослепила Настасью сырыми глазами:

— Думала все о сыне твоём. Кто его, тетк? Может, вместе с другими был там и Боря?

Настасья омыла лицо ладонью.

— Нет, — сказала с забившимся сердцем.

Не поверила Вера:

— Ты меня не жалеи!

— Нет! Нет! — повторила Настасья и ощутила в себе

усталость тысячелетней старухи. Усталость, какая к ней перешла от всех колен ее старшей родни, перед кем она стала навек виноватой, потому что не сберегла для потомков фамилию рода, которую мог бы продолжить ее сынок.

— Ты мне голую правду, тетка Настасья!

Повариха взглянула на Веру остуженными глазами и улыбнулась через усталость.

— Пустое, Вера. Не было там твоего Бориска. Ты мне лучше скажи, — показала на Верин живот. — Как дитя-то свое? Чего с ним решила?

— Буду рожать, — потупилась Вера и отвернулась к окну, забирая рассеянным взглядом бежущую крышу дома-курилки, цистерну на козлах, поленницу дров и бредущие в тихих сугробах старые елки, из прогала которых вдруг с перевальцей выполз опутанный инеем лесовоз. Схватив со стола деревянный с крючком и черными цифрами метр, Вера метнулась к порогу столовки. Бежала к машине с хлыстами, не зная того, что Настасья глядит ей вдогонку. Глядит глазами усталой старухи и, теща себя красивым обманом, видит в ней ласковую невестку, которая скоро подарит ей долгожданного внука.

ПЕРЕПРАВА

Николай Петрович почувствовал, как кожу на его голове стянуло узлом. В пятистенник входили три немца. Входили уверенно, весело, громко стучая сапогами и кладя автоматы на лавку. Брови Заводцева поднялись, когда в полусумерках кухни он разглядел вошедшего вслед за немцами Пашку, одноглазого мужика по прозвищу дядя Курва. Известен он был как мелкий воришка, умевший к себе прибирать все, что худо лежит. За промысел бит был не раз, сидел не однажды в тюрьме. В последнее время нигде не работал и спекулировал женским бельем.

Заводцев отвел от него глаза. Но Пашка протопал по белому полу, встал от хозяина в трех шагах — краснолицый и потный, с двумя ворохами волос, нависшими над висками.

— Брезгуешь мною? А, дя Коль?

Заводцев еще не знал, что означает повязка, белевшая на руке мужика, потому показал на нее:

— Это чего?

— Вроде признания, — Пашка погладил свою повязку, — что я особенный человек. Не дошло?

— Не дошло.

— При Советской власти, — продолжил Пашка, — что я имел? Позатыльники да пинки. А сейчас самому мне дадена власть над такими, как ты. Так что, дя Коль, советую жить со мной в дружбе.

— Им, что ли, служишь? — спросил Заводцев, переводя взгляд на немцев.

— Служу! И тебя заставляю!

Николай Петрович поморщился.

— Веришь в ихнюю, значит, победу?

Пашка снял со стены новую кепку, примерил ее на себя, посмотрелся в зеркало на комод.

— Советам теперь хана. Неделя, большее две, и немцы захватят Москву.

— Москау! Москау! — слегка оживились немцы и начали говорить быстро и суетливо, как если бы что-то делили между собой.

Взвизгнула дверь, и из горенки в кухню, сказав: «Добрый вечер!», вошла пятнадцатилетняя Люся. Была она беловолосой, с ямочками на щечках, как две капли воды похожая на покойную маму, погибшую месяц назад от разорвавшейся бомбы. Заводцев, встретясь с ее растерянным взглядом, затосковал. «Сидела бы лучше там», — запоздало подумал и отодвинулся вдоль скамьи, уступая девочке место.

— Уж ты меня, Паша, — сказал он чуть слышно, — от этой службы избавь...

Паша прошелся по кухне решительно, важно, будто высокий чин.

— Боишься испачкаться?

— Больно боюсь...

Немцы зашевелились. Один из них, самый румяный, с прядочкой желтых волос, выползшей из-под пилотки, прикрикнул на Пашу:

— Шнель! Шнель!

Полицай посуровел, положил локоть на локоть и мрачно сверкнул единственным глазом.

— Пошли, дя Коль! На ту сторону переправишь!

Знал Заводцев: на той стороне, хоть и нет поблизости деревень, зато есть большая дорога, бегущая по-над Вязьмой, и по дороге этой спешат уйти из-под носа немцев семьи смоленских крестьян. «Перевезу я их, — горько подумал старик, — а они из своих автоматиков: чирк да чирк...»

— Это зачем? — шевельнул Николай Петрович тяжелым языком.

— Хочешь жить — не спрашивай! — посоветовал Пашка и, надвинув кепку на бровь незрячего глаза, махнул рукой, приглашая хозяина дома на выход. — Забирай весла, да живо!

— Не получится. Лодка течет. Как да еще потонем, — сказал Николай Петрович, прижимая к себе круглощеку внучку, которая мелко тряслась, не решась отнять от пола испуганных глаз.

Пашка начал терять терпение.

— Красноармейцев перевозить — не течет! А немцев — течет?

— Гут! Гут! — зашевелились немцы, видя, как полицай взял Заводцева за воротник затрепавшей рубахи, поставил на ноги и прикрикнул:

— Нам некогда ждать!

Но Заводцев уперся:

— Никуда не поеду — хоть ты убей.

Пашка побагровел, хотел что-то крикнуть, но тут его

одноглазый взгляд поймал дрожащую Люсю, ее красивое, с ямочками лицо, холмистую грудь и загорелые полные ноги.

— Ладно. Можешь не ездить. Справимся без тебя. Но за это я в помощь возьму твою внучку, — и Пашка согнул указательный палец, маня им девочку к себе.

Сердце у старого засвербело, словно кто потащил сквозь него свиную щетинку.

— Для чего?

Пашка осклабился:

— После узнаешь.

Пошатнулся Заводцев и пламенеющим взглядом окинул незваных пришельцев, точно желая их грозно предупредить.

Немцы, заметив его волнение, дружно и сухонько рассмеялись, а румяный, с прядочкой из-под пилотки, встал, приблизился, взял у Заводцева руку, и у Пашки взял, властно соединил и взмахом ладони своей разрубил.

— Шён! — и направился в сторону Люси.

Занывшей душой своей понял Заводцев безвыходность положения, из которого вырваться стало уже нельзя. Внучка его сидела, закрыв руками лицо, и рыдала.

— Оставьте ее! — крикнул Заводцев с горем и, еще не зная, на что решится, торопливо и первно пообещал: — Перевезу, так и быть.

Николай Петрович накинул на плечи ворсистый пиджак, а к седой голове приклепнул ветхий картузик, глянул с жалкой улыбкой на Люсю и вышел. И, пока он ходил за веслами в сени, пока шарил рукой по стене, снимая с гвоздика ключ, пока ступал впереди полиция и немцев по мягкой муравке двора — во все это время он жил какой-то ненастоящей, неправильной жизнью, ощущая в себе полусонного человека, который вот-вот проснется от жуткого сна.

Был поздний вечер. На крыши домов, на черемухи, на проулки садились зеленые тени. Где-то внизу, под угором, дышала тиной река. Пять человек спускались к

реке: старик с угрюмой морщиной на лбу, жизнерадостный Пашка и немцы.

Вышел Заводцев из странного оцепенения, когда бухнул веслами по воде. Греб упрямо и мощно. Вязьма была спокойной. На черной ее воде отражалась луна.

Промелькнул песчаный, в ракитовых зарослях остров, на котором так часто ловил Николай Петрович ельцов и сорожек. Вдохнул перевозчик, и вздох его передался движению рук, которые сильно вскинули весла.

— Тихо! — предупредил угрожающим шепотом Пашка, сидевший с веслом на корме. И Заводцев стал пробираться, как вор, опуская весла бесшумно и мягко. Оглянувшись назад, увидел, что немцы сидят на носу в истуканно-застывшей позе, нацелясь стволами на березняк, который к ним медленно приближался. Одного хотелось сейчас старику — чтобы лодку заметили наши и открыли по ней пулеметный огонь. Но берег молчал, и от него наносило безлюдьем и покоем. Заводцев спросил у Пашки!

— Ты куда сейчас? С немцами, что ли?

— Ну, — отозвался Пашка.

— Они убивать, и ты заодно?

— Тебя, дя Коль, не трону. Ты мне живой еще пригодишься.

— Не приведи, — угрюмо промолвил Заводцев.

— Гребь быстрее! — скомандовал Пашка и, сойдя с кормовой беседки, передвинулся к старику, усевшись против него на коленки.

Не дрогнул Заводцев ни бровью, ни мускулом, ни ресницей. С гримасой тайного облегчения он разжал приуставшие руки, выпустил весла и, потянувшись вперед, обнял дядю Курву мужицким смертным обхватом и повалился с ним на лодочный борт. Один из немцев взмахнул автоматом, второй испуганно крикнул, третий стал стягивать сапоги. Но было уже все поздно и бесполезно. Лодка, черпнув воды, стала на борт и пошла погружаться на дно. Через четверть минуты вынырнула обратно и

поплыла с перевернутым днищем между ночных берегов. Вслед за лодкой плыли ветхий картузик, новая кепка и три пилотки.

Историю эту мне рассказала колхозница из деревни Гора Людмила Васильевна Добрякова. На вопрос: как она оказалась на вологодской земле, Добрякова сдержанно улыбнулась.

— В сорок пятом, после войны за мной приехал жених. Познакомилась я с ним, когда наши войска Смоленщину освобождали. Пообещал вернуться за мной. И вернулся. Увез меня в вологодскую деревушку. Сейчас мы живем впятером: я, мой муж Алексей, сын Николай, его жена Галя и внучек Миколка.

— Сына и внука в честь деда назвали?

— В честь деда...

ПЕВУНЬЯ

Где-то с краю деревни, по выводу, огороженному жердями, что снижался с угора к кустам, прогремело ведро, а потом, как проснулся, хрупкий ласковый смех. Две крестьянки, одна как девчонка-подросток, в сарафане и красном платке, вторая, кудрявая, в длинном и белом, — спустились к реке, забредя по колено в воду.

— Глянь, Глаша, какая кругом дивотá! — сказала кудрявая. — Помнишь, в девках гуляли? Сколь было нас? Девять слáвниц*. Венки из кубышек свивали. А как в речку бросали! У тебя-то венок к осоке прибился. А у меня по стремнинке ушел. Венки-ти правду сказали. Я замуж как вышла, так мужней женой и живу. А ты так слáвницей и осталась.

Такой поворот в разговоре был, видно, маленькой не

* Слáвницы — девушки перед замужеством.

по праву, и она недовольно взмахнула рукой, показав на зеленое побережье:

— Где дивоту-то видишь? Не тут ли? Так она, Таисонька, с дремотой. Надо будить ее красной песней. Умеешь ты? То-то, Таисонька, разучилась. А ведь в девках жалобно выводила. Замужество, значит, тебя от песенок отвело. — Глаша коротко рассмеялась. — А я умею! Голосок-от мой все такой же. Я ведь в колхозе с начала войны. Вроде бы незаметная, а где работаю, там уж и знать. Моей жизнью песенка правит...

Я не слышал, что дальше они говорили, так как был на другом берегу Кокшеньги. Зато видел, как Глаша, загнув подол сарафана, прошлась по воде, встала у каменной грядки, взглянула на желтый закат и вдруг вылила нежным ручьем:

У колодца воду черпала,
Уронила в воду зеркало.
Уронила — не разбилось,
Полюбила — не ошиблася...

Был вечер спелых лугов в запахе пьяного желтоцвета. Вода от потемок позеленела. Песня кончилась в ту минуту, когда к реке подошли две молодки.

— Глаша! Ну-ко еще! Уважь, Глашенька! — запросили певунью.

И снова в покои вечера ворвалась задорная Глашина песня:

У попа была Настасьюшка-дочь.
Она по воду не хаживала,
Коромыслице не дярживала.
Собиралися ребятушки
На единое крылечико
Не одну ли думу думати,
Не один совет советовати...

Слушал я Глашины песни, тревожно вздыхал и с какой-то сладкой тоской представлял, как прошли молодые годы певуньи. А прошли они здесь, на родных берегах, под морошечной мглой заката. Прошли тихо и непримет-

о, как проходят в ночи доброглазые кони. И конечно, была у нее и любовь. Но пала любовь на войну. Расставаясь с дружкой, певунья, должно быть, его целовала и уверяла, что будет ему бесконечно верна. Верна и осталась. И долго ждала его, хотя знала, что он лежит в неизвестной земле. Война отняла у певуньи семейное счастье. Попыталась и песни отнять — только зря: Глаша держала их возле сердца.

Из зеленых глубин реки поднималась июльская ночь. скорее крестьянки ушли, унеся с собой ведра с водой, острый ласковый смех и Глашины песни.

Случай увидеть певунью представился вновь. Тропа, по которой я шел на другое утро вдоль светлой Кокшеньги, открывала сквозь листья березок далекий обзор полноводной реки. И тут я увидел смоленую лодку. В лодке сидело несколько пестро одетых колхозниц, плывших, должно быть, на сеногреб. Глашу я сразу узнал. И узнал, конечно, по песне:

Лёли, лёли у ворот девка́ стоит,
У ворот девка́ стоит, с милым тайно говорит:
— Уж ты, миленькой мой, пошто ходишь к одной?
Похваляешься ты мной, моей буйной головой,
Святорусою косою...

ЗОЛОТАЯ ДУША

У каждого, кто у реки родился, есть местечко на берегу, куда всегда почему-то манит, словно там ожидает тебя приятель, по которому ты нет-нет и взгрустнешь.

Приезжая в Тотьму, я спешу всякий раз на песчаный обрыв. За спиной обрыва — кирпичная в три этажа старинная школа, длинный пояс заборов и тополя. Под обрывом — река, неторопливая, сильная Сухона с ее мысами и островами, белопалубным теплоходом и флотилией лодок, моторок и катеров. На реке, как всегда, проис-

ходит работа. Бухает в воду причальный канат. Шлепают весла. Воеет сирена. На гигантской змеевой шее плывет голова портового крана. А вон и знакомый голубенький катер. Сколько раз я встречал его на закате! И снова встретиться довелось. В рубке катера Коля Брязгин. Коле я рад, как человеку, чья юность прошла, прикасаясь к моей, на одних и тех же улицах и дорогах. Я машу Николаю рукой. Он в ответ сигналист из рубки.

Я люблю встречаться с людьми из былого, с кем когда-то бегал в кино, с кем рыбачил, плавал на лодке, жег ночные костры и впервые с робкой душой торопился на летнюю танцплощадку. Да и худо ли вспомнить забытое время, а во времени том, как в ночи, вдруг столкнуться с неведомым человеком, который тебе интересен, так как он — это пройденный ты. Неужели однажды может такое случиться, что запротивишься вспомнить о тех, с кем, таясь и волнуясь, вел разговоры о лучшей поре? Нет, со мной такого, наверное, не случится. А если случится, то оборвется, видимо, связь со всем удивительным и прекрасным, жизнь потеряет свою опору и поплетется в седое затишье старости, как в беду. Мне всегда бывает грустно от мысли, что свидетелей прошлого с каждым годом встречаешь все реже и реже. Где они? Куда разлетелись. Неужели нельзя никого разглядеть на родных берегах?

Я стою в тени тополей. Вижу, как притывается к берегу катер. На катере Коля Брязгин. Он поднялся из рубки в тот самый момент, когда суденце, проплыв меж прилепленных к гравию самоходок, заскребло металлическим носом по дну. В ветхом кителе речника, белоносых полуботинках, с толстой чалкой в руке, Николай затем, наверное, и родился, чтобы всю жизнь провести на реке. Спускаясь по трапу, он виновато и ласково улыбался.

И тогда он так же вот улыбался, отгребая свободной рукой под фуражку пригоршню соломенно-желтых волос. Между тем и сегодняшним вечером пронеслось восемнадцать лет. Очень много, но мне почему-то кажется, будто

это случилось вчера. Собственно, что же случилось? Да, так, ничего. Просто была одна славная встреча. А за день до нее я бродил вдоль реки с Николаем Рубцовым, слушал песни его и стихи, а потом прощально махал пароходу, на котором поэт уплывал в Устье-Толшму.

— Ты когда вернешься назад? — полюбопытствовал я у него, перед тем как Рубцову ступить по трапу на пароход.

— Через несколько дней.

И Брызгин, узнав от меня, что Рубцов был в Тотьме и вот уехал, задал тот же самый вопрос:

— Он когда вернется назад?

— Через несколько дней, — сказал я словами Рубцова.

Брызгин вздохнул с сожалением и досадой. Я его понимал. Как-никак лесной техникум, где когда-то мы вместе учились, Брызгину был памятен также и тем, что он жил в общежитии вместе с Рубцовым, койка к койке, подушка к подушке, знал о сильной его любви к красивой девушке Лене и о тех внезапных отчаянных песнях, которые он сочинял под гармошку в минуты тоски.

Брызгину так хотелось узнать о Рубцове.

— Как живет-то хоть он?

— Слава богу, без суеты.

— Хорошо?

— Иногда хорошо.

— А с деньгами?

— Деньги будут потом.

— А сейчас?

— Сейчас ветер свистит в карманах.

Вид в тот вечер у катериста был какой-то усталый и приморенный. Да оно и понятно. Целый день в железной посудине на воде. Мало того что привез на барже из Коченьги в Тотьму колхозных быков, так еще и до Устья стопял, куда отвозил семенное зерно, разгружать которое некому оказалось, и ему пришлось подставлять под мешки свой хребет.

— Значит, ветер свистит в карманах, — Брызгин огорчился. — Слышь, — сказал он, немного помявшись, — я сегодня десять рублей подработал. Ты бы не мог их отдать Рубцову?

Не хотел бы я брать эти десять рублей. Они были нужны Брызгину, как и всякому простецу, кто не умел зарабатывать деньги, хотя нуждался в них каждый день, ибо был хозяином дома, в котором росли его сыновья. Однако Брызгин настоял:

— Я понимаю. Это не сумма. И все-таки передай. Но ради бога не проболтайся, что рубли от меня.

Через несколько дней я снова бродил с Рубцовым под тополями. Достав из кармана деньги, сказал:

— Это тебе. От хорошего человека. Он хотел с тобой встретиться, да не смог, потому и просил меня выполнить эту просьбу.

С минуту, наверное, Николай смотрел на меня каким-то прищуренным, острым, до дна души достигающим взором.

— Человек этот — ты! — заявил.

— Нет! Нет! — Я испугался, подумав о том, что Рубцов может мне, пожалуй, и не поверить. — Он знает тебя! И ты его знаешь! Только он умолял о себе ни слова не говорить!

Николай взглянул куда-то за Сухону, за зубцы темнеющих елок, точно видел там нечто открывшееся ему, чему он вдруг улыбнулся.

— Душа у него золотая! — сказал и веселой победою двинулся вдоль тополей. — Жди! — Обернулся.

Возвратился он через четверть часа с хорошим местным вином. Распечатывая бутылку, счастливым голосом предложил:

— Выпьем за тех, кто нас любит!

Мне захотелось узнать поконкретней:

— Кто, интересно, нас может любить?

Рассмеялся Рубцов:

— Золотая душа!

И вот «золотая душа», за которую в тот удивительный вечер поэт поднимал скромный гост, спускался по трапик-ку на песок. Я протянул Николаю руку.

— Как поживаешь? — спросил.

— Все по-старому, — улыбнулся Брызгин, и я уви-дел в его улыбке, увидел в большом постаревшем лице и руке, убиравшей под ветхую мичманку с крабом желтую прядку волос, все того же заботного простеца, с кем встречаться готов всегда, потому что он помнит былое, помнит старых товарищей и друзей, помнит даже забы-того человека, в ком с беспокойно бьющимся сердцем ты узнаешь самого себя.

ПОДРАНОК

Крутоплечий, в куртке из болоньи, шерстяной белой кепке, с кривым батогом, он брел по опутанной черным клевером тропке. Тропка вела к ячменному полю, где розовел обутый в гусеницы ком-байн. «Хлебороб», — понял я и подозрительно посмотрел на батог. Батог в руке комбайнера был неуместным, взял его, видимо, просто так, чтоб время от времени вяло постегивать по траве. Я спросил:

— Не хлеба ли косить?

— Чего еще боле, — ответил колхозник, подняв на меня соломенно-светлые брови, под которыми притаились уставшие синенькие глаза.

Я заметил:

— День сегодня без дождика. Как следует поработать придется?

— Как следует не удастся, — сказал комбайнер, — и хотел бы бойко, да нету прыти.

Батог окунулся в траву, и путник направился дальше. Я смотрел на налитые крепким здоровьем плечи колхоз-ника, на его лопатки, ходившие по-за курткой как две большие булуги, и видел в нем скрытую силу, которая,

видимо, схоронилась, чтоб в нужный час выплеснуть через край и разойтись-разгуляться в мужской работе.

Комбайнер забрался на изгородь, словно старик, свесил ноги и не решался: спрыгнуть или не спрыгнуть? Наконец осторожно спустился и, раздвигая палкой траву, по-черепаши поплелся к комбайну. «Нет, не сила в нем затаилась, а лень! — подумалось мне. — Ишь ноги-то как подымает, точно трое суток не ел».

Развиднелось утро давно, но было облачным, тихим, и ветер вяло ворочался в ивняках, кое-как добираясь до поля, чтоб всколебать там сырые колосья, пролив с них почную росу.

У крайних посадок я обернулся. Там, вдали, за клевером и кустами, неуклюже и медленно, будто жук, продвигался комбайн.

— Такой же неторопливый, как и сам комбайнер, — сказал я, встретившись с бригадиром.

Бригадир, человек уже пожилой, с проредью в волосах, посмотрел на меня то ли с укором, то ли с тоской, будто сказал нечто обидное для него, почесал морщинистым пальцем по подбородку:

— Был бы ты на его ногах, тоже б не разбежался.

Я удивился.

— При чем тут ноги?

— При том, — объяснил бригадир, — что Серега их поломал. Ехал из городу в кузову. А шофер, гад, возьми его, пьяный, машину и кувырны. Полгода мужик горевал по больницам. Был первый механизатор колхоза, стал инвалидом. Врачи запретили вообще работать. И ноне не сел бы за рычаги, кабы не эта помóка. Ишь поливает. Почти каждый день. Небо с землей ровно бьются на кулачках: кто кого?

Обругав обложное небо, бригадир закурил папирсус и грустно добавил:

— Серега-та рад на работе убиться. А как на пенсию отошел, тут и вид у него — ровно кого положил в домовище. Боялся па люди выходить. Стыдно, едрена репа.

Все урожай собирают, а он отдыхай. Стыдно не только колхозников, но и жены. Стыдно и сыновьев. Комбайном-то он в прошлом году первым убрал у нас урожай и в соседний колхоз «Память Ленина» ездил. Ему еще тамошний председатель за эту подмогу вручил будильник. Чтоб, значит, вставал каждой день по звонку... Комбайн-от Серегин хотели в другую бригаду угнать. Это после того, как наш председатель приехал сюда посмотреть: каков из себя работник? Взглянул и понял, что некудышшой. «Не вовремя, парень, пришел ты в негодность, — сказал ему председатель, — хлеба вот надо спасать. А кому? Некому, парень. Да надо. Завтра я за твоим комбайном пришлю практиканта». Сказал — и прислал. Да только ни с чем практикант воротился. Серега не отдал ему комбайна. Сам сел и уехал в поле.

Я невольно пожал плечами:

— Но у него же больные ноги? Как мог уехать?

— Что ноги! — ответил мне бригадир. — Была бы в целости голова. А у Сереги она варит. К ножным педалям ручных рычагов принаделал.

Меня разобрал интерес:

— Как фамилия у него?

Бригадир поугрюмел:

— Фамилии не скажу. Не хочу, чтоб узнали про это врачи. Узнают — снимут, как есть, с инвалидности, и не будет Серега пособия получать. А рисковать ему, этта, нельзя. Семья у него. Прожить век не хромя, — здоровому человеку не просто. Сереге — тем более мудро...

Бригадир ушел по своим делам, я же остался в деревне, решив еще раз повидаться с Серегой.

По низкому небу ползли косяки серых туч. Обрастая ранними тенями, уходил, торопливо сужаясь, сутулый сентябрьский день. Я шел за черное клеверище, за цветные кусты ивняка, туда, где еще поутру шевелил усатым колосом хлеб, а теперь открывалась свежая жнива. Там, за желтым водоразделом, слышался говор комбайна. Лучи

его шарили по земле. Вскоре говор затих. На жнивье упала роса.

Я долго слушал шаги приближавшегося ко мне усталого комбайнера. Увидел его — крутоплечего, в куртке из болоньи, шерстяной белой кепке, сочувственно улыбнулся.

— Как настроение?

Сергея невесело усмехнулся.

— Вчера было лучше.

— Случилось чего-нибудь?

— Фельдшер на велике приезжал. Сказал: ежели я и завтра стану на мостик, то он позвонит в район, чтобы меня с инвалидной пенсии сняли. А без пенсии мне нельзя. Двое сынков...

Гремя батоном, Сергей уселся на изгородь, посмотрел на пояс стемнелых кустов, закрывавших собою несжатое поле, затем перевел глаза на ближайшую крышу, по-над которой валил волноватый дым.

— К вёдру, — сказал мягким голосом мужика, довольного тем, что утром снова будет погода, и вдруг напряженно уставился на меня. — А может, рискнуть? Поехать по новой?

Было видно, что спрашивал он совета. Однако советовать я не мог. Лишь сказал, желая его уберечь от недобрых последствий:

— А как же пенсия? Могут, сам говоришь, отобрать?

— А-а... — Сергей спустился на землю. — Чихал на нее с огорода? Как-нибудь перебьюсь, — и, волоча ненадежные ноги, заковылял с батоном по тропе. Заковылял, как подбитый на оба крыла подранок. Я глядел на него с сочувствием и надеждой, как глядят на хворую птицу, которая долго боялась встать па больное крыло и вот наконец насмелилась — встала.

«Каков же будет полет?» — спрашивал я у себя, с тревогой думая о Сергее, благо видел в нем одного из отчаянных и упрямых, кто привык быть всегда впереди, даже если это и невозможно.

Больница. Крохотный садик. В нем старые липы, черемухи и березы. С ветвей обрываются желтые листья. Они осыпают тропинку среди деревьев, пригнутые перья поблекшей травы и три пошатнувшиеся скамейки, место бесед при свидании самых близких на свете людей.

Увидев в зеленых сумерках сада худенькую старушку, я пораженно остановился. Показалось в ней что-то знакомое, что-то свое, будто мама моя, к кому я так тороплюсь с передачей, чтоб заглянуть в ее голубые, побитые сильной болезнью глаза. В них стояли друг против друга еще не ушедшая жизнь и еще не пришедшая смерть. Мама ходила по этому садику точно в таком же обвислом и долгом, мышинного цвета халате, в таких же шлепанцах на ногах, в таком же подержанно-сером платке и с таким же лицом, выражавшим незащищенность и готовность вытерпеть все, только бы вновь к ней вернулось бывшее здоровье. Однако в наклоне спины и движении пальцев, с каким старушка срывала отцветший цветок кульбабы, было что-то неверное, что-то чужое. Разумеется, это не мама. Вернее, мама, но не моя. Моя уже не наклонится за цветком. А ведь тоже срывала такую же кульбабу, подносила ее к губам и, подув, с умилением наблюдала, как пушистый шарик цветка превращался в летящую пыль. Скрывался в этом какой-то значительный смысл, который я понимал приблизительно так: цветок умирал, оставляя после себя молодое потомство. Через год, даже раньше из желтых пылинок объявится новая жизнь. Так, наверно, и у людей. Мамы нет, зато есть ее дети, которым наказано жить, жить и жить.

Я вижу, как старая женщина встрепелулась, взмахнула цветком, сделала несколько спорых шажков. Навстречу ей, свернув с тротуара, спешил высокий в бордовом плаще и бордовой шляпе мужчина. Видимо, сын.

Я тоже сюда приходил. Один. И с женой. И с сестрой.

И с братом. И всегда читал на погашенно-бледном личике мамы: «Снова я не одна! Снова я с вами!» Для хворой матери нет выше счастья, чем находиться рядом с детьми. От нас она заряжалась жизнью и начинала верить в то недалекое время, когда она одолеет болезнь, вернется домой и станет опять хлопотать по хозяйству — печь воскресные пироги и по хорошей погоде ходить в беломошный сосновый лес, чтобы набрать там шишек для самовара, а для нас — боровой брусники и крепко-ногих белых грибов.

Через забор и густые кусты жасмина-я слежу за свиданием матери с сыном. Они для меня чужие. И тем не менее я наблюдаю. Гляжу на их лица: одно — молодое, уставшее от печали, второе — отжившее, при теплинке в морщинках около губ. Гляжу и чую меж ними ту невидимую черту, которая может их разделить однажды навеки. Нет! Нет! Только не это! Этого я не хочу! На какой-то миг мне повиделось, будто на этой скамейке, под шелестящей листвой сидит не чужая старушка, а мама моя. И рядышком с ней — озабоченный я, почему-то одетый в бордовый плащ и бордовую шляпу, которых нет и не было у меня.

Выложив из портфеля пакет, мужчина поднялся, прижал старушку к себе, сказал: «До свиданья» — и угнетенной походкой направился к тротуару. Старушка, роняя в траву цветок кульбабы, шагнула было за ним, да сдержалась, вскинула белый платочек, взмахнула раз и другой, губы ее закоробились, задрожали, а по морщинисто-бледной щеке покатилась слеза.

Может, и мама моя, подумал я, горько вздыхая, вот так же тогда меня провожала. И меня. И сестру. И брата. А мы и не знали. Не знали, что несколько спорых ее шажков, взмах платочком, дрожание губ и слеза на щеке означали отчаянный крик. Этим неслышимым криком она умоляла свое изболелое сердце не сдать последним запасцем слабеющих сил, дабы еще один раз увидеться с нами.

Вчера от Карпуши сбежала жена, уехав куда-то с торговцем арбузов. Торговец четыре сезона подряд приезжал в вологодский маленький городок, чтобы стать обладателем собственной «Волги». На «Волге» оба и укатили.

А ведь все начиналось так славно. Женился Карпуша полгода назад. Звали жену Мариной. Гладкая, с крупно палившейся грудью и большеглазым лицом, она была привлекательна до соблазна, и редкий мужчина при виде Марины не спотыкался на ней удивленно-внимательным взглядом. Карпуша тоже споткнулся и вскоре позвал ее в загс. Как в насмешку позвал, чтоб прожить с ней всего лишь полгода.

И вот он один. Почему? Потому, что печь деньги, какие могли бы устроить Марину, он не умел. Получал только то, что зарабатывал на заводе. Работал же он на бонах — выводил багром из воды к транспортеру пило-вочный лес. В месяц по двести рублей выходило. Однако Марине этого мало.

— Не пойдет! — сказала она однажды с таким выражением на лице, точно Карпуша ее унизил. — Я на складе сижу, и то с твое-то имею. А ведь я не мужчина.

Карпуша руками развел:

— А что я могу, коли боле никак не выходит?

Она посмотрела на мужа так кисло и так снисходительно, будто сказал он великую пошлость.

— Думать надо!

— Об чем? — недопонял Карпуша.

— Об жизни! Как мы живем? Будто какие-то крохоборы. Каждый рубель у нас на счету!

Карпуша пытался жену успокоить:

— Ничего, ничего...

— Ничего не имеем! — взвинулась Марина. — Чего, скажи, у тебя есть такое, чему бы могла позавидовать я?

— Кожаный вон пиджак, — напомнил Карпуша. —

Триста рэ за него давал. Ты сама со складу еще доставала.

Марина крутнула пальчиком возле виска и губки выгнула червячками, дескать, смотрите, какой он богатый, а я и не знала!

— Кожан твой не в счет! — заявила жестко и зло, как бы ставя итог неудачно начавшейся жизни. — Купил до свадьбы. А что после свадьбы?

— Платье тебе отхватили, — вспомнил Карпуша, — халат вон, модные туфли.

— Сплошь мелочовка! — Марина холодно усмехнулась. — А серьги, которые обещал? А шапка из норки?

Карпуше хотелось бы разозлиться. Но слишком уж был он покладист и мягок. И лишь расстроено покраснел.

— Не все же сразу. Так-то ведь тоже нельзя. Понимать должна.

— Уже поняла, что замуж вышла за нешевелю! Промашку дала! А кому исправлять?

Карпуше странно и непонятно. Разорялась Марина на счет промашки неделю назад. И вот ни жены теперь, ни промашки. Пустая квартира. В ней стол. На столе непочатая бутылка, перышко лука и помидорчик.

Нет, Карпуша не пьяница. К вину прикасался разве по праздникам да в неловкие дни, когда оступался с багром в реку. А женившись, вообще перестал выпивать, благо деньги берег, собираясь купить для Марины красивые серьги.

Теперь у Карпуши особенный случай. Сбежала жена. Узнал он об этом вчера, едва вернулся с лесозавода и разглядел на столе оглодок бумаги, где было написано:

«Все, Карпик! Поехала я! Теперь мое счастье со мной в комфортабельной «Волге». А ты лопушок. Будь здоров. На развод подам через месяц. Марина».

Он обвел разоренным взглядом свою коммунальную маленькую квартирку с кроватью, столом, шифоньером и вдруг учуял неумолимость, которая с властным нахальством ввалилась в него, приготовясь им управлять, как

обобщенным человеком. Именно эта неумолимость и сгоняла его в магазин, заставив купить там бутылку водки.

Целую ночь просидел Карпуша, не распечатывая бутылку, словно забыл, для чего ее и принес. Пытался представить будущий день. Как он там? Без Марины? Кабы он не любил ее — дело другое. Сидел Карпуша серьезно и немо как истукан, возбуждая в себе неприязнь к сбежавшей жене. Неприязнь, однако, едва подступала, как тут же сменялась слабой надеждой. «А ведь он ее бросит. Бросит как пить. И куда она после? Домой! Снова, значит, ко мне. Приму ли?» Вопрос ворочался в голове неодолимо и тупо, вызывая в Карпуше не только ревность и жалость, но и участливую пощаду, с какой он встретит свою забулдыжку и, наверное, все ей простит. «Когда это будет? — пробовал угадать. — Через месяц, поди-ко, не раньше».

От худых передумок душа у Карпуши изныла. То и дело он поднимался. Ходил и ходил, обнимая ладонями жесткие плечи. Вся мебель квартиры, отдушник в печи и портрет молодого отца на стене следили за каждым его движением, напоминая о том, что здесь недавно случилась измена, и потому его жизнь, как лодка с пробоиной, того и гляди заскребется о самое дно. «Мало денег домой приносил. В этом все дело. А мог бы и боле. Надо бы только калымить. И после работы, и в выходные. И отпуск бы к этому пристегнуть. Э-эх, голова моя, голова. Схватилась за ум, когда все потеряла...»

Карпуша снова уселся. Ладонь тяжело, как подкова, стукнула по столу. Зазвенела подпрыгнувшая бутылка. Карпуша сорвал жестяной язычок.

— У людей тяжеле бывает, однако живут! — сказал, выпивая первый стакан.

— Нормально живут! — добавил через минуту, выплеснув в рот и второй.

— А ну ее в хвост! — отвел рукой замаячивший в воздухе образ жены. — И, вылив остаток в стакан, приказал самому себе: — Забыть и не помнить!

И тут на пороге возникла Карпушина мать, яблок-чая, грузленькая старушка.

— Неужеличи правда? — спросила.

— Ну, — ответил Карпуша.

— Экая странь! — набросилась мать с бесполезной яростью на Марину. — Да она твоего мизинца не стоит. Сбежала! И наплевать с огорода! Получше найдем!

Карпуша повел на мать мутно налитыми глазами.

— Москва, Вологда, Америка! Где она там — мне все равно. Запрещаю! Слышать о ней не хочу!

— Правильно! Правильно! — Мать, обхватив сына за спину, пособила ему дойти до кровати. И когда он улегся на одеяло, сняла с него проскрипевшие бродни. — Поспи. Целу ночь ну-ко высидел, будто сидень. Эдак-то зря. Поспи, родно сердце. А я покамест до дому слетаю.

Мать жила на окраине городка в собственном доме со старшим сыном, который вместе с женой уходил чуть свет на завод.

— Внучков в школу отправлю, — добавила мать, поворачиваясь к порогу, — горяченького сварю. Так что будь. Никуда не ширься. Скоро вернусь.

Мать у Карпуши хотя и работала сторожихой, а умела жить на два дома, успевая следить за порядком и там и тут. Из всей родни она одна была против Карпушиной свадьбы, сказав ему, что он со своей благоверной едва ли наладит семейный союз. Так и случилось.

Карпуша лежал. Сердце его изводилось тоской. «Хватит!» — сказал, наклоняясь к резиновым бродням. Сунул в них ноги. Вспомнил, что нынче ему во вторую смену. Это его ободрило.

Открыв шифоньер, снял с тощих плечиков хрустнувший кожей пиджак, пошарил в карманах и, ничего не найдя, надел на себя. Снова пошарил по всем трем карманам. Должно бы быть сто рублей, часть денег, какие копил он на эти серьги. Невесело усмехнулся: «Уехали, значит, тоже на «Волге»... Ладно. Мир не без добрых людей...»

Хватив из стакана остаток водки, вышел за дверь и спустился с крыльца своего коммунального, на шесть квартир двухэтажного дома. В лицо ударил прохладный, с запахом газонов, воздух. Карпушу сразу же развезло.

— Езжай, моя радость! — несдержанно заорал, нажия красную шею. — Москва — Вологда — Америка! Выбирай чего хошь!

В несуразном голосе был не только расхристанный крик, но и стон, и всхлип, и какой-то плачущий хохот. От Карпуши шибало водкой и луком. Он никого не боялся и не стеснялся. Ступал серединой дороги, не обращая внимания на машины. Долгощекое, словно натертое ягодами, лицо обнажало обиду несчастного человека, которого только что разорили.

Вид Карпуши, одетого в модный пиджак, худые брезентовые штаны и махавшие отворотами бродни, обманывал всех, и потому на него глядели как на отпетого выпивоху: кто с тайной брезгливостью, кто с досадой, а кто с желанием угадать: сразу милиция заберет или чуть попоздней?

Никого Карпуша не задевал, но выражение глаз и лица его было такое, будто сейчас кого-то он остановит и заведет назойливый разговор. Путь держал он до магазина. Там, за воротами, среди ящиков из-под водки ожидала одиннадцати часов толпеца мужиков с погашенными глазами.

Поглядел Карпуша: кто бы дал взаймы на бутылку? Но знакомых, кроме седого Шамони, угрюмого алкаша, жившего на средства от сданных бутылок, не было никого. Карпуша расстроено сплюнул.

— Жаль.

Кто-то сочувственно бросил:

— Дух опустило?

— Дух.

— А ты его подыми!

Карпуша вздохнул, выразительно хлопая по карманам.

— Он у нас пролетарий, — подал голос Шамоня.
Карпушу задело.

— Ты-то чем меня лучше?

Шамоня не знал, чем он лучше Карпуши, оттого и сказал вялым голосом забулдыги, который на все повороты жизни давно махнул равнодушной рукой:

— Уровни разные, паренек. Ты на волне. Я под волной.

Карпуша взглянул внимательно на Шамоню, на его волосатую голову в выпуклой кепке, ковбоечку в клетку и брючки с двумя подколенными пузырями.

— Есть дело ко мне?

Шамоня язвительно усмехнулся.

— С нищими не пасусь.

Карпуша выкривил брови.

— Это я-то, по-твоему, нищий?

— Нищий тот, кто грошей не имеет! — Шамоня правой рукой потянулся к выпуклой кепке, приотогнул ее, вынул оттуда зеленый трояк.

Карпуше сделалось стыдно. Так стыдно, что он потупил глаза и тут же решил разжиться деньгами.

— Подумаешь, трешник! Десять таких сейчас принесу! — и резко шатнулся к воротам.

Шамоня его придержал:

— Пинжачок на тебе хороший. На кой он тебе? Или выползешь в нем на танцы?

Карпуша споткнулся. Идея, какую подкинул Шамоня, пришлась как нельзя сейчас кстати. Выламывая плечами, сдернул пиджак.

— Продаю! — осклабил, как счастливчик. — Брал за триста, прошу сто пейсят!

Кто-то насмешливо:

— Скинь хотя бы на половину.

— Сто! — Карпуша взмахнул пиджаком, как огромным крылом черной птицы.

— У-у дает! — засмеялся Шамоня.

— Пейсят! — Голос Карпуши охрипло осел, лицо ону-

стилась щеками книзу. И вообще он вдруг испугался, решив, что пиджак никто не возьмет.

— Червонец!

Шамоня смотрел на Карпушу, как на героя, который может еще и не это. Но тут толпеца мужиков, пестрея плащами и куртками, бодро качнулась к крыльцу магазина, где началась торговля вином. Двор опустел. Остались возле Карпуши только Шамоня да желтый, с восточными глазками толстячок в помятой велюровой шляпе.

— Беру, — сказал толстячок и, достав портмоне, извлек оттуда одну за другой две пятерки.

— Набавь! — потребовал властно Шамоня, так и влезая глазами в проем портмоне.

Желтолицый добавил трешник и, сжав покупку под мышкой, поторопился уйти со двора.

Ожидая шмыгнувшего в магазин Шамоню, Карпуша уселся на ящик. Заправил под брюки выехавшую рубаху и с какой-то дряблой беспечностью ощутил себя конечным человеком, кому уже, кроме бутылки, нечего больше и ждать.

Сквозь сетку уличных проводов и листья костлявого тополя пробивалось сентябрьское солнце. Карпуша вспомнил Марину. Стало невыносимо больно, точь-в-точь подымающей кошке, которую, как худую ненадобность, бросили за забор.

Возвратился Шамоня. С ним еще какой-то лысый, с улыбкой скелета, туберкулезно изжитый мужик. Распечатали первую поллитровку. Налили в стакан.

— За тебя! — улыбнулся Шамоня, немного заваливаясь назад под наклоном пустеющего стакана.

— За твои успехи! — крикнул туберкулезный.

И Карпуша хотел было что-то сказать, принимая стакан.

— За что, малогодничек, пить-то будешь? — спросил желтый голос.

Стакан накренился, и по манжету рубахи плеснуло. Карпуша поднялся и покраспел, узнавая невесть откуда

пришедшую мать. Ее покрытые серым плащиком грузные плечи, блеклый платочек на голове и каменистенькое, тугое, с рябинами на щеках и старушечьим мраком теней в крыльях носа лицо, казалось, бросали Карпуше вызов.

— Хочешь накушаться до соплей?

Карпуша пошарил глазами, куда бы поставить стакан. Увидел ладонь Шамони, поставил туда, словно в блюдце.

— Но я... У меня... Ты же знаешь, — проямлил и заморгал, глазами, голосом и лицом вызывая к себе сострадание.

Губы у матери были тверды и суровы, не задрожали от жалости к сыну. Сердцем своим понимала она, что участие тут бесполезно: сын был в том состоянии краха, когда душа истекает до самого дна и человек, чтоб хоть чем-то ее наполнить, бездумно хватается за стакан.

— Не дело! — прикрикнула мать с гневливым попреком, зная одно, что она все равно приведет Карпушу в нормальные чувства и отодвинет его от вина. — Тебя по мертвой рукой обвело!

— Мамаша! — сунулся с гиблой улыбкой туберкулезный. — Эдак-то громко бы ни к чему!

И только тут обратила внимание мать на этих двоих, шевелившихся где-то на ящиках около сына. До этой минуты воспринимала она и того и другого как посторонних, оказавшихся рядом с Карпушей ее случайно. Глаза у матери чуть потемнели.

— С вами, поганками, пусть разговаривают поганки! — и подтолкнула сына к воротам, ступая следом за ним.

Карпуша слушался мать с покорной доверчивостью ребенка. Чувствовал он, что сейчас ему нужен руководитель, без кого он сделает нечто нелепое и дурное и за это придется потом отвечать.

Шурша отворотами бродней, свернул во двор коммунального дома, поднялся по лестнице в коридор, открыл свою дверь и уселся за стол, на котором стояла кастрюля еще не остывшего супа.

— Ешь, — заставила мать.

И снова не смел послушаться он ее, понимая, что мать знает лучше, чем он, чего ему полагается делать. Минут через десять, после того как он съел две тарелки постного супа, мать показала ему на кровать:

— Отдыхай, родно сердце.

Уже в кровати, забравшись под одеяло, чувствуя тяжесть в сердце и голове, он невольно вздохнул:

— Как Марина? Ну как она там?

— Бог принес, бог и отнес.

Покосился Карпуша на мать. Лицо ее было каким-то угасшим, словно поведала самую скорбную правду, какую может поведать лишь мать, разглядевшая раньше всех в красивой невестке гибель для сына.

Повернулся Карпуша к стене и упрямо, будто хотел у матери выиграть спор, произнес:

— Неужто ее не увижу...

— Увидишь, — ответила мать голосом твердым и убежденным, точно читала вещую книгу, в которой написано о судьбе. — Русский час — со днем тридцать. Месяца не пройдет, как приедет к тебе щипаной куропаткой. Не вздумай пускать на порог!

Ничего не ответил Карпуша, лишь натянул на лицо одеяло да недовольно наморщил лысеющий лоб. Мать, почувствовав слабый сыновий протест, добавила с сердцем:

— Не пара она тебе. Плюнь. Дни не вымерли. Встретишь еще не такую. Все будет как у людей. Дождется солнышко и тебя.

«Ждать и надеяться, что осветит», — думал Карпуша с желчной иронией сквозь заволочку близкого сна. И тут отключился.

Когда пробудился, то первое, что он увидел, был энергично звеневший будильник, стрелки которого шли до обидного медленно и лениво, казалось, нарочно испытывая его, чтобы проверить Карпушину терпеливость. И вдруг ему стало ясно, что с этой минуты он будет отчаянно торопиться. Настоящее было таким незавидным.

пришедшую мать. Ее покрытые серым плащиком грузные плечи, блеклый платочек на голове и каменистенькое, тугое, с рябинами на щеках и старушечьим мраком теней в крыльях носа лицо, казалось, бросали Карпуше вызов.

— Хочешь накушаться до соплей?

Карпуша пошарил глазами, куда бы поставить стакан. Увидел ладонь Шамони, поставил туда, словно в блюдо.

— Но я... У меня... Ты же знаешь, — промямлил и заморгал, глазами, голосом и лицом вызывая к себе сострадание.

Губы у матери были тверды и суровы, не задрожали от жалости к сыну. Сердцем своим понимала она, что участие тут бесполезно: сын был в том состоянии краха, когда душа истекает до самого дна и человек, чтоб хоть чем-то ее наполнить, бездумно хватается за стакан.

— Не дело! — прикрикнула мать с гневливым попреком, зная одно, что она все равно приведет Карпушу в нормальные чувства и отодвинет его от вина. — Тебя не мертвой рукой обвело!

— Мамаша! — сунулся с гиблой улыбкой туберкулезный. — Эдак-то громко бы ни к чему!

И только тут обратила внимание мать на этих двоих, шевелившихся где-то на ящиках около сына. До этой минуты воспринимала она и того и другого как посторонних, оказавшихся рядом с Карпушей ее случайно. Глаза у матери чуть потемнели.

— С вами, поганками, пусть разговаривают поганки! — и подтолкнула сына к воротам, ступая следом за ним.

Карпуша слушался мать с покорной доверчивостью ребенка. Чувствовал он, что сейчас ему нужен руководитель, без кого он сделает нечто нелепое и дурное и за это придется потом отвечать.

Шурша отворотами бродней, свернул во двор коммунального дома, поднялся по лестнице в коридор, открыл свою дверь и уселся за стол, на котором стояла кастрюля еще не остывшего супа.

— Ешь, — заставила мать.

И снова не смел послушаться он ее, понимая, что мать знает лучше, чем он, чего ему полагается делать. Минут через десять, после того как он съел две тарелки постного супа, мать показала ему на кровать:

— Отдыхай, родно сердце.

Уже в кровати, забравшись под одеяло, чувствуя тяжесть в сердце и голове, он невольно вздохнул:

— Как Марина? Ну как она там?

— Бог принес, бог и отнес.

Покосился Карпуша на мать. Лицо ее было каким-то угасшим, словно поведала самую скорбную правду, какую может поведать лишь мать, разглядевшая раньше всех в красивой невестке погибель для сына.

Повернулся Карпуша к стене и упрямо, будто хотел у матери выиграть спор, произнес:

— Неужто ее не увижу...

— Увидишь, — ответила мать голосом твердым и убежденным, точно читала вещую книгу, в которой написано о судьбе. — Русский час — со днем тридцать. Месяца не пройдет, как приедет к тебе щипаной куропаткой. Не вздумай пускать на порог!

Ничего не ответил Карпуша, лишь натянул на лицо одеяло да недовольно наморщил лысеющий лоб. Мать, почувствовав слабый сыновий протест, добавила с сердцем:

— Не пара она тебе. Плюнь. Дни не вымерли. Встретишь еще не такую. Все будет как у людей. Дождется солнышко и тебя.

«Ждать и надеяться, что осветит», — думал Карпуша с желчной иронией сквозь заволочку близкого сна. И тут отключился.

Когда пробудился, то первое, что он увидел, был энергично звеневший будильник, стрелки которого шли до обидного медленно и лениво, казалось, нарочно испытывая его, чтобы проверить Карпушину терпеливость. И вдруг ему стало ясно, что с этой минуты он будет отчаянно торопиться. Настоящее было таким незавидным.

Хотелось прожить его поскорей. А для этого надо забыть Марину. Сумеет ли он?

— Мам? — позвал, подымаясь с кровати. Но голос ударился в пустоту. «Ушла, — догадался. — Хорошо, хоть звонок завела. А не то бы проспал работу».

Бревнотáска лесозавода, куда Карпуша гнал каждый день по закрытой бонами воде пиловочный лес, была в получасе ходьбы от дома. Проходя заводской территорией, чуя кислый запах свеженапиленных досок, уловил он спокойно-размеренный шорох пил, какой всегда забирал из его головы все заботы и думы, что связаны с домом, и приносил ощущение строгой работы, которой, казалось, был переполнен весь окружающий мир.

Карпуша спустился к шинам транспортера, тащившего вверх из воды бревно за бревном, кивнул багорщику утренней смены, высокому парню в вязаной кофте под пиджаком, мол, хватит, поди отдыхай, заменяю, надел рукавицы и поднял багор.

Работа была привычной. Ходи взад-вперед по зыбкому бону, клюй багром по загривку бревна, подавай поточнее его к транспортеру да время от времени наблюдай, чтоб лес зря в заводи не копился.

День был облачный, с мокрой прохладой. В стороне, на поставленной против течения запони мельтешили с баграми рабочие сплавконторы. Гукал буксир, подводя к поперечным бонам кипящее месиво сортиментов. Вместе с моторами и людьми напрягала свои энергичные мускулы и река. Ветерок подымал на ней серые гребни. Ниспадавшее к левому берегу солнце, едва вынырнув из-за туч, освещало не только поверхность реки, но и то, что она под собой хоронила — лом растерзанных палок и досок, скрутки тросов, кряжи-топляки, белую проволоку и ветки. Этот хлам был бедой сплавщиков. Они сами его создавали. Сами и мучались из-за него. При выводе бревен из кошелёй Карпуша так напряженно краснел, так тянул из себя станковую жилу, что удивительно, как еще кости его не трескались — настолько был густо забит топляками межбоно-

вый коридор. Мастеру Музину, спустившемуся к бонам понять, почему так худо идет подача вверх бревен, Карпуша расстроенно показал, ступая в воду ногами:

— Подо мною три метра. А вон по щиколотку стою!

— И когда так успело? — Мастер слабо пожал плечами. — Видно, сегодня с утра, — сам же себе и ответил, взглянув на подводный затор едва не с бяззпью. Был Музин неопытен и несмел, работал всего лишь месяц, и потому зачастую терялся, не зная, как и чего с подчиненных спросить.

Карпуша выбрался из воды.

— С пупа можно сорвать! — ткнул багром в толстый комель бревна. — Ташу, как по волоку. Чистить надо! — поднял на Музина потные брови. — Пошли человека. Пусть топором хоть маленько порассекает.

— Сегодня не знаю. — Мастер вздохнул, и лицо его выразило сомнение, — некого вроде.

Однако багорщик ему не поверил. Есть кого, да никто не пойдет. Расчистка межбоньев считалась самой опасной работой. Рубить под водой топляки, а потом подымать их наверх — тут не только измочишься весь, но еще и руки себе обобьешь, и спину надломишь, а то, пожалуй, и посечешься.

— Тогда завтра пошли! — Карпуша пригнулся, втыкая конец багровища в пуп живота. — Сегодня уж как-нибудь! Отпехаюсь! — И, глубоко вздохнув, протопал с пыхтеньем возле затора. Когда распрямился — бревно качалось над глубиной. — Или никто не пойдет?

Музин надвинул берет на глаза.

— Заставлю, — сказал неуверенным тоном.

Понял Карпуша, что не заставит.

— Вот что, Музин, — багорщик махнул рукой на межбонье, — сам рассечкой этой займусь.

— С утра?

— С утра.

— Если так, я тебе за сверхсрочную! Я наряд! Я сразу! — Музин, словно мальчишка, засуетился, глаза его

засветились, а руки, вырвав багор из бопа, пихнули бревно к громыхавшему транспортеру.

Вечер садился, сгоняя с небес облака и нырявшее между ними неяркое солнце. Зажглись фонари, освещая с высоких столбов транспортер и взятое в плен бопами и запонью сонное плесо. Река дышала холодом и покоем, принимая в себя темноту берегов и отталкиваясь от света, который летел с фонарей, пытаясь проникнуть в ее глубины.

Карпуша хотя и умаялся и вспотел, но азарт к работе его был прежний. Багор в ладонях скользил тепло и свободно, точь-в-точь податливая рука. Да, да, рука. Рука той, прежней его Марины, когда он с ней начинал только жить и она была ему рада.

Карпуша сердито плевался. Когда-когда, а теперь уж никак бы ему не надо, чтобы жена приходила на ум. И может, поэтому он торопился, стараясь себя изнурить. Зацепляя багром самые толстые бревна, он провожал по воде их одно за другим, спотыкаясь при этом и падая на колени.

Транспортер, скорготнув цепями, остановился. Сверху упал сиплый голос рамщика Журавлева:

— Карпуха! Подь-ко сюда! Хочу уточнить!

Багорщик забрался на склон и подсел к мужикам, угнездившимся около пилорамы. Все четверо вместе с гибким и долгим, точно витое багровище, Журавлевым устали так на него, будто Карпуша обязан был в чем-то сейчас перед ними открыться.

— Меняется жизнь? — Журавлев наострил на багорщика узкое щучье лицо с внимательными глазами.

— Все так же, — буркнул Карпуша.

— Не темни, — посоветовал Журавлев, — видел сам, как твоя мадмазеля с каким-то грузином на тачке за город подалась.

Карпуша уткнулся лицом в колени, почувствовав странную слабость, с какой подломился его позвоночник на шее, — так беспощадно и больно хлестнули слова бр

гадира. Но сразу оправился и сказал, унимая в голосе дрожь:

— Это дядя еёный.

Мужики удивленно переглянулись.

— И куда он ее?

— Наверно, на дачу.

Журавлев улыбнулся.

— Наверно? Ну и даешь! Неужели точно не знаешь?

Никогда не лежала душа у Карпуши к вранью. А теперь и тем паче, однако правду сказать — было выше всех сил.

— Они, кроме дачи, еще в одно место хотели заехать.

— А-а, — уяснил Журавлев, но тут же что-то и заподозрил и вновь наострил на Карпушу внимательное лицо: — Жена-то, что у тебя, неужели грузинка?

Карпуша был вынужден согласиться:

— Грузинка.

— По матери или отцу? — донимал Журавлев.

— По отцу, — наобум ответил Карпуша.

— А ты? — Это уж кто-то из мужиков проявил ненужное любопытство.

— Что — я? — Карпуша насторожился.

— Ты по кому?

— Или по роже не видно! — Карпуша вскочил, оскорбившись и обозлившись, и, подгоняемый смехом развеселившихся мужиков, резким шагом рванул в подугорье к зыбко качающимся бонам, чтобы там, оставшись один на один с работой, уйти от нелепого разговора и ничем себя больше не раздражать.

Работа была утешительницей Карпуши. И он был рад, что искать ее было не надо. Главное, от чего она его избавляла, было свободное время, какого он для себя не хотел, потому что оно склоняло к воспоминаниям и давало возможность кому-нибудь с ним завести разговор.

Этот поздний сентябрьский вечер определил для Карпуши жесткую линию жизни. Все дни его стали похожи один на другой. Вечером он уходил за ворота завода лишь

для того, чтобы утром после хорошего сна и еды снова сюда возвратиться.

Мастер Музин, всегда находивший ему дополнительную работу, считал, что Карпуша старается так из-за денег. Он как-то даже спросил:

— Не покупать ли чего затеял?

— Сам не пойму, — честно признался Карпуша, — время покажет.

— Да, да, — подхватил поощряюще Музин, — для деловых людей время — вторые деньги.

— Скорей бы шло оно. Застоялось. Так кнутом бы в подстегнул!

Мастер, кажется, понял, чего хотел сказать этим ретивый багорщик.

— Значит, гонишь? — спросил.

— Гоню, — согласился Карпуша.

Он действительно гнал свое время, как застоявшегося коня. Утром к вечеру торопился. Вечером — к утру. И так каждый день.

По всей вероятности, он продолжал бы так жить и дальше, однако на третий день октября, поздно вечером, дверь в квартиру резко раскрылась, и в полутемки прихожей ступила Марина.

Карпуша валялся барином на кровати. Вмиг соскочил и включил электрический свет.

— Ну здравствуй! — сказала Марина, сияя не только лицом, но и кремово-светлым плащом, и лаковой сумочкой на ремне, и даже железными пряжками темненьких туфель.

Сердце Карпуши пугливо метнулось, как скользкая рыба из-под руки, губы полезли куда-то к ушам, и он готов уже был с ответной улыбкой шагнуть ей навстречу, да вспомнил, кто она есть и чего она стоит, и задержал свой порыв.

— Не рад?! — Она уселась на стул, оглядев Карпушу прищуренно-опытным взглядом.

Радость была велика. Карпуша с ней еле справлял-

ся и, чтобы не выдать ее, напряг лицевые мышцы, стараясь оstarить свой нестареющий лоб.

— Не нервничай, Карпик, — щелкнув замочком, Марина раскрыла сумочку, — я ненадолго.

Карпуша ей не поверил. «Знаю твое ненадолго. Небось навсегда», — подумал с тайной веселостью на душе, не испытав к молодой ни раздражения, ни обиды. Вслух же сказал:

— Не надо шутить.

— Я не шучу. На минутку к тебе, ну две. — Она достала из сумочки согнутый вчетверо лист бумаги и, развернув, положила его на стол. Потом достала пишущий стерженечек. — Дела бумажные только решу.

— Ладно, ладно, — Карпуша настроился было сказать, чтобы она раздевалась, благо считает ее, как и раньше, хозяйкой и, кажется, время уже рассказать, куда она ездила и зачем, долго ли с ним собирается жить и нет ли к нему у нее претензий. Однако Марина опередила, спросив его то ли с лукавым сочувствием, то ли с насмешкой:

— Ждал меня, что ли?

— Ждал.

Марина сощурилась.

— Верится, да с трудом.

Карпуша прошел к шифоньеру, открыл его дверцу.

— Кабы не ждал, наверно бы этого не купил! — На ладони его зеленела коробочка. Снял ее крышину и положил на стол.

— Серьги! Какие красивые! Ах! — В одну секунду лицо Марины сумело выплеснуть пылкую радость и тут же дрогнуть и побледнеть. — Напрасно только.

— Я же тебе обещал!

Марина вскинула голову вверх, встречаясь с правдивыми, не умеющими лгать и лукавить глазами Карпуши.

— Поздно, — сказала она.

— Лучше поздно, чем никогда.

— Ошибаешься, Карпик. Спроси: я зачем у тебя? И вообще, для чего в свой дрянной городишко-то вороти-

лась? Отвечу: я здесь для того, чтобы выправить все бумаги. В том числе и вот эту. На-ко, святая наивность, читай.

От бумаги в лицо Карпуши дохнуло осенним ознобом. Это была не простая бумага, а заявление в суд, где сообщалось, что он, Карп Иванович Осовской, вознамерен сделать развод с Осовской Мариной Петровной, так как у них друг для друга характеры не подходят.

Лицо у Карпуши поехало вниз.

— Глупость какая-то. Я ведь этого не писал! — сказал с нарастающей злостью. — С винтов я, что ли, сошел, разводить такую бодягу?

Марина ждала с терпеливым вниманием опытной бабы, которая знает, чего она хочет, и промахнуться себе не позволит ни в чем. И как только Карпуша затих, потянулась к нему беложаво-пружинистой шеей:

— Успокойся. Не надо такие горячие страсти. Я! Это я за тебя написала. Для ускорения дела.

— Просил тебя? Я хочу?! — Голос Карпуши снова поднялся, стал раздражительным и сердитым, как у шкипера на барже, когда его кто-то не понимает. — Не навешивай мне развода! Не выйдет! — И вдруг споткнулся, увидев глаза Марины, смотревшие на него с безразличием и усмешкой.

— Как знаешь, Карпик. Я ведь насильно не заставляю. Только ты этим меня все равно у себя не удержишь. Чего я здесь у тебя потеряла? — взмахнула рукой, забирая жестом всю его маленькую квартирку.

Вот когда понял Карпуша, понял с пронзительной болью, что он для Марины негожая пара, им так и так больше вместе не жить.

— Значит, замуж выходишь? — тускло спросил.

— Это ты точно заметил.

— Не за того ли, который...

— Вот, вот.

Карпуша подвинул к себе бумагу, взял и пишущий стерженек. Расписался под заявлением.

— Встретимся там, на суде? — иронически усмехнулся.

— Да, — в тон ему усмехнулась Марина и, поднявшись со стула, ткнула пальцем в коробочку, где отливали золотом серьги: — А это теперь для кого? Для новой жены?

— Это твое. Забирай. — Он растерянно отвернулся.

— Спасибо, Карпик... Спасибо, мой лопоухий...

Была секунда, когда он чуть-чуть не бросился к ней, чтобы всем своим видом, глазами, голосом и слезами уговорить никуда отсюда не уходить. Однако сдержался. «Так надо», — сказал самому себе и повернулся к порогу только тогда, как слышал скрип затворяемой двери и удалявшиеся шаги. На душе было пусто и разоренно.

— Все! — заключил. Обхватив спинку стула, он наклонился к столу, где лежал жалкий пишущий стерженечек, все, что осталось ему от Марины. Горло вязко перехватило. Он подошел к окну и открыл шпингалет. Распахнул обе створки. Высунулся наружу.

Темное небо стояло над ним, как студеноя полынья, готовая вот-вот пролиться. Глаза, блуждая, устало искали: на чем бы сейчас удержать растерянный взгляд? Сарай, заборы, голые ветки. Все было залито темнотой. Куда еще можно смотреть? Ну конечно, туда! Он покосился на крышу соседнего дома. Над ней христианским крестом торчала высокая телеантенна, воздетая к небу, как знак наступившей пощады каждому, кто в этот час ее заслужил. Карпуша раздавленно усмехнулся.

Внизу, во дворе, раскатисто хлопал пододеяльник, ну точно полотнище корабля, бесстрашно плывущего сквозь потемки. Было ветрено и промозгло. Внезапно раздался смеющийся голос. Чей он? Откуда? Мышцы лица у Карпуши обмякли. Замнилось: будто к нему торопится друг, чтобы пожать его ослабевшую руку и, улыбнувшись, сказать: «Держись!»

Карпуша поймал обе створки окна и, потянув на себя, закрыл их на тоненько лязгнувшую запирку.

Чему только на свете не завидовал маленький Яша! Подойдет к мужикам, которые ладят конские сани.

— Чего, Яша? — крикнут ему. — Поплотничать, поди, хошь?

В глазах у Яши настороженность:

— Топора-то али дадите?

— Как же эдакому мужику, да не дать! На вот, бери!

Большой мужицкий топор блестит на солнышке, будто рыба. Разик Яша теснет по бревну да разик и мимо. Остановят его:

— Хватит, буде, и поработал.

— Как бы не так! — обидится Яша.

— Дак устал ведь, поди?

Яша только ручкой махнет и добавит с достоинством:

— Я тяжёла-та не боюсь!

Снова тук да потюк. Мужики уже силой отымут топор. Рассердится Яша. Пойдет от них прочь. Пойдет тихо, покачливо, будто плот под его ногами.

— Куда пошел-то? — окликнут его.

Яша нехотя обернется:

— Па мельницу, вот куда.

— Вона... А мы-то думаем: отчего это ты идешь, как по пшеничному зернышку! Значит, мельничать будешь?

Яша расстроено:

— Где-то надо работать...

Не скоро Яша придет на мельницу. Ермаково — деревня длинная, избы тянутся на версту. Яше все интересно: и то, как дедушка Николай, вооружившись затянутой в тряпку фунтовой гирькой, спускает ее на веревке в глубокую пасть кирпичной трубы, и то, как здоровые белые девки холсты с травы убирают, и то, как веселый копщик Никифор ищет заступом жилу воды. К одному подойдет, ко второму. Да еще заявит при этом:

— Дай попробую я!

На мельнице все же всего интересней. Запруда, сла-ни, рубленый дом, в дверях которого — и широк и вы-сок — сам дядя Ваня. Взглянет мельник на мальчика из-под белых бровей:

— Чего глазешки разел?

Яше бойко и весело. Ответит, как первый работник:

— Помельничать вот хочу!

— Сумлеваюсь, сумеешь ли?

— А чего? Я вон даве и бревна отесывал!

— Ну ежели бревна...

Две ладони улягутся на задвижку: огромная, тол-стая — дяди Вани, и безвесая, тонкая — Яши. Движение рук — и кипящие струи запруды глухо обрушатся вниз, заставляя лопасти колеса догонять друг дружку по кругу.

Грохот, пена, запах моченых плах. Сердце в груди у Яши, будто радостный воробей, запрыгает, залетает. В этот миг ему хочется стать таким же добрым, большим и веселым, как дядя Ваня.

Зимний вечер. Яков Павлович в валенках, ватнике и просторной овечьей шапке не спеша направляется к до-му. Еще утром к нему забежал шофер Иннокентий. Про-сил:

— Выручи, Палыч. Избу когда возвели, а влазины все не устроил.

— Новосельице, значит?

— Оно самое, Палыч. Ты уж мне помоги пива́-то по-ставить. Вся деревня в гости придет. А в деревне семь-десять изб.

Яков Павлович был из тех добродушных крестьян, от которых не принято слышать отказа. Целый вечер ору-дует вместе с шофером. То огонь подправит под чаном, то взмешает захрясшее сусло. И вот к дому теперь идет. На душе уверенно и задорно, как у всякого мужика, хо-рошо пособившего другу. Едва порог заступил, как жена с новой вестью:

— Приходили к тебе из Завражья. Колодец рыть просят.

Яков Павлович улыбнулся тихо так и задумчиво, будто что-то заветное вспоминая:

— Колодец... Ладно... Это мы можем...

Да и что не мог Яков Павлович! Жизнь его всему научила. От тех давних мальчишечьих лет пролегла дорожка едва не в полвека. Привык, как привыкают к улице, на которой живут, чтоб к нему обращалась за помощью вся деревня.

Весной его попросили зайти в контору. Пришел.

— А что, Павлыч, — сказал ему председатель, — если мы поручим тебе поднять водяную мельницу? Теперь дробильную установку обслуживает пять человек. А тут бы мог управиться и один. Берешься?

Сколько раз вспоминал Яков Павлович избяную веселую мельницу, на которой еще парнишкой запускал он в работу воду. И всегда досадно было от мысли, что мельницы больше нет. «Значит, будет!» — подумал он, перекладывая в уме председательские слова, и улыбнулся:

— Мельницу... А чего... Попробовать можно...

Над пологим берегом Андонги раздавался стук топоров. Целое лето бригада строителей излажала ряжи, плотину и большое сосновое колесо. Яков Павлович совмещал в себе и прораба, и плотника, и того покойного дядю Ваню, который дал ему здесь, на ста́ве, урок мукомольного ремесла.

Поднялась над берегом Андонги мельница. Потянулись к ней машины с зерном. Заворочались с тяжким стоном, точно жалуясь на надсаду, грузнотелые жернова.

Нелегка у колхозного мельника служба. И с мешками возись. И за ста́вом следи. И ремонт устраивай в срочное время. Находились жалельщики:

— Тяжело небось, Павлыч?

— Да, конечно. Куда тяжелей, чем на печке лежать! — отвечал Яков Павлович, отбивая охотку жалеть себя и себе подобных.

Весной в ледоход заломало каркасы. Того и гляди расколется лопасти колеса, а то разворотит и всю плотину. Яков Павлович поугрюмел. Смотрел на заторины льда, навалившиеся на сваи, и спрашивал у себя: «Али ничего не сможем? Неуж всю работу собаке под хвост?»

С вечера выпал реденький снег, а ночная стужа смо-розилась лед, и продвигка его задержалась. Яков Павлович разбудил председателя до рассвета, уволок на реку и, махнув рукой на глыбины льда у плотины, строго спросил:

— Что станем делать?

— Да чего уж тут. Нечего, — мрачно поморщился председатель. — Человек бессилён. Стихия. Придется смириться.

— А я не смирюсь! — встревожился мельник. — Не для того мы меленку возводили, чтоб уступить ее ледолому! Будем строить из бревен быки! Вон там! В полусотне шагов от плотины.

— Не успеем, — понурился председатель.

— Коль не будем лясы точить — успеем! Айда подымать народ!

Этот день всем запомнился в Ермакове, потому что и стар и мал были подняты спозаранку, чтоб спасти колхозную мельницу от беды. Яков Павлович бежал, ездил, приказывал, злился, был похож на артельного вожака, от которого все зависит — и сбор камней по угорам реки, и подвозка бревен на тракторных волокушах, и рубка па смерзшихся льдинах двух водорезов, и загрузка их комьями, камнями и землей.

К обеду здорово потеплело, лед на реке подрамяк и стал колебаться, вот-вот готовый тронуться в путь. Два свежесрубленных ряжа тяжело осаживались на дно. Их углы, обитые белым железом, отливали на солнце жестоким блеском. Мужики, слышав ход под ногами, бросились к берегу наутек. Последним бежал среди них весь запаренный, с топором за поясом мельник. На потном его лице блуждала улыбка. Да и у всех, кто стоял в ту минуту на берегу, было как-то приветливо на душе.

Поднятый волнами половодья лед угрожающе неся вперед. Дорогу ему преграждали два водореза. Лед набегал на них с толстым шипением, лез по железу, ломался и падал обломинами в реку. «Вот оно, дело рук человеческих! — думал Яков Павлович, глядя со всеми на водорезы. — Стоят будто ратники среди битвы. Любая вражина им нипочем...»

Поздний зимний рассвет. Зыбкий наливень света затопляет лед на реке, слань, дорогу и мельницу, в невысоких дверях которой — и умен, и весел, и добр — сам дядя Яша. Рядом с мельником паренек. Говорит:

— Помельничать вот хочу!

Из-под белых бровей на мальчика блещут круглые, с хитрецей, все понимающие глаза:

— Сомневаюсь: сумеешь ли?

— А чего... Я дрова вон умею в поленницы класть.

— Ну если дрова умеешь...

На задвижку ложатся ладони — детские и мужские. Движение рук — и кипящие струи реки тяжело устремляются вниз.

Снег. Вода. Багровое солнце. Запах бревен, зерна и мороза. У парнишки сердце в груди, будто радостный воробей, так уж прыгает, так летает. Очень хочется стать ему мельником — работающим, просужим и сильным, как дядя Яша.

ПЕРВАЯ ПОЛУЧКА

Там, за хвойным плетнем, томятся от зноя зеленые гряды. А за ними вся прожженная солнцем поселковая улица.

От промчавшихся МАЗов — гарь и пыль. Зато под стенкой сарая будто в погребе. Выступ крыши бросает длинную тень. Нет ни мух, ни слепней.

Васька, не вставая с травы, достает из кармана бутылку. Достает небрежно, лениво, точно приходилось ему это делать множество раз.

— Вермут... — Голос у Васьки совсем равнодушный.

Но Сережка знает, что Васька рисуется. Опять изображает из себя пожившего человека, привыкшего, чтобы все с него брали пример.

Мысленно Сережка над ним смеется. Ваське что? Можно и представляться. У родителей единственный сын. Живи в свое удовольствие. Сережка тоже бы не прочь пожить без забот. Но разве это возможно? Мать у него — одно название, что труженица. Сердце у нее слабое — того и жди, что окончательно сляжет. Да и братишек у Сережки целая куча. Сам-то бы он еще ничего, мог бы обойтись и без вкусной еды, и даже без магазинных обновок. Но братишки без этого не могут никак.

У Сережки узкие мальчишечьи плечи, но голова большая и голос с переходом на бас.

Он выжидательно смотрит на Ваську:

— А если узнают учителя?

Васька встряхивает бутылку:

— Пускай! Мы тепере от них независимы!

Ответ успокаивает Сережку. С Васькой где пропадешь? Разве только на устном экзамене. Там он обычно подмигивает своими голубенькими глазами, требуя срочной подсказки. А за подсказку — лишь оплошай — живо за дверь окажешься. Сегодня Сережка и Васька сдали последний экзамен. Счастливее их не найдешь!

Сережка разламывает кусок черного хлеба. Побольше половинку — Ваське, поменьше — себе:

— Ты раньше когда-нибудь пил?

Уголки Васькиных губ презрительно опускаются вниз:

— Не впервой! Вот выпьем и пойдем к девкам в барак.

Сережка внимательно смотрит на Ваську. Вроде говорит без притворства. Нет уж, Васька как хочет, а он в барак не пойдет. Сережке становится стыдно, стыдно то-

го, что еще не случилось, но что может случиться, если он не поссорится с Васькой.

Сережка уже и не рад, что согласился с ним выпить. Зачем ему это вино? Лучше бы пойти на реку. Удил бы потихоньку ельцов и плотвичек.

Река для Сережки — родная стихия. Каждое лето он на ней пропадает. Мать ему и уши наварит, и рыбников напечет, а когда лов особенно щедрый, снесет рыбу в столовку и на выручку купит что-нибудь из одежды. На другие-то деньги трудно справиться обновку.

Работает мать в бараке техничкой, и полочки хватает только-только, чтоб в долг не забраться. Да Сережка и сам понимает, что лучше жить они не могут пока. Вот когда он в годы войдет да начнет работать в дежанке, тут они живо окрепнут.

Васька возится возле забора, пытается сорвать с бутылки железную пробку.

— Дай-ко я! — говорит Сережка. — Я зубами ее.

— А не сломишь?

— Не... У меня кривые они. И сломя, дак не жаль.

Сережка напрягся, но железная сковородка как примерзла к стеклу. Он хочет уже разжать занывшие челюсти, но замечает, что Васька смотрит в его рот с уважением, и Сережка еще сильнее цепляет зубами пробку.

— Ладно, буде, оставь, — разрешает Васька.

Но Сережка оставить не хочет. Он уже чувствует, как пробка медленно начинает подаваться, отходя от стекла.

— Ай да ребятушки! Что делают-то они? — неожиданно громыхнул возле них голосище.

Васька метнул голубыми глазками на Сережку: прячь, мол, скорей. Но Сережке прятать куда? По губе у него уже кровь сочится, а зубы застряли под пробкой. Он и опомниться не успел, как за бутылку схватилась рука мастера Ларина — волосатая, мягкая, с медным кольцом на мизинце.

— Да-а... Воспитала школа ребятушек! — Голос Ла-

рина насмешлив, а мясистое, с двойным подбородком лицо готово выразить осуждение. — Неплохое начало! Гляди, как шикают! Ровно богатые купчики!

К взрослому Сережка всегда испытывал почтение и чувство зависти. Хотелось ему, как они, работать и получать зарплату. Сколько в семье счастливых минут, когда приносят домой покупки! Сережка ждет не дождется, когда и он принесет братишкам по новым штанам, а матери красивой ткани на платье. Он на любую работу готов. Пошел бы хоть на сучки, хоть на выкатку бревен. И, понимая, что просить об этом лучше всего мастера Ларина, смотрит сейчас на него с виноватой улыбкой.

— Ты, дядя Коля, выпей-ка лучше с нами, — не смущается между тем Васька.

Сережка видит, как его дружок из кожи вон лезет, чтобы показать себя рубахой-парнем, которому все дозволено и все нипочем. «Сейчас он разнесет тебя в хвост и гриву», — думает Сережка о мастере. Но Ларин лишь насмешливо произносит:

— И это нашего передового тракториста сынок? Да-а...

— Дядя Коля, — просит Сережка. — Вы всяко нпкому не расскажете?..

— А чего, дядя Коля, — подхватывает тут же и Васька, — чего рассказывать-то?

Ларин снисходительно улыбается:

— Уж не в школе ли вы такие увертки себе заучили?

— Дядя Коля, так без уверток-то как? Без уверток-то не больно легко школу окончить.

Ларин тоненько усмехнулся:

— Шустер ты, Василий! Ну прямо Шурпк, да и только!

— Какой Шурик!

— Ну, ребятушки... фильмы, что ли, не смотрите? — Мастер достал бутылку, которую до этого положил в карман, повертел ее и вернул Сережке. — Ребята-то вы

больно хорошие. Ладно уж, выпейте, как уйду. От одной авось не подеретесь.

Сердце Сережки радостно затрепетало. Что за человек этот Ларин?!

Мастер уже сделал шаг к дощатой калитке, но задержался.

— А у меня есть до вас предложение, — обернулся он. — Взять хоть тебя, Василий. Летом-то ты чем намерен заниматься?

— Ничем, дядя Коля! — весело ответил Васька. — Я летом ничем не занимаюсь!

— А ты? — Ларин недоверчиво взглянул на Сережку.

Под взглядом мастера Сережка сконфузился. Но, осилив смущение, посмотрел на Ларина с надеждой, точно ждал от него такого, от чего бы вся его жизнь повернулась в лучшую сторону.

Сережка часто думал о матери. Как много сделала она для него! Восемь лет проучила. И хотя мысленно видел себя в будущем студентом лесотехникума, он понимал, что пока об учебе ему не мечтать. Надо было думать, как поддержать мать и младших братишек. Поэтому, когда Ларин предложил ему поработать на пойме реки — застолбить низкий берег, чтобы осеннее половодье не разбросало сплавляемый лес, — он сразу же согласился.

— Держись покрепче за мой локоток! — посоветовал Ларин. — Я человек крутой, но, ежели кто мне понравится, век свой не обижу.

* * *

Мать радовалась, словно маленькая.

— Теперь, надо быть, заживем. Можно и гостей по праздникам принимать.

— И мой день рождения справим?

— Справим, Сереженька!

— А если дядю Колю к нам в гости?

— Ну как же... — соглашается мать. — Без этого то-

же нельзя. Отец-то живой был, так небось каждое воскресенье у нас тесненько было. Гостей найдет — поворотиться негде. И высокое начальство тут, и соседи с женами, и кавалеры, и крали всякие. «Сыграй-ко давай, Андрюша, на выходку!» — крикнут отцу. А тот и рад стараться. Гармонику в руки — и такая пляска, что половицы стонут.

Вспоминая, мать с нежной гордостью смотрит на сына. Не пожалуется она на своего большака. Отец как помер от несчастного случая, думала, немного без него неживет. Трудновато пришлось: до этого она, кроме домашних, никаких дел не знала. Предложили полы мыть в бараке. А в бараке мужики стояли с семи деревень. Грязь, пылица, дыму втугую. На карачках с утра до вечера. И семилетний Сережа с ней. Жалеет мамку свою. Под каждую коечку заберется. Ползает с тряпкой, да так аккуратно все вымоет, что переделывать после не надо.

И все-то время он ей пособляет. И дров к печам натаскает, и сушилку затопит. Летом дел поменьше, так спешит на реку. Без рыбы дня не сидели.

Радует сердце матери, что из сынка работник выйдет завидный. Даром, что худенький, зато старания столько, что хватило бы на троих.

Сережка еще с вечера заступ напильником наострил. А утром сразу засобирался на пойму. От завтрака отказался.

— Проработаюсь, дак тамо поем.

Мать на крылечко вышла проводить. Смотрит любовно на сына: и ноги слегка корячит, и чуть горбится — ну, точно покойный папаня.

* * *

Придя на берег, Сережка сразу сообразил, что к чему. Для начала стал выкапывать ямы. Береговой дерн податлив: лопата легко вонзается. Над головой пролетали длинноклювые курочки, что жили здесь в поросших осокою старицах.

Вскоре пришел мастер Ларин со своей дородной женой Галиной. С собой они принесли пилу «Дружба», топоры, бак с бензином.

— Столбов тебе напилим, — сказал Ларин, кивая на лес. — Так что ты знай только копай да ставь их.

Сережке стало неудобно: и чего надумали пособлять, да еще в воскресенье?! А он-то считал, что принесет из дому лучковку да потихоньку и напилит столбов. Ни к чему теперь стала лучковка.

Поуспокоился Сережка лишь после обеда, когда, свалив и раскряжевав с полсотни деревьев, супруги ушли в поселок.

Перед уходом Ларин сказал:

— Даром что из одних косточек сложен. Да-а... Есть хватка. Ежли и дале так пойдет, то через месяц, поди, и закончишь?

Похвала ободрила Сережку. Его узкие плечи слегка приосанились.

— А потом-то, дядя Коля, мне дадите работу?

Ларин был предоволен.

— Да я из тебя своего помощника сделаю. Быть тебе, Сережка, десятником!

Сережка с малолетства такой: как похвалят — рад сделать того лучше и больше. А тут печется сам, ну-ко, мастер! Хочет, чтобы он был на порядочной должности. Сережка представляет себя десятником: как он измеряет диаметры бревен, распоряжается, куда лес разгружать, и все его слушают.

Хорошо, когда в голове легкие думы. С ними и усталости нет, и работается словно под песню. Тонкая шея Сережки набухла от напрягшихся жил. Ладони к вечеру горели, словно их поджаривали на костре. И все-таки Сережка пошел домой не сразу, как окончил работу.

Бесшумным, но порывистым взмахом он закинул в реку прозрачную леску. Поплавок тут же дернулся, резко уйдя в черную суводь. Елец оказался тяжелым. Очер-

тя в воздухе круг, он гулко шлепнулся у Сережкиных ног. За первой рыбиной — и вторая. А там и третья...

К задворкам поселковых домов Сережка подошел уже в смутных потемках. Продавать рыбу он не собирался, но ему встретилась жена дяди Коли. Увидев связку крупноголовых ельцов, стала просить:

— Сереженька, продай мне рыбку! Вот обрадуется-то мой!

Сережка рад просто отдать рыбу — удовольствие людям сделать. Но Галина не понимает. Деньги в руки сует.

— Не надо, — противится Сережка.

Но Галина карман отыскала, подмигивает:

— Надо, Сереженька, чтобы честно все было.

Когда Сережка извлек из кармана серого пиджака скомканный трешник, Галинино платье мелькало уже за ближним хлевом.

Многого не знал еще в жизни Сережка. Окружавшие его люди казались ему понятными и простыми. И не думал он, что за один какой-то день его представления о некоторых из них могут так измениться.

День тот начинался, как и все прежние дни. Сквозь глушняк на болоте сочились пучки рассветного солнца. Пахло поспевшей травой. И длинноклювые курочки, как обычно, сновали над островками осоки.

Сережка закапывал последние столбики, когда увидел у дальних надолб высокого человека. «Да это дядя Федя, кажись», — обрадовался он.

Во время учебы Сережка почти каждый вечер навещал Ваську. Бывало, расшумятся они или начнут бороться на разостланных на полу фуфайках, а дядя Федя только что с трактора. Должен, казалось бы, прикрикнуть на них или выгнать на улицу. Но такого не случилось ни разу.

Тетя Вера порой недовольна, слушая их шумные споры: дескать, что из них дальше получится, если теперь уже все понимают.

А дядя Федя ее успокаивает:

Вскоре пришел мастер Ларин со своей дородной женой Галиной. С собой они принесли пилу «Дружба», топоры, бак с бензином.

— Столбов тебе напилим, — сказал Ларин, кивая на лес. — Так что ты знай только копай да ставь их.

Сережке стало неудобно: и чего надумали пособлять, да еще в воскресенье?! А он-то считал, что принесет из дому лучковку да потихоньку и напилит столбов. Ни к чему теперь стала лучковка.

Поуспокоился Сережка лишь после обеда, когда, свалив и раскряжевав с полсотни деревьев, супруги ушли в поселок.

Перед уходом Ларин сказал:

— Даром что из одних косточек сложен. Да-а... Есть ухватка. Ежли и дале так пойдет, то через месяц, поди, и закончишь?

Похвала ободрила Сережку. Его узкие плечи слегка приосанились.

— А потом-то, дядя Коля, мне дадите работу?

Ларин был предоволен.

— Да я из тебя своего помощника сделаю. Быть тебе, Сережка, десятником!

Сережка с малолетства такой: как похвалят — рад сделать того лучше и больше. А тут печется сам, ну-ко, мастер! Хочет, чтобы он был на порядочной должности. Сережка представляет себя десятником: как он измеряет диаметры бревен, распоряжается, куда лес разгружать, и все его слушают.

Хорошо, когда в голове легкие думы. С ними и усталости нет, и работается словно под песню. Тонкая шея Сережки набухла от напрягшихся жил. Ладони к вечеру горели, словно их поджаривали на костре. И все-таки Сережка пошел домой не сразу, как окончил работу.

Бесшумным, но порывистым взмахом он закинул в реку прозрачную леску. Поплавок тут же дернулся, резко уйдя в черную суводь. Елец оказался тяжелым. Очер-

тя в воздухе круг, он гулко шлепнулся у Сережкиных ног. За первой рыбиной — и вторая. А там и третья...

К задворкам поселковых домов Сережка подошел уже в смутных потемках. Продавать рыбу он не собирался, но ему встретилась жена дяди Коли. Увидев связку крупно-головых ельцов, стала просить:

— Сереженька, продай мне рыбку! Вот обрадуется-то мой!

Сережка рад просто отдать рыбу — удовольствие людям сделать. Но Галина не понимает. Деньги в руки сует.

— Не надо, — противится Сережка.

Но Галина карман отыскала, подмигивает:

— Надо, Сереженька, чтобы честно все было.

Когда Сережка извлек из кармана серого пиджака скомканный трешник, Галинино платье мелькало уже за ближним хлевом.

Многого не знал еще в жизни Сережка. Окружавшие его люди казались ему понятными и простыми. И не думал он, что за один какой-то день его представления о некоторых из них могут так измениться.

День тот начинался, как и все прежние дни. Сквозь глушняк на болоте сочились пучки рассветного солнца. Пахло поспевшей травой. И длинноклювые курочки, как обычно, сновали над островками осоки.

Сережка закапывал последние столбики, когда увидел у дальних надолб высокого человека. «Да это дядя Федя, кажись», — обрадовался он.

Во время учебы Сережка почти каждый вечер навещался к Ваське. Бывало, расшумятся они или начнут бороться на разостланных на полу фуфайках, а дядя Федя только что с трактора. Должен, казалось бы, прикрикнуть на них или выгнать на улицу. Но такого не случилось ни разу.

Тетя Вера порой недовольна, слушая их шумные споры: дескать, что из них дальше получится, если теперь уже все понимают.

А дядя Федя ее успокаивает:

— Дальше из них люди получатся, так что пусть готовятся к этому сыззаране.

...Серезжа отставляет лопату. Смотрит, пожмуриваясь от жарких лучей. Длинное, с запавшими щеками лицо дяди Феди выглядит мрачным. Таким Серезжа дядю Федю еще никогда не видел. «Быть может, неприятность какая случилась? Иначе зачем ему слоняться по пустоши», — думает он, но спросить не решается.

Первым заговаривает дядя Федя:

— Деньги зашибаешь? — Он в упор смотрит на закопанный столет.

— Надо начинать и работать, — отвечает Серезжа.

— А мой Василек думает не эдак...

Серезжа настораживается:

— А где он сейчас?

— Был у дяди в гостях. В Вологде. Знаешь город такой? Потом к тетке поехал, в Москву. — Помолчав, дядя Федя невесело добавляет: — Это ему, видишь ли, нравится. Тебе денежки зашибать нравится, а ему по гостям кататься.

— Ты, дядя Федя, плохо о нас думаешь. — Серезжа решает заступиться и за себя, и за друга.

Дядя Федя улыбается, но так устало, точно ему жить надоело.

— Плохо ли, хорошо ли, а все-таки думаю. А вот когда совсем не думаю...

— Дядя Федя, как жить-то, если не думать?

— Кто не думает, тот не живет.

— Что же он делает-то тогда?

Но Васькиного отца сбить с мысли не очень-то просто.

— Кто не думает, тот питается.

Дядя Федя поворачивает обратно в поселок, но Серезжа окликает его. И он, постояв в нерешительной позе, возвращается.

— А Васька-то у меня ведь под следствием... — неожиданно говорит он, глядя прямо Серезжке в глаза и видя, как в них застывает страх. — Сдружился с город-

ской шпаной, — продолжает дядя Федя. — Так вот дружки эти подзуживать его взялись. До того доподзуживали, что Васька захотел им нос утереть. Спер с прилавка бутылку. Держит в руках: смотрите-де, ни шиша не боюсь. Хотел, видишь ли, назад вино-то поставить. А тут милиционер окажется. Дружки-то, чтоб подозрение на них не пало, схватили Ваську за руки: вора-де держим...

— Неужто посадят? — вырывается у Сережки.

Но дядя Федя, так и оставив вопрос без ответа, теперь уже решительно и быстро удаляется вдоль белеющих на-долб.

Сережка ложится рядом с водой, опустив голову на кулаки. Он никак не может представить, что теперь будет с Васькой.

Из травы Сережка поднялся, услышав топот коня. Не хотелось никого сейчас видеть, но мастер Ларин обрадовал его, сообщив:

— Сегодня твоя первая трудовая получка! Пока ты получишь немного. Но ты не смущайся, Сережка! Будет все хорошо! Сделаю я из тебя десятника! Ей-богу!

Легко и мягко входили слова мастера в сознание паренька. И хотя досадная мысль о Ваське не оставляла его, но раздумья о предстоящих деньгах, на которые Сережка сегодня же сделает покупки — пусть не шикарные, не дорогие, но зато позарез нужные его матери и младшим братишкам, несколько заслонили ее.

В конторе на Сережку никто не обратил внимания. Однако, подойдя к столу, за которым выдавал деньги лысый кассир, он от смущения едва выговорил свою фамилию.

— Так, значит, Чекалев... Двадцать два рубля восемнадцать копеек.

Засунув быстро деньги в карман, Сережка направился к выходу. Но от дощатого барьера отделился дядя Федя:

— Что-то маловато ты, браток, получаешь...

Лучше бы дядя Федя сказал ему это один на один. А то при народе. Еще подумают, что до денег он жадный. И спиной и шеей чувствует Сережка на себе липкие взгляды.

— Что вы хотите? — слышит он главбуха в очках, который сидит за центральным столом, опираясь локтями на голубой лист стекла. — На ремонте лежневки никто больше еще не зарабатывал. Рубль восемьдесят в день — ставка твердая.

Сережка уже жалеет, что пришел в контору так рано. К закрытию бы явиться — никаких бы и разговоров.

— Чего вы чепуху городите? — говорит дядя Федя, перевалившись грудью через барьер. — Парень остолбвойкой поймы занимался! А вы про какой-то ремонт!

Бухгалтер обиженно уткнулся в бумаги.

— Чем бы ни занимался, это нас не касается.

— Нет, касается! И хотите вы того или нет, а я узнаю на кого составлен наряд за остолбовку реки, — разгорячился дядя Федя.

— Нам это неизвестно, так что можете не кричать, — недовольно прервал его бухгалтер, зачем-то протирая при этом стекла очков.

Но лысый кассир вдруг, оторвавшись от бумаг, стукнул кулаком по углу стола.

— Как это, Леонид Дмитрич, тебе неизвестно? Да ты сам кипятился, с каких, мол, это пор стала Галина Ларина эстоль денежек заколачивать! За остолбовку-то она семьдесят три рубля получила! Что, вспомнил небось? Сейчас найду и наряд. Это нам недолго...

Дядя Федя изумленно посмотрел на Сережку:

— Ничего не понимаю. Выходит, не ты, а жена мастера берег-то столбила?

— Да, — вконец стушевался Сережка. — В воскресенье она работала вместе с Николаем Александровичем...

Он стал весь красный, когда в дверь вошел сияющий Ларин и бодро воскликнул:

— Здорово, народ!

Он передал бухгалтеру синенький табель и тут же заторопился назад.

Но, робея и смущаясь, Сережка заговорил с ним:

— Дядя Коля, тут за ремонт за какой-то я получил зарплату. А ведь ремонта-то никакого я не делал...

— Ах ремонта... — сказал Ларин тише обычного. — Ты уж извини, Сережка, извини, милок, но сейчас мне некогда. Потом мы с тобой разберемся.

— А не лучше ли сейчас, Николай Александрович, — требовательно вмешался дядя Федя.

— Федор Иванович! — улыбнулся Ларин. — Я же сказал. Зачем повторять дважды? И вообще я не люблю, когда суют нос не в свое дело. Я, например, не спрашиваю тебя, за какие такие грехи сыночка твоего забрали...

У Сережки заныла душа. Как так можно? Забыв о себе, он беспомощно смотрел на вцепившиеся в борт пиджака дяди Федины пальцы.

— Знаешь, что я скажу... — прохрипел дядя Федя.

Но Ларин дожидаться не стал и быстро прошел в коридор.

* * *

Матери Сережка ничего не сказал. Зачем ее зря расстраивать? Но самому ему было обидно вдвойне — и за себя, потому что подарков никаких не купил, и за дядю Федю. Что же это такое? Человек от горя весь потемнел, а его тем же горем и донимают.

Мать, считая Сережкины деньги, задумчиво улыбалась:

— Стало быть, гостей на выходной позовем.

— Кого, мама?

— Да хотя бы Николай Лександрыча. Уважил он нас с тобой, не поглядел на бедность сиротскую.

Сережка пробормотал что-то невнятное и, жалея мать, предложил:

— А может, мама, пока без гостей...

В дверь постучали. В тусклые сумерки кухни шагнул Ларин и по-хозяйски начал распоряжаться.

— Достань-ка, Петровна, стакашки, — сказал тоном, не терпящим возражения. Потом извлек сверток и подмигнул пригорюнившемуся Сережке. — Вермут! Твое, поди-ка, любимое?

Сережка повернулся к окну:

— Я не пью.

— А с Васильем-то не ты, что ль, за воротник-то закладывал? А, Сережка? — Ларин потрепал его своей мягкой ладонью по согнувшейся узкой спине. — Садись-ка давай. И ты, Петровна, садись.

Сережка глядел на бойко бегавшие по столу пальцы Ларина и жалел, что тот застал его дома.

— Ладно, Сережка, брось дуться, — заговорил Ларин отеческим тоном. — Не пьешь, так приневоливать не буду.

— Не в том дело, дядя Коля, — тихо сказал Сережка.

— Ну что ж, — улыбнулся понимающе Ларин. — Тогда насчет денежек потолкуем. Кто как, а я лично готов принять грешок на себя. Без грешка лесорубу жить ныне нельзя. Верно говорю я, Петровна?

В жизни мать не прекословила никому. И сейчас подержала с улыбкой:

— Стало быть, верно, Николай Лександрыч.

Ларин, цокнув о прокуренные зубы стаканом, сделал крупный глоток. Потом, вспомнив, видимо, что-то важное, отставил стакан:

— Говорят, рыбный купец у нас объявился. Не слышал, Сережка?

— Не...

— Я не верил сперва. Мало ли, думаю, сплетников-то у нас. Но наемдни Галина моя домой прибегает. «Рыбки, — говорит, — свежей купила». В самом деле: пескаррики там, ельчишки. Интересуюсь: «Сколько это стоит?» — «Три рубля! За меньше-то, — говорит, — выторговать не могла». Да-а, Сережка... — Ларин повернулся к нему.

грузным туловищем. — А может, ты знаком с крохобором-то с этим? Может, ты знаешь его, а, Сережка?

Узкие плечи Сережки опустились мгновенно, как если бы надавили на них чем-то тяжелым. Заметив это, Ларин пододвинул к нему полный стакан.

— Не будем, Сережка! Не будем про эти грешки! Выпьем давай мы за тебя! За будущего десятника выпьем!

Сережка вдруг пожалел, что нет сейчас рядом с ним дяди Феди. Тот бы в обиду не дал. Тот бы поставил Ларина на место. «И долго за меня заступаться будут другие?! — пришло неожиданно в голову. — Почему я сам не заступлюсь за себя? Боюсь я, что ли?»

Сережка уловил на себе взгляды матери и братишек. Они смотрели на него с надеждой, и это помогло ему набраться решимости.

— Дядя Коля, — порывисто сказал он, — а ведь вы не живете. Совсем не живете!

— Что же я тогда, по-твоему, делаю?

— Питаетесь вы...

— Ишь ты, что знаешь! Так ведь это не диво...

— Нет, диво!

Сережка шел на серьезный спор. Это Ларин почувствовал и, чтоб охладить паренька, спросил тоном строгого официальным:

— Почему?

— Потому что вы питаетесь как...

— Как кто, Сережка?

— Клопы... Знаете, как питаются?

Оба подбородка Ларина стали мгновенно багровыми. Он с грохотом поднялся со стула, распрямил коренастые ноги, глянул в упор на Сережку, но, не выдержав его взгляда, снова опустился на стул.

— Верно, Сережка, — сказал он наконец слабым голосом. — Верно, что жить не живу, а проживать проживаю. И людям не в радость, и себе не в доход. А что делать теперь? Что, Сережка? Ведь задним-то умом дела

все равно не поправишь. Или уйти с мастеров! Довольно! Зажирел на народных харчах. Как ты полагаешь, Сережка? Уйти?

— Полно-ко, Николай Лександрыч, — сказала Петровна, расчувствовавшись от слов Ларина. — Куда ж ты с мастеров-то? Живи уж, как живется.

— Жить что?! — сказал Ларин измученным голосом. — Жить можно ползая. А можно ведь и летая. Вот ведь какую загнул мне твой Сережка загадку. Да-а. И все ведь сходит к тому: на каких памятьх останешься у людей... На каких?..

Сережка окончательно был сбит с толку. Минуту назад он этому Ларину готов был плюнуть в глаза. Теперь же чувствовал себя перед ним виноватым. Душа его страдала: слова Ларина, как колючки, впивались в сердце, и было больно их слушать, так больно, что Сережка не выдержал:

— Дядя Коля, вы не расстраивайтесь. Я не хотел, да уж так получилось. Простите меня...

Ларин ушел, унося на лице усталую полуулыбку, какой улыбаются умные люди после трудной победы. «Поживешь на веку, поклонись и сопляку», — шептал он, озираясь на огороды и дворики.

Но на улице было безлюдно, светила луна, и шифер на крышах отливал молочным мерцанием.

ВАРЯГ

Варя, девочка боевая, с лепточками в косичках, все лето бегаёт босиком. У ребят она в верховодах. «Мне бы парнем родиться, — говорит она им, — я бы вас тогда всех удальцами сделала!»

В редкий день на нее не бывает жалоб. Отец с матерью меж собой: «И в кого такая растет? Не девчонка — чистый варяг...» Перемолвились шепотком, а услы-

шала вся деревня. На другой день забыто Варино имя. Вместо имени прозвище.

— Э-э, Варяг, кому лобанов опять надавала?

— Не ты ли, Варяг, Ондрейчика моего на корову сажала?

Надоело родителям слушать жалобы на девчонку. Как бы дочку остепенить? Рассудили — давать каждый день задание по хозяйству. И вот первое:

— Воды натаскаешь в кадцы!

Кадцы стоят в огороде. Задумалась Варя: откуда брать воду? Пруд пересох. До реки триста метров, если таскать одной, те работы хватит до темноты. «А я из колодца буду!» — настроилась Варя, но тут же смутилась, вспомнив: вода-то вон как глубоко. И взрослые охают, когда достают.

Залезла Варя на изгородь огорода и зорко, по-птичьи оглядывает деревню. Под сомлевшей листвой берез — два ряда осанистых изб. За ними, против конторы, на длинном шесте полыхает розовый флаг, поднятый в честь Вариной мамы, лучшей доярки колхоза. Откуда-то из прогона в коротких с лямочками штанишках выбегает юркий Серега, самый хвастливый мальчишка деревни. В руке у него горбатая палка, рубит крапиву. Приложив к губам колечко из пальцев, Варя громко свистит. Серега мотает лохматенькой головой, дескать, слышу и, сунув палку меж ног, мчится на ней к окрайке деревни, воображая себя верховым.

Варя довольна. На чистом и гладком лице — хитренькая улыбка. Кого бы еще позвать, думает про себя. И видит в черемухах, под качелью, кроткого, маленького Ванюшу в милицейской фуражке на голове. У Ванюши толстый живот, но тонкие ноги, и толку от мальчишка, стало быть, мало, однако Варя свистит и ему.

Показались из-за забора братья Гоша и Сано Рычковы, коренастые крепыши с разляписто-мягкими, как оладьи, ушами. В братьях Варя тоже пуждалась, особенно в Гоше, который умеет колоть дрова и ползать по са-

мым высоким деревьям. Потому и для них повторяет свой свист, прыгнув с изгороди на землю.

«Хватит нас», — полагает Варя, увидев себя окруженной стайкой ребят.

— Чего, Варяг, делать-то будем? — спрашивают ее. — Может, в лес по грибы? А то в города поиграем: Вологду и Архангельск. — Но на уме у Вари другое.

— Ведра несите из дому! — говорит. — Пойдем на колодец!

Предложение необычно, оттого ребятам оно и любо. Сверкая пятками, бросились по домам. Обернулись за три минуты. И вот, оглушая деревню ведерным визгом, бойко спешат за Варей к колодцу.

В глубине покрытого зеленью сруба мрачно блещет вода. От нее отдает сонным холодом подземелья. Ведро, скоргоча колодезной цепью, выбивает глухие всплески и ныряет в черный квадрат. По торцам деревянного ворота — две железные рукоятки. Попарно крутят ребята. Поднимают ведра одно за другим. Принимает их Варя. После второго ведра руки у девочки так устали, что даже дрожь появилась в пальцах. Хорошо, хоть Гоша сменить догадался.

Потирает Варя ладони, на которых от цинковых дужек темно-розовые рубцы, встает на Гошино место и на пару с пыхтящим Саном крутит железную рукоятку.

Но и Гоши хватает лишь на два ведра. Обжигает Варя взглядом Ванюшу.

— Теперь ты! — тыкает пальцем в околыш его милицейской фуражки.

Ванюша краснеет. Он самый махонький, самый слабый, осенью в школу только пойдет.

— Да ему не поднять! — усмехается Сано.

Но Ванюша ступает к срубу. Вот и ведро. Оно мерцает сырыми боками, скользит меж ладоней и так тяжело, что Ванюша не может стронуть его даже с крюка. Поднимает глаза. В них растерянность и досада.

— Кто? Кто говорил?! — артачится Сано и бросается смело к ведру. Подтянул его к стенке сруба и давай для чего-то вертеть, точно было оно горячим. До того довертел, что Варя взмолилась:

— Долго ли там? Сымите! Неуж ли который не может?

— Может! Может! — откликнулся юркий Серега. — Это что для нас? Это не тяжесь.

Его лохматенький чуб наклонился к ведру, руки в стороны разметнулись, закрепляясь на стенках сруба. Пить Серега совсем не хотел, но стал пить, да с таким наслаждением, будто пять дней кормили его селедкой. Напившись, взглянул на державших ворот ребят: как, мол, я, ничего? Убедившись, что ничего, решительно взялся за дужку.

— Это нам хоть бы хнэ! — заверил Серега и, отделив от крюка ведро, вдруг почувствовал, как оно потащило его в глубину.

Ладно, Варя успела. Перехватила ведро, поставив его на мостки.

— Что? Умаялся?

Серега заносчиво улыбнулся.

— А может, я понарошке? Может, я представлялся?

Но Варе сейчас не до спора. Как бы выкрутиться самой. По ее загорелому лбу крадется морщинка. Варя думает над вопросом. А вопрос у ребят один:

— Куда, Варяг, воду-то?

Девочка смотрит на ведра. Вода светлая в них, будто воздух. Скажи бы, что надо нести в огород, поливать капусту и помидоры, и никто бы до ведер не дотронулся. Потому отвечает с намеком:

— У нас в огороде кадки. А в кадках рыбка живая...

Идут ребята с водой, и каждый завидует Варе. Живая рыбка! Это же надо! До чего догадалась девчонка?! И им бы такую рыбку! Почему бы и нет? Вот посмотрят сейчас у Варяга и у себя заведут.

За крыльцом острокрышнего дома — большой огород,

весь зеленый от рослой ботвы картофеля, перьев лука и помидоров. На крючьях вдоль крыши подвешен осиновый желоб. Под желобом — кадки. Перед тем как вылить из ведер воду, проверяют ребята рыбку: где, какая и быстро ли плавает? Но вместо рыбки в кислой воде — жучки-плавунцы, водолюбы и водомерки. Возмутились ребята:

— Это как же, Варяг? Омманула?

— Ничего-то не обманула! — разводит руками Варя. Разводит растерянно, с непониманием. — Была рыбка-та, плавала...

— Давай озерй! Сказывай сказки!

— Да вон! Вон! Видите! — Варя кивает в сторону бани, на дощатом князьке которой сидит откормленный серый кот. — Это он! Васька! Он рыбку-то слопал! Айда-ко имать!

Бегут ребята наперегонки. Кто бороздкой, кто прямо по грядке, а Серега, желая быть обязательно первым, — по аккуратненьким батожкам, вокруг которых прут вверх помидоры. Кот дожидаться, понятно, не стал. Царапнул по князьку и стрелой в сухую сурепку, густо росшую на меже.

— Утикал? — растерялись ребята. — Чего теперь-то, Варяг?

— Как чего! — улыбается Варя. — Побежим на реку! Новой рыбки наловим! Кто за мной?

Все готовы за ней. Но не сразу. Варя делает жест.

— Только вот чего, — говорит, — забыла, который из вас самый-то расторопный?

Откликается первым Серега:

— Я, наверно! Меня дома мать даже грабли вон заставляла делать!

— Вот и ладно! — согласна с ним Варя. — Нам такие умельцы как раз и нужны! Ты, Серега, нагонишь нас. Воду в кадцы как перельешь — и нагонишь. Добро?

Возмутиться Серега готов. Вонзив руки в карманы коротких штанов, умоляюще смотрит на Варю, дескать, я пошутил — никаких граблей я не делал.

Но знать об этом Варя не хочет. Повернулась к нему спиной, по которой тотчас же заколотились тугие косички. Огородом, кустами и пожней мчится Варя к реке. Вслед за ней ребята.

Над рекой огромным лимоном висит июльское солнце. Ребята скидывают одежду и ныряют в густую воду.

— Хорошо как купаться, да?

— Попробуй! Вода-то теплая!

— А и правда! Вода-то у-уй!

— Пойдем забредемте-ко выше!

— А под водой как добро!

— Во нырять-то!

— Я у самого донышка был!

— Ты, Гошка, озяб?

— Я нисколько!

Совсем позабыли ребята, что пришли на реку за рыбой. Накупавшись до синевы, вспоминают об этом с досадой:

— Чего, Варяг, может, не будем ловить-то ее?

Варя стоит на коленках, дует в ползущий по щепкам огонь.

Задыхнулась от дыма и со слезами в глазах:

— Давайте не будем. В другой раз наловим...

Окружили ребята костер. Суют в него палки и щепки, и руки суют, пытаюсь согреться. Огонь растет, оплывает ступенями дыма. Ванюша, тряся подбородочком, предлагает:

— Може, домой?

Удивляется Варя, смотрит на малого с интересом:

— Чего дома-то делать?

— Мне-ка ести охота.

— А кто будет прыгать через костер?

Ванюша конфузится:

— Я маленький. Я не умею.

— Куда ему, экому мухоренку, — замечает с презрением Сано и переводит глаза на Варю, — валяй-ка сама!

Варю упрашивать дважды не надо. Отступила к стол-

бу на меже, разбежалась и пронесла на плечах ворох дыма и искр.

— Твоя теперь очередь! Ну? — тыкнула пальцем в широкую Гошину грудь.

Гоше что? Гоша — парень рубаха. Думать долго не любит. Пролетел над костром как лохматая птица. Вид спокойный, ленивый, будто прыгал через канаву.

Варин палец направился к Сану. Сано мелко дрожит. На щекастом лице — умоляющая улыбка.

— Нога чего-то болит. Вывихнул, что ли?

Из-за Вариного плеча мелькнул околыш красной фуражки, и Ванюша голосом бодрым, будто сделав открытие, говорит:

— А я знаю! Я знаю! От страха нога у него заболела!

Сано краснеет. Откладывая в уме мыслишку о том, как бы потом расквитаться с Ванюшей, поворачивается к костру. Ножки его проворно мелькают. Перед самым огнем они резво взрывают пепел и проносятся возле огня, над дымящейся головешкой.

— Слабак, — заключает Серега и замечает, как в плоский его живот упирается Варин палец.

— Покажи слабакам, как наши умеют!

Серега с опаской глядит на костер. «Экой огнище! Да на нем изжариться можно. Хотя бы разика в два поуже...» Серега пробует улыбнуться. Улыбка жалкая и кривая.

— Ладна! — сказал с отчаяньем человека, попадающего в беду.

За костром, который он одолел с зажмуренными глазами, ощущает, как возвращается прежняя смелость.

— Это что? Разве костер?! — небрежно показывает ладошкой. — Мне бы разика в два пошире!

Соглашается Варя:

— Можно и шире! — и командует ребятней, чтобы та тащила в огонь все, что под руки попадет — щепье, батожье, наносные кряжики ихламинник. Костер раздви-

гается, рвется стрелками вверх, плюется алыми угольками.

И вдруг ребята растерянно заморгали. Забытый всеми Ванюша смело вбегает в огонь, теряется там, машет руками. Хорошо хоть Варя успела схватить за кривой козырек милицейской фуражки и, вытащив из костра, хочет обнять его как героя. Но раздается тяжелый топот. Варя вскидывает бровями. Межой ячменного поля с грозно поднятым кулаком ступает побѣжкой ее отец!

— Демонята! Вон, вон отседа! Чтоб духу вашего не было! А тебе, Варька, вечером будет баня!

...Бани вечером не было. Заступилась за девочку мать.

— Лучше снова дадим задание, — предложила.

Сколько было этих заданий. И вот новое:

— Козу будешь пасти!

Хуже нет для Вари работы, чем следить за козой. Коза вредная. То, повиливая хвостом, убежит к межнику, за которым гряды с колхозной картошкой, то просунет рога в огород и, застряв меж жердин, заревет, как ревут все дурные и глупые козы. Варя носится за козой, как за чертиком на копытцах.

И сегодня носилась за ней, исколов в шиповнике руки и ноги. Облегченно заулыбалась, заслышав сухонький хряск. На высокую изгородь огорода заползают братья Рычковы. Сано, младший, в слезах, Гоша, как имениник, весел.

— Слышь, Варяг! — сообщает с радостью Гоша. — Санко-то сейчас эмалированное ведро утопил в колодце. Отец-от знаешь у нас! Исполосует как зайца!

— И не жалко тебе? — удивляется Варя.

Гоша сидит на жердине, болтает ногой.

— А чего растяпу жалеть! Да потом оп, знаешь, он ябеда.

— А ты вор! Вор! Удочку у Сереги кто стибрил?

— Ах удочку, говоришь? Да я счас! — Гоша спихивает брата с жердины, сам за ним, в лопуховую заросль, и готов уже размахнуться, но Варя ему не дает, встает

перед ним и тоном взрослого человека, у которого силы и власти больше, наставительно говорит:

— Ишь герой! Воюешь-то хорошо, да не там!

— Где? — требует Гоша. — Где, договаривай, коли заикнулась?

— В колодце! Взял да ведро-то бы и достал!

— Скажешь тоже! Такой колодец! Да в нем запросто застегнешься!

Комельком березовой вицы Варя пишет слово на тропке.

— Читай, — говорит, наводя взгляд на Гошу.

Гоша читает: «Трус».

— Это ты, — поясняет Варя.

Гоша в спорах горяч и отважен, уж в обиду себя не даст.

— А ты чем лучше меня? — Его серые глазки, как ножички, заблестели, загрозили. — Коли ты не трус, так валяй и достань!

— Подумаешь, — усмехается Варя, — достала бы за просто, каб не коза. Куда деваюсь я с ней?

В самом деле: куда? Братья в тягостном размышлении. Гоша щупает зуб, норовя расшатать его, если он вдруг поддастся. Сано тайно чему-то рад. Неожиданно предлагает:

— А давай твою козу! Чего? Подержу, так и быть.

— У-ю-ю! — удивленно моргает Гоша. — Ну да брателко у меня! Как, Варяг, полезешь теперь?

Варя тут же сообразила, что дала она маху.

— На-а, — уступила Сану кривые рога козы и пошла найзволоч к отводку, за которым виднелись крыши деревни.

На скуластом лице коренастого Сана — лукаво-тайное торжество. Лучше нет для него забавы, чем сманить кого-нибудь из ребят на плохое или опасное дело. «Неужо полезет в колодец? — с укрядцей думает он, волоча за собой упиравшуюся козу. — Никуда, поди, не полезет. Вот похэхать-то можно...»

В прогоне, почуяв родное подворье, коза сердито нажилила шею, повела ею вбок, уронив завизжавшего Сана.

— Она вон какая! Еще удерет...

— Надавало мне вас! — сердится Варя. — Счас! — И дворовой тропой бежит к себе в дом. Обратно выходит с куском пирога.

— Биля, Биля, Биль!

Биля метнулась к крыльцу. От крыльца вслед за Варей — к поленнице дров. Ее белая мордочка вот-вот схватит пирог. Варя дразнит ее:

— Не сразу, Биля, не сразу.

Она кладет на поленницу доску, взбирается вверх. Оттуда — на крышу сеней. Коза на желтых тугих копытах тук-тук-тук по доске. Забежать с покатою крыши сеней на крутой скат избы ни для Вари, ни для козы труда большого не составляет. И вот они на дощатом князьке. Дальше некуда подниматься. Варя сует в крупнозубую пасть кусок пирога. Биля трясет бородой, благодарна и очень довольна.

— Вот теперь тут и стой!

Варя на корточках, будто с горки, соскользнула по крыше на двор. Удивляются братья:

— А она не свалится?

— Коли свалится — подберем.

Гоша спрашивает с восторгом:

— Тебя, Варяг, отец-от чего? Не стегает, что ли?

— Не хлещет ремнем-то? — добавляет и Сано.

— У кого они ныне не хлещут! — отвечает с вызовом Варя. — Только я не даюсь!

Всю дорогу, пока идут до колодца, Сано смотрит на Варю. «Неуж ни капельки не боится?» — думает про себя. Повернув к нему гладенькое лицо, Варя язвительно говорит:

— Завидуешь, может?

Сано смущен.

— Не... Я так...

— Сбегай-ко лучше по доску. Вон лежит у ворот.

Доску братья тащат к колодцу. Закрепляют ее. На душе у Вари тоскливо. Она косится по сторонам. Но вокруг никого. Весь народ на покосе. Она с тревогой смотрит в колодезный сруб. Там, внизу, на черном квадрате лежало маленькое лицо. «Это я!» — догадалась. Снизу повеяло подземельем.

— Всяко цепь-то не оборвется, — сказал неуверенно Гоша.

И Сано сказал:

— Железная, не должна б...

Варя схватилась за тонкую цепь. Посмотрела на братьев. Те, не выдержав взгляда, опустили глаза. «Кто-нибудь бы остановил», — обреченно подумала Варя.

Доска под ногами качнулась. Качнулась и Варя. «Стойте, ребята! Ведь я пошутила!» — хотелось сказать, но вместо этого приказала:

— Раскручивай! Да живей!

Доска потянула ее за собой. Слева и справа — бревна сопревшего сруба. На них паутина, плесень, грибки. А вон и печальный, с усами, весь в желтых точечках, жук. Жук, тряся хоботком, упорно лез вверх, пробираясь, видимо, к свету. Варя вздохнула. Чтобы немножко себя подбодрить, поглядела на рожицы братьев. Снизу казались они смешными.

— Эй, вы! — прокричала.

А кричать ей было не надо.

— Ви-ви-ви! — викнул Сано и, отпрыгнув назад, как сдаваясь в плен, поднял руки.

Гоша глазками, как ножами, резанул его по лицу.

— Наза-а-ад!

Но ворот рванулся, вскинул Гошу на рукоятке, разорвал рубаху и майку и, швырнув на мостки, затрещал развиваемой цепью.

Пугаться Варе некогда было. Навстречу метнулись ветер, сумерки и вода.

А сверху на мостках лежал распластавшийся Гоша.

Поднимаясь, заметил Сана. Тот бежал, прижимаясь к забору, и тоненько-тоненько подвывал. «Догонить! Свалить! Излупить!» — приказал себе Гоша и рванулся в погоню за братом. У почты, где развевался полотняный флаг, Гоша услышал блеяние козы. Остановился. На крыше крайнего к полю дома увидел ревущую Бильку. И лесника дядю Колю увидел. Тот, перегнувшись в спине и касаясь ладонями крыши, мелким пашком подбирался к козе. Вот он резко к ней наклонился, взял в охапку и начал спускаться назад. Гоша услышал:

— погоди! Вот придешь домой! Ну да будет! Ну да повертишься под ремнем!

Сердце у Гоши зябко заняло. Хуже не было наказания, чем идти сейчас к леснику. Но идти было надо. И Гоша пошел.

— Дядя Коля! Варька у вас в колодец свалилась!

— Чего мелешь? Чего?

— Скорей, дядя Коля! Может, еще и не утонула...

Лесник встал, застигнутый жуткой вестью. Коза скользнула из рук, скатилась во двор по гремящим поленьям. И дядя Коля скатился. И тут же тяжелой побегой, не помня себя от беды, припустил вдоль деревни.

Вот и сруб. Заглянув в колодец, лесник увидел черную клетку воды. А на клетке — маленькую головку.

— Варя? Э-э? Как ты там?

Шелохнулась головка, булькнув косичками по воде.

— Студено.

— Сейчат поташу. Удержаться-то сможешь?

— Что, бессилая я?

Сухо, россыпью, как дресва под подошвой, затрещала на ворота цепь. Забирая на руки мокрую дочку, лесник увидел привешенное ведро. Снимая его, возмущенно спросил:

— Чье? Рычковых? Так это ты из-за них?

— Не жалуйся, папка. Не надо. Отец у них знаешь. Да потом я ведь их напугала сама. А пугать-то было нельзя...

Над дорогой, струясь и ласкаясь, плыл нагретый солнышком воздух. На руках у отца плыла в этом воздухе Варя. Было ей беззаботно, тихо и просто, будто так весь день и сидела на дюжей отцовской груди, наполняясь теплом и покоем. Однако пала на ум коза, и девочка вновь затужила. «Неужто и завтра ее стеречь?»

— Пап, — сказала, — купи скорее корову.

— Куплю. Вот скопим за лето денег и куплю.

— А пока не купите, что? Мне все козу пасти?

Глаза у отца мягкие, синие, как из ситца. Взглянул на дочку, словно ее погладил.

— Не-е, хватит! Коза тобой не особо довольна. Уж лучше дадим тебе новое дело. Какое хочешь-то, а?

— Которое веселей!

В соседнем проулке раздался стук палки, глухо бухнувшей по крапиве. Разглядела Варя смущенного Гошу, а подальше, за ним, с низко опущенной головой и виноватого Сана. Припомнилась Варя, забилась в отцовских руках.

— Пусти! Смотрят! — И мокренькой рыбкой скользнула в траву.

— Завтра пойду клеймить для рубки колхозный лес, — промолвил отец, — хочешь, возьму и тебя?

Улыбнулась Варя.

— Я циферки буду писать на деревьях! — И, покосившись на братьев: — А можно взять с собой ребят?

— Мне-ка не жаль. Да боюсь, что они не пойдут.

— Это как?! — удивилась Варя и, соорудив из пальцев колечко, свистнула что было сил.

Братья словно этого только и ждали. Подбежали. На плотных, скуластых лицах готовность немедленно сделать все то, что им сейчас ни прикажет Варя.

— Завтра с нами лес окольцовывать пойдете?

— Пойду! — улыбнулся счастливо Гоша.

— А ты?

— Возьмете, дак как! — улыбнулся и Сано.

— Меня все они слушаются, — поведала Варя отц

отойдя подальше от братьев. — Захочу, и другие пойдут. Только свистну.

За ближним овсяным полем послышались голоса. Варина мама! И разговаривает с Никитой, старшим Вариным братом, который работает пастухом. Оба идут с работы домой. Варя схватила отца за рукав.

— Ты не сердишься на меня?

— Не сержусь.

— Тогда не сказывай маме. Не говори, что я падала в этот колодец.

— А чего сказать-то тогда? Ты вон какая сырая.

— Ты как маленький, па. Все-то надо тебя учить. Скажи, что в лужу упала.

Отец погладил Варю по голове.

— Уж лучше скажу, что ты рыбу ловила. Не удочкой, правда, а носом. Эдак-то будет верней.

Варя довольна. Довольна шуткой отца. И идущими по дороге Никитой и мамой довольна. И вечереющим днем довольна, в свете которого видит крыльцо родимого дома, а на крыльце бабушек Анну и Александру со снующим меж ними веселым Мишуткой. Все трое сидят в зеленом и пышном, срывают мягкие шишечки хмеля.

Предвечерие. Усики света сквозь тучу. Запах поспевшего хмеля. Теплынь. Лица самых родных, самых близких людей, которые вдруг оказались все вместе. Наполняется Варино сердце любовью. Она глядит и не может никак наглядеться на бабушек, братьев, отца и мать, на медленный ход вечереющих тучек, на смутные тени домов и обманчиво-мягкую гривку далекого леса.

КАМУШЕК

Берега здесь затоплены. Бесконечные плавни с обломками старых ольшин и кустами сутулого белотала напоминают о чем-то неузнанном и печальном, навеки схороненном под водой. Трижды бывал я

на этой реке. Рыбы тут много. Одно неудобно — негде вздуть вечерний огонь. И все же костры кое-где полыхают. Я был свидетелем, как один рыболов варил уху в деревянном корыте, которое было привязано к лодке и плыло вместе с огнем по реке.

И вот я снова спешу в край затопленных трав. До лодочной станции добираюсь по зыбкому ярусу рослых осок. Слышу голос сторожа лодок, мохнатобрового, в детской кепке, корявого мужика:

— Гад такой! Только мне попадись! Так уважу шестом вдоль хребтины, что забудешь, куда и сесть!

Я догадался: кто-то угнал со станции лодку. Не позавидовал смельчаку, потому что сторож был вознамерен разделаться с ним как с личным врагом. Пройдясь по болотному льну с нервно закушенной папиросой, он начал было отвязывать лодку, чтобы отправиться срочно в погоду, но тут послышался выплеск воды.

— Едет, в гробу его ноги!

Подняв над водой заносчивый нос, лодка вертко шла по канаве. В корме, обнимаясь с шестом, стоял лысоватый, в очках и кожаных броднях мужчина.

— Здорово, ребята! — Он широко улыбнулся. — Наверно, лодки хватились?

Сторожа затрясло:

— Кто тебе разрешил ее взять без спросу?

— Сам не пойму! — Мужчина направил нос лодки к причальной скамье. — Пришел — никого. Ну и решил вон до тех ивнячков прокатиться.

— Я вот тебе прокачусь! — В руках у сторожа вырос батог.

Мужчина вышел из лодки:

— Правильно! Я виноват! Не спорю!

— Да я стяжком тебя по очкам!

— Можно и по очкам.

— Искупаю, как лягушонка!

— Обижаться не буду.

— Ноги переломаяю!

— Валяйте и ноги.

Сторож даже растерялся: не ожидал, что так необходимо и покорно можно встречать его грозную брань.

— Как тебя там? — спросил, втыкая батог.

Мужчина ответил:

— Овинин.

— Согласный, смотрю, на все. Это почто же так у тебя, товарищ Овинин?

Овинин покладисто объяснил:

— Мой бог — справедливость. Заслужил худое — худое и получи. Вот я, к примеру, сейчас провинился. И хотел бы лодки у вас попросить, да уж не-ет. Потому что вы не дадите. И за это вас даже мысленно похвалю, благо поступите справедливо.

В глазах у сторожа брызнул смешок.

— Непонятно, товарищ Овинин. Наш брат живет как придется да как поведется. А ты по какому-то правилу, что ли?

— Да! Да! По правилу! — согласился Овинин. — А правило у меня такое: ступай по жизни только прямой дорогой. Сам иди прямоком и другим не давай, чтоб сбивались. Все давно бы у нас жили при коммунизме, кабы не эти отходы с прямой дороги...

— Ладно. Вижу, в башке у тебя не тесно. — Сторож, видимо, не любил слушать умные изъяснения и, кивнув головой на лодку, добавил: — Залазь обратно. Рыбачь. Только путевку сначала оформи.

Пока они заполняли путевку, я поднял шест и, шагнув в загремевшую лодку, начал ее выводить на реку. Не проехал и полканавы, как услышал:

— Вы тоже с ночевкой?

Я неохотно откликнулся:

— Тоже.

— Тогда я вас догоню. Вдвоем интересней.

Пересев на дощатую банку, я поспешил поднажать на

весла: хотелось побыть одному, без собеседника на рыбалке. Благо рыбалка тем и бывает великолепна, что на ней отдыхаешь от множества слов, которые слышишь на улице, дома и на работе, от всех знакомых и незнакомых, родных, приятелей и начальства, с кем по воле случая или судьбы ты обязан поддерживать разговоры.

Пахло мокрыми веслами и осокой. Солнце снижалось. Я нашел одно из спокойных окон, завел туда лодку, воткнул долгий шест и привязался к нему веревкой.

Клевало неплохо. Удочка то и дело тащила вверх упиравшихся окуньков, и в груди, убажая душу, играла азартная страсть. Было в ней что-то радостно-хищное, с чем человек, поди, и родился, с чем и живет, умея время от времени дать этой страсти поблажку.

Однако всему наступает конец. Солнце завязло среди топей, стало темнеть, и надо было задуматься о ночлеге. Наученный горьким опытом прежних рыбалок, теперь я был при дровах, которых набрал, проплывая вдоль голых, с ободранной шкурой кустов белотала. И место скоро нашел, где бы можно было зажечь костерок, облюбовав для этого стайку поросших пушицею кочек.

Сидеть на кочке было хотя и мягко, но сыро, к тому же с каждой секундой она погружалась все глубже и глубже, и мне приходилось над ней привставать, дабы ненароком не искупаться. Так же было непросто разжечь и сушняк, ибо кочка тряслась каждой осочинкой и травинкой. И все-таки мой костерок занялся — худенький, бледненький, низкорослый, однако достаточный для того, чтобы сварились уха.

Сумерки быстро густели. Мерцала река. Ночь смешалась с потемью трав, поднявших над рекой свои высокие стебли.

После ухи потянуло на сон. Но едва оттолкнул послушную лодку, устроился в ней на решетке, прикрывшись коротким плащом, как дрема исчезла, к душе прикорнуло что-то скитальческое, бродяжье.

Было слышно покойное бормотание, с каким вода об-

текала нос лодки. Крякнула утка, взлетев в трех шагах из косматой травы. Повеяло стынью. Вверху, на южной окраине неба, нашел три звезды Ориона. А потом и Полярную отыскал. Соединяя их, видел немыслимо длинный космический луч, который, как стрелка буссоли, показывал путь. Путь тому, кто сейчас заблудился и торопится выйти к ночному жилью.

Заснул именно в ту минуту, когда подумал, что не засну. Сквозь сон кто-то спрашивал у меня: той ли дорогой плывет моя лодка? Откуда я знал. В ночи ничего не видно. Однако вопрос звучал и звучал. Чтобы уйти от него, я сказал: «Перестаньте про эту лодку: она уже никуда не плывет». И едва я это промолвил, незамедлительно и проснулся, с удивлением обнаружив, что лодка действительно не плывет.

Я уселся за весла. Заметив плесо стеклянно-пологой воды, стал разматывать леску.

Клевало лучше, чем на закате. И опять в груди, согревая озябшую кровь, трепыхалась радостно-хищная страсть. Светало. Сквозь клочья тумана вставала земля с ее отдаленными берегами, травой на воде и летящими куликами. На какой-то миг мне поверилось, будто я нахожусь везде, умудрившись сродниться с природой так нераздельно, так обтекаемо и так просто, как это может только предутренний ветерок.

Возвращался я к лодочной станции с ощущением тайны, к которой нечаянно прикоснулся, будто увидел голую девушку на реке и стал от этого чуть смущенным.

Было уже не рано. От затопленных трав опускались зеленые тени. Толкаясь шестом к тесному лежбищу лодок, я слышал резкие голоса. Пригляделся и понял, что это Овинин и сторож. Оба чем-то возбуждены. Казалось, они никуда отсюда не уходили, спорили ночь напролет, не умея мирно друг с другом расстаться.

Овинин в косо посаженных на нос очках, бухая бродями по воде, шел на сторожа так, точно хотел его опрокинуть.

— Фамилия?

— Вроде бы Щекин. — Сторож сдался к ведру, зеленевшему на пороге передвижного домика-караулки. — Только не круто ли размахнулся, в гробу твои ноги, товарищ Овинин?

— Сеткой ловил? — Овинин кивнул на ведро, в котором вровень с краями пестрели жабры, головы и хвосты.

— Сеткой.

— Вот и попался! — Овинин достал из кармана серенький документик. — Я кто, по-твоему, Щекин? На работе я — инженер по труду и зарплате, а на реке — общественный рыбинспектор. Мой бог — справедливость.

Сторож поморщился, снял с головы староватую, в мелких клинышках детскую кепку, обтер исподом распаренный лоб.

— Больно громко заговорил.

— А я со всеми так, кто ворует!

Мохнатые брови Щекина тесно сбежались.

— Брось цепляться, Овинин. Возьми-ка лучше пару рыбех.

— Взятку суешь?

— Да не взятку. Эт так. Чтоб скорей от тебя отвязаться.

— Совесть мою оценил в два лещевых хвоста?

— Да бери хоть четыре! Только оставь меня, ради бога.

Овинин пообещал:

— Оставлю, однако сперва объясню...

Нервы у Щекина, кажется, сдали. Отчаянно сплюнув, он наклонился к ведру, схватил его и поставил к ногам инженера.

— Чего объяснять! Забирай всю рыбу! Ешь ее с пузырями! И двигай отсель!

— Я не из тех, — Овинин взглянул на Щекина с превосходством, — не из тех, кто берет. А мог бы. И сколько угодно. В своем управлении я на самом денежном месте сижу. Захотел бы — карманы трещали от денег. Давно бы

и дачу имел и «Волгу». А вот не имею этого ничего. И не буду иметь. Потому что стараюсь жить честно.

Щекин насупился.

— Ну и чего ты со мной ладишь делать?

— Я ничего. Не потому, что этого не хочу. А потому, что ты можешь подумать, будто я за вчерашнее мщу. Вот товарищ — другое дело! — При этих словах инженер по труду и зарплате взглянул на меня так дружелюбно и так приятно, словно мне надлежало его поддержать.

Я поневоле опешил.

— Что другое?

Инженер подсказал:

— Вы можете акт составить на браконьера и сдать его в органы рыбоохраны.

На душе моей стало скользко.

— Но я не общественный рыбинспектор.

Инженер саркастически улыбнулся:

— Лишь бы не мне. Так у нас большинство. Щиплют, как курицу, наше богатое государство. Щиплют такие, как этот, — рука Овинина сделала жест, нацелив на сторожа белый палец. — А мы стоим с ними рядом и не мешаем.

Камушек падал в мой огород. Перекинуть его обратно я не посмел, потому что почувствовал: прав Овинин настолько, что с ним и спорить даже нельзя. Так с этим камушком я и пошел, направляясь болотной тропой к шоссе, к дороге. И Овинин пошел. Не прошли и десятка шагов, как раздался отчаянный голос:

— Товарищ Овинин!

Мы обернулись. Щекин стоял в позе смущенного мужика, кого внезапно ошеломили.

— Ты не подумай, — взмахнул он матерчатой кепкой, — что я какой-нибудь там браконьер! Я ведь старался для молодых! Сегодня у нас на деревне свадьба!

— А молодые кто тебе будут? — спросил с подозрением инженер.

— Просто мы рядом живем. — Сторож надел на голо-

ву кепку, виновато моргнул и вдруг умоляюще улыбнулся, точь-в-точь просил нас поверить ему, как человеку, который еще никого под худое не подводил, жил с народом в единое сердце и, если когда-нибудь поступался, то после этого каялся и страдал, как страдают, наверное, многие русские люди, кого судьба проверяет на прочность смущающейся души.

ОБМАНЩИК

Собирает дед Василий в сосновом болоте морошку. Полную корзину набрал, перевясло гнется. «Пойду домой, надо и другим оставить». Поднял ношу на локоток, ступил раз-другой, да и увидел, как в кустиках кто-то копошится. «Глядѣ, мужик товстой, да и в армяке чѣ-то...»

— Эй, гражданин-товарищ, чей будешь?

Бурый армяк зашевелился. Дед протер близорукие глазки. Прямо на него, переваливаясь, шел медведь. Сердце у старика зашало. А медведь возьми да еще рывкни. Дед корзину уронил, а потом и сам в кочки ткнулся.

Очнулся Василий не скоро. Встал, воровато огляделся и, хотя рядом не было никого, дал такую пробежку, что не заметил, как очутился в деревне.

К дому подбежал и вспомнил, что забыл на болоте корзину. Призадумался. Старуха-то у него — пила неточечная. Узнает, так перепилит всю плешь. Завернул к дружку своему Ивану. Тот, само собой, выручил старика, дал новенькую корзину.

И все равно дома Василия ждал разнос.

— Ты чего это, ротопеля?! — встретила старуха. — Без ягодок, да вроде и корзина не наша?

Чего-чего, а находить увертки Василий умел. По какой воде плыть, такую воду и пить. Премудрость эту усвоил давно. Приноравливался ко всякому. К старухе тем более. Знал, с какого боку гладить, с какого подтыкать.

— Напал, Александра, на место. Что ягод? Страшным-страшно! Да вот беда: недоспелые. Можно бы, конечно, и их, но у меня, сама знаешь, рука благословенная.

— Понеси лесной! Небось господь бы за руку не дернул!

Василий бровью не ведет. Чем крепче накачка, тем задора в нем больше.

— Понимаешь, Александра, на том болоте я мужика в старопрежнем кафтане встретил. Вроде моего кафтан-то — с подпалинкой. Помнишь, я еще в женихах к тебе в нем на сарайку побегивал?

— Спéхвай с языка-то! Спéхвай!

Глазки у старика плутоватой синью поблескивают — это, пока Александра в его сторону не глядит. Но стоит ей посмотреть, как глазки тут же тускнеют и блекнут.

— Да-к вот, — продолжал Василий, — стоим с товарищем на кочке, беседуем о том о сем. Комарики кусают, а нам хоть бы что. Еле распрощались, так друг дружке понравились. Спыхватился опосле. Гляжу: корзина-то обмененная. Вот те на? Так чиг-чигарем и остался!

— Ой негоразденький! Ой небойкий! Тебя по пустому делу только и посылать...

Корила Александра старика почитай недели четыре. Да что с ним станет? С него как с петуха дождичек. Той порой Василий подержанную берданку купил. Был у него в заначке капиталец, вот и пустил его в оборот. Теперь-то, думалось ему, по любые грибы и ягоды можно. Никакой зверь не тронет.

Вечером после покупки Василий пошел испытать ружье. Приколот к бане бумажку, улегся животом на огородную грядку — и давай грохотать! Только бревна похлопывают.

Старуха соскочила с крыльца, вся косматая.

— Ты чего, разбойник, тут делаешь?

— Ай не видишь? Исследование провожу, чтоб верная пуляло, когда буду квиты сводить с лиходеями.

У старой Александры глаза под лоб.

— Какими лиходеями, господь с тобой?

— С гадливыми, как на́покась живут да честной народ пужают.

— Вася, ты спятил? — сказала старуха слабеющим голосом.

Дед Василий и сам смекнул, что хватил немного не туда.

— Я это сослепу, — слукавил и, видя, что Александра поуспокоилась, добавил: — А можа, и другие так?

Старуха ничего не поняла, но чтоб не показаться бес-толковой, сама набросилась на мужа:

— А пушку-то эту какой придурок тебе дал?

Сознайся бы Василий честно, что на припрятанные рублики купил, тогда до крайнего бы дня не знать ему покоя.

— Интересуешься, кто пушку дал? — сказал он, медленно соображая. — Да вроде бы никто. Сам взял!

— Где взял-то? — насторожилась Александра.

Василий объяснил:

— Ходил на Власьеву-то пустошь закладывать стожок. Иду назад, да не дорогой, а леском. Где ягоду-другую съем, где гриб сломлю. Иду напрямь и глазам не верю, ружье под елкой стоймичком стоит, а на сучке, на моховатеньком таком, и патронташ. Дело неладное. Надо, ме-каю про себя, хозяина позвать. Давай нагаркивать. Кричал-кричал — не отзывается никто... — Василий углядел, что Александра слушает его с вниманием. «Ага! Поверила!» — подумал и недовольным голосом добавил: — Ну что глаза-то пелишь? Что на моем бы месте делать-то бы стала?

— Я-то? — замигала Александра.

— Ну вот, не знаешь. А я откуда должен знать? Взял, значит, все это хозяйство. Еще раз гаркнул. Ну и записку нацарапал. Можа, думаю, еще вернется.

— Кто? — спросила Александра.

— Кто! Кто! — придрался с удовольствием Василий. — Кабы тебя был поумней, сказал бы, так и быть.

А тут приходится догадку строить. Турист, поди-ко. Мало шляется их ноне?!

— А верно! — согласилась Александра. — Охотник ружьецо под елкой не оставит. Турист, турист! Ой, безголовый! На ночь глядя, блудиться по сузему? Сидел бы в городу-то у себя, глядишь бы, неврежоным и остался...

— Ладно, старуха. Ты больно-то уж не тоскуй. Местечко я тые запомнил. Завтра схожу. Попутно и черницы наберу.

И вот Василий снова на ногах. Идет по зорьке. На узеньком плече — ружье, на локотке — корзина. Далеко-то идти зачем. Заверотил за ближнюю поскотину и опустился на коленки. Брякают ягоды о липовые дранки.

На душе у старика задорно. Славно он вчера позабавлялся над старухой. И сегодня попотешится немало. Пусть думает, что городской турист еще не вышел из сузема.

Вокруг теплынь и тишина. Деревья стоят редко. Дед ездит на коленках по опушке, бруснит щепотками чернику, вдыхает запахи кустов и млеет. «Ловко-то когда соврется — аж сердце подымает». Старик и сам бы рад понять: откуда у него такая страсть к вранью? Хотя бы выгода была какая. А вот поди ж. Не может без фантазии ни дня.

Сыплются ягоды в корзину. Мешает на спине берданка. Дед хочет снять ее. Но тут же вспоминает встречу с бурым зверем, которого привял за мужика. «Теперь бы мне его сюда!» — мечтает.

За нависью осин вдруг тяжело и гулко затрещало. Василий резко распрямился. Корзину — в сторону. Ружье — на изготовку. Подслеповатые глаза за двадцать метров ничего не видят. Дед осторожненько крадется. Заметил метрах в десяти закопошившийся армяк.

— Ты, мой знакомый! — голосит в азарте и, прицелившись, стреляет.

Зверь падает. И сразу сквозь листву, ломая сучья и шиповник, пускается в пробежку стадо. Все в старопреж-

них армяках. «Неуж их ёстоль?» — Василий с робостью выходит на опушку. И, рассердясь сам на себя, плюется и мотает головой. Такая незадача! Целился в медведя, а попал в овцу. Чья хоть она? Дед наклоняется, вздыхает, удивляясь, что попал в свою домашнюю овцу.

— Чеко-чеко-чеконька! — пробует поднять. Но чеконька уже готова. «Что скажет мне Лександра? — думает Василий. — Испилит. А и поделом! Так мне и надо! Овечку-то для старшей дочери с зятьком держали. Хотели на Октябрьскую колоть, к приезду ихнему. Да вот...»

Однако сокрушаться долго старому негоже. Достал нож-складенец и начал на овце изображать царапки. Пусть Александра думает, что побывала под медведем.

— Лександра, — сообщил, зайдя в хоромы, — медведь едва у нас овечку не довел. Да и меня без кумпола чуть было не оставил.

— А?

— Собираю ягоды. Вдруг слышу: хрясь да хрясь. Я обернулся — две фигуры! Туда! Овечку нашу сразу и узнал. А на овечке — сам медведь! Долго не думая, бабахнул в середину. Жаль только: вышел перестрел. Одним зарядом и медведя и овцу. Зверя-то оно послабже тронул. Тот соскочил да на меня.

— Ну?

— А растерялся бы маненько, то не стоял бы я теперь перед тобой.

— Да ты-то ладно. С овечкой, говори, чего?

— Да как... Ведь не железная... Дух испустила.

— Ой, как теперь! Ой, наказание ты мое! Зоя приедет с Леней, а потчевать-то будем чем?

— Ладно, старуха. Ты тутю пореви. А я на двор. Лошадку запрягу. Скатаюсь за овцой.

Перепугалась Александра.

— И не пуцу! Зверь раненой! Али не знаешь? Да он тебя раз чикнет — и готово!

Дед усмехнулся в тощую бородку и, помахав перед старухой ружьем, сказал:

— Али не пушка? Да еще какая! Пстой! Турист, коль не найдется, дак я не только всех медведей, а и волков перестреляю!

— С твоим-то зрением? — удивилась Александра.

— А и без зрения могу!

— Без зрения?

— Ну да! Охотиться-то буду не один — с тобой на пару. Ты будешь мне показывать, где и какая ползет зверюга, а я, едрено горе, истреблять!

Глаза у Александры округлились:

— Вася? Чего с тобой? Откройся? Быть может, тебе лучше полежать?

Поморщился Василий: «Опять с фантазией перехватил».

— Не, — улыбнулся, — это у меня, видать, сослепу... — Пообождал секунду-две и, видя, что жена поуспокоилась, прибавил: — А можа, и другие так?

— Чего другие? — растерялась Александра.

— Да что и загодя! — Поправив на плече берданку, Василий весело и бойко вышел на крыльцо.

НИЧЕГО СМЕШНОГО

На слет передовиков животноводства из колхоза «Маяк» потребовали двух человек — Павла Ивановича Латкина, занявшего третье место в соревновании среди пастухов района, и доярку Агнию Петровну Алинину, о которой на днях в областной газете был напечатан подробный рассказ. Кому-то из них полагалось выступить с речью. Хотели было заставить Агнию, но обнаружилось, что доярка ни разу в жизни не выступала.

Латкину строго внушали. Сперва зоотехник:

— Расскажешь, как пас коров. Поделишься опытом. Дела колхоза лучше не задевай, а то перепутаешь ненароком.

И доярки внушали, велая кинуть камушек в адрес тех, кто готовит доильные аппараты.

— Сам работал на них, знаешь. Одна слава, что механизмы. Какой от них прок, коли доим наполовину руками...

И вот Паша с Агнией в зале районного Дома культуры. Расселись по разным местам. Алинина — где-то в середине, а Латкин — в первых рядах. Паша речь свою подготовил еще в машине, и хотелось скорее ее сказать, чтоб тем самым выполнить поручение, которое уже начинало его беспокоить. После каждого выступления он тянул руку вверх. Но его почему-то не замечали. Вызывали других. И вызывали по списку. «Ага! Тут не как на колхозном собрание. Надо, поди-ко, и мне записаться», — подумал Паша и посмотрел на президиум слета, запоминая плечистого, с начисто выбритой головой мужчину, который стучал карандашиком по графину и, вставая, выкликивал выступавших.

За трибуной уже побывали одетый в светлый костюм секретарь райкома партии Холмогоров, белобровая, с крупным лицом зоотехник районного управления Рогачева, дояр из Раменья Михоношин и награжденная орденом Ленина свинарка Савкова. Говорили о дисциплине труда, курсе технического прогресса, скрытых возможностях, встречных планах, резервах, надоях и рационах. Паша вникал в голоса сосредоточенно и серьезно.

В перерыве, пробившись среди делегатов, он подошел к председателю слета.

— Мне бы выступить надо, — сказал он ему. — Запишите. Фамилия — Латкин.

Председатель потер указательным пальцем по гладко выбритому виску, подумал пару секунд и догадливо улыбнулся:

— Понимаю! Ага! Хочешь, чтоб все на тебя посмотрели? Ну что ж! Это мы можем! Вот списочек! — Председатель достал из кармана вчетверо сложенный лист и протянул его Паше: — Жди! Я тебя вызову! — И снова,

порывшись в кармане, вынул оттуда блокнот с авторучкой. — Так как говоришь? Бабкин?

— Латкин, — поправил Паша.

— А имя? Отчество? Кем работаешь? Где?

Паша сказал и довольный, с сияющими глазами затопился в буфет, где, растолкав кого надо, кого не надо, купил четыре бутылки пива, выпил его и под залиvistый голос звонка вернулся в наполненный зал.

Пиво развеселило Пашу, и он с чувством гордого превосходства поглядывал на соседей по месту — парня в рыжих собачьих унтах, двух шептавшихся мужиков, сухощавенькую старушку и девушку с бусами на груди. Их-то не вызовут выступать, думал он, а его — непременно. И руки не надо ему подымать. Вызовут по бумажке, на весь зал объявив:

— Павел Иванович Латкин!

Полтора часа до нового перерыва Паша едва просидел. Беспокоило пиво. Надо бы было бутылки две, а то выпил четыре. Сзади кто-то ткнул пальцем между лопаток, предупреждая прошептав:

— Сидите спокойней! Что вы там дергаетесь как заведенный?

Паша даже не огрызнулся, лишь слегка покраснел, а когда председатель слета громким голосом объявил наконец-то о перерыве, быстрехонько встал и в толпе таких же, как он, любителей пива прорвался стремительно в туалет.

Пива он больше пить не посмел. Возвратясь в скрипевший сиденьями зал, стал терпеливо ждать, когда его вызовут за трибуну. Опять говорили о планах, резервах и рационах. Паша слушал уже с холодком, не вникая в смысл выступления. Волноваться он начал, когда услышал движение, какое обычно бывает в конце всех слетов и конференций. Лицо его выражало вопрос. Как же? Ведь он записался и должен бы тоже слово свое сказать. И вдруг он услышал, как председатель слета, сияя выбритой головой, объявил:

— Делегат из колхоза «Маяк» Павел Иванович Бабкин предлагает на областной слет животноводов выдвинуть следующих товарищей. Пожалуйста, Павел Иванович! — Председатель сделал ладонью жест, приглашавший Латкина за трибуну: — Сюда! Поскорее, товарищ Бабкин!

Понял Паша, что это его Бабкиным называют, поэтому встал и с пустой головой поплелся к трибуне, тщетно пытаясь сообразить: каких товарищей должен он предложить?

— Уважаемые граждане! — сказал он, смущаясь от многолюдья. — Я, по правде сказать, чего-то неправильно понял...

Зал оживился, зашелестел платьями, пиджаками, кто-то хихикнул, и председатель слета призвал карандашиком всех к вниманию:

— Тише, товарищи! Тише! Ничего тут смешного. Человек первый раз за трибуной. Так что можно его понять. Читайте, товарищ Бабкин!

Паша почувствовал холод под горлом, словно застрял там обломок льда, и нокаутился на красный стол.

— Чего читать-то?

Председатель поднял руку с карандашом, призывая уже не зал, а одного лишь Пашу к вниманию.

— Список кандидатур, — сказал он, стараясь, чтоб зал его не слышал, — он в кармане у вас.

Паша сунул руку в карман и с ужасом вспомнил, что списка больше не существует. И зачем он его измял? И зачем он бросил его в корзинку?

Зал ждал, затаенно следя, как Паша хлопал руками по пиджаку, как неожиданно побледнел, как хлебнул из стакана воды, как потерянно улыбнулся. Председатель слета с испариной, выступившей на лбу, хотел уже было отправить Пашу на место, как Латкин внезапно заговорил, называя фамилии тех, кто не был указан в списке. Президиум заволновался.

Зато у Латкина на душе стало как-то надежно. А ведь

минуту назад от позора, от страха он готов был провалиться сквозь пол. Но тут к нему и явилась эта толковая мысль, от которой сердце забилося спокойно и просто: «Почему с чужого голоса должен читать, ежели свой у меня в порядке?! Небось в людишках не ошибусь! Знаю я их! Бывал на этих собраниях. Да и газеты читал. И радио слушал».

Неожиданно для делегатов он улыбнулся и тоненьким голосом выкрикнул в зал:

— Доярка Меньщикова из «Сигнала»! Ладно?

Зал изумленно затих. Секунду молчал, а потом по рядам пронесся взволнованный трепет, а вслед за трепетом и нарастающий дружный ответ:

— Лад-но-о!

— Пастух Кокшаров из «Зари»! Сойдет?

— Сой-де-ет! — откликнулся зал.

Дальше — больше. Уже подсказывали из зала. Паша ловил подсказки и с ходу их предлагал:

— Телятницу из «России» Гладкову! Согласны?

— Согласны!!!

— Зоотехника Голубцова из «Красного Севера»! Против не?

— Не-е!!!

Фамилий десять, наверное, навывкрикивал Паша. А когда он сходил со сцены в своем немнущемся импортном пиджаке с незаметной резинкой на поясице, в адрес его такие сыпались аплодисменты, что никто не мог разобрать, какие слова говорил председатель слета. Пришлось председателю подождать, пока не усядется Латкин на место, и лишь после этого повторить:

— Список неполный. Есть предложение довести его до пятнадцати человек. Слово имеет товарищ Осинин.

Над красным столом поднялся редактор районной газеты Виктор Петрович Осинин, окинул зал радостными глазами и торжественным голосом заговорил:

— Предлагаю включить в состав делегатов областного слета животноводов первого секретаря райкома партии

Юрия Степановича Холмогорова, главного зоотехника производственного управления Лидию Васильевну Рогачеву, директора совхоза «Луч Октября» Алексея Фроловича Шульгина, главного инженера мясозавода Никодима Степановича Рычкова и секретаря парткома колхоза имени Ленина Илью Николаевича Попова.

Сделав короткую паузу, Осинин советующе взглянул на председателя слета и, уловив кивание гладко выбритой головы, продолжил:

— Из названных товарищем Бабкиным кандидатур прошу отвести кандидатуру пастуха Кокшарова, как морально неустойчивого в быту человека, и ввести в список вместо него доярку из колхоза «Маяк» Агнию Петровну Алинину!

Последние слова Осинин закончил с блеском в глазах, ожидая услышать аплодисменты. И они раздались. И тут же сквозь них отчетливо прозвучал баритон председателя слета:

— Кто за то, чтобы названных товарищей включить в состав делегатов областного слета, прошу поднять руки...

— Кто против?

Против не было никого.

ВЕНЯ, ПАША И КЛАДОВЩИК

Дорогу уже заливало ручьями, и пробраться в город мог только трактор, и то рискуя застрять в каком-нибудь водополье. Тракторист Веня Спаский, парень славный, но трусоватый, которому предстояло ехать, уперся как пень.

— Какова демона! Не поеду! Машину загроблю. Да и чувствую себя худо...

Пришлось ему выделить человека. Узнав, что поедет с ним Паша Латкин, Веня заулыбался, благо был рад бывалому мужику, с которым не пропадешь ни в городе,

ни в дороге. За Пашей он сбегал сам. Сказал ему о поездке. А Латкин только и попросил, чтобы Веня его дождал, пока он наденет фуфайку и шапку да прихватит еще рюкзачок.

— А мешок-то на кой? — полюбопытствовал Веня.

— Для провианта, — ответил Паша, пихая в рюкзак буханку черного хлеба и пару бутылок из-под вина.

— А склянки?

— Корова-то есть у тебя?

— Ну...

— Молочишка нальем. В дороге все пригодится.

Веня вспомнил про свой замечательный аппетит и про то, что денег в кармане всего два рубля, и загорелся желанием взять с собою еды по меньшей мере на четверых.

— Я сала еще прихвачу! — возбужденно сказал. — Вареного мяса. Мать вон рогулек еще испекла, можно и их. Да и луку...

Паша попробовал остановить:

— Куда тебе эстоль?

Но Спасский знал лучше.

— Мало даже. Чувствую по себе. Давно ли вон ел, а снова хочу.

Паша взглянул на него с сочувствием и тревогой.

— А ведь это, паре, худенько.

— Что жа?

— А то, что это от нездоровья.

Веня слегка побледнел.

— А может, и в самом деле? Я, ежели по правде сказать, в последнее время есть стал много и часто. Ем, ем, а наеся никак не могу.

Глаза у Паши прищурились, построжали, и где-то в их глубине блеснула догадка:

— Это первый признак рахита.

Почувствовав слабость в коленках, Спасский присел на дощатый коник, а Паша повел расспрос. Повел знающе, как многоопытный доктор, перед которым сидел больной.

— У тебя живот толстый?

— Ну...

— Ноги тонкие?

— Ну...

— Голова большая?

— Сам видишь.

— Вижу, — согласился с ним Паша и утверждающе досказал: — По всем статьям выходит рахит.

К трактору Веня брел с пугающей мыслью: «Такой молодой, а уже рахит?! Во гадство! Где его подцепил?» И пока заводил машину, пока шел по тропке к избе, пока запихивал в Пашин рюкзак бутылки с утренним молоком, пироги, лук и сало, мысль эта все разрасталась и разрасталась. А потом в голове его вспыхнуло озарение: «Ведь вылечиться могу! В город приеду, а там аптека! Зайду и спрошу таблеток. Только каких?» Протягивая Паше в кабину набитый едой рюкзак, Спасский сказал:

— Я счас. До медички только схожу.

Вернулся он через четверть часа — пристыженный, красный, злой. Паше — ни слова. Но тот и так уже догадался, какая у них там вышла беседа.

Сломив одну за другой несколько спичек, Веня прижег папироску и дернул яростно за рычаг. Волокуши, как плот, поплыли по жидкому снегу, шлифуя за трактором рубчатый след.

До города двадцать верст. Пока добирались, Спасский раза четыре прикладывался к еде. При этом намеренно чавкал и косил на Пашу свой бурый выпуклый глаз.

— Чего? Похудеть боиссе?

— Силу коплю.

— И много тебе ее надо?

— Немало.

— А для чего?

Спасский хотел сказать, что он подымает амбарные гири, готовясь стать чемпионом района, но Паша опередил:

— Жениться, значит, надумал! Приятное дело. Согла-

сен: тут без силешки нельзя. Без силешки в первую же ночь с коечки полетишь.

— Не ты ли невесту нашел? — обиженно буркнул Веня и повернул к мужику лицо — широкое в подбородке, но узенькое во лбу.

— А что! — улыбнулся Паша и тут же остыл, ибо вспомнил, что их деревушка невестами небогата. Одна, пожалуй, и есть — доярка Маруся. Вспомнил Паша, что в каждый праздник из-за Маруси случаются ссоры и драки, к которым Веня не расположен, поэтому ласково намекнул: — Маруська чем бы тебе не пара?

Спасский издал бормочущий звук, лицо его умилилось, и вместе с румянцем на обе щеки легло сияние тайной надежды.

— Только за эту Маруську, — продолжил серьезным голосом Паша, — надо повоевать. Тут верно ты говоришь — нужна и силешка.

Веня сидел, не смея пошевелиться. Слова мужика ложжились под самое сердце, и оно поднималось и опускалось. «А чё, — прикидывал парень в уме, — почему бы не попытать? С ней по-хорошему так никто и не ходит. Разве Борька Углов. А что мне Борька! Неужто этому охломону я уступлю?! Да ежели постараться...»

В город приехали в полдень. Было солнечно и тепло. По дорогам бурлили ручьи. Пахло осиновыми дровами.

Раскатывая санями, трактор двинул по улице в сторону базы. Спасский сидел взволнованный и сомлевший. В его голове созрел увлекательный план. Как только вернутся они в деревню, он с ходу — домой. Переоденется там, выпьет для храбрости двести граммов и немедленно в клуб, где и увидит Маруську, пригласит на первый попавшийся танец и под музыку радиолы скажет пару ласковых слов. А после напросится провожать, подхватит ее под ручку, и пойдет, пойдет у них разговор, какому будет завидовать каждый...

База районного отделения Сельхозтехники располагалась на склоне реки. Вокруг навесы, будки, сараи и

плывущий меж ними по рельсам высокий погрузочный кран.

Подогнав трактор поближе к конторе, Спасский выпрыгнул из кабины, достал из кармана вшестеро согнутый документ и уверенным шагом зашел на крыльцо.

В конторе сидел толстый мужчина, одетый в пиджак с помятыми лацканами. Его широкие пальцы рылись в конторских скрепках, составляя из них цепочку. Спасский сказал:

— Мне бы кладовщика.

Толстяк опустил цепочку и с любопытством поднял глаза.

— Чего у тебя?

— Да вот, — подал Спасский платежное поручение.

Кладовщик прочитал:

— «Культиватор, два плуга». — Потом взял со стола пачку «Примы». — Кури! — предложил и, когда тракторист закурил, доверчиво улыбнулся. — Приезжай лучше завтра.

Веня выронил сигарету, наклонился за ней, сунул в рот горячим концом и, фыркнув огнем и пеплом, передернулся и сказал:

— Во гадство... А почему?

Кладовщик с удовольствием объяснил:

— Потому что сегодня выдать не можем.

— Как это?

— Завбазой нет. Видишь! — И кладовщик описал рукой полукруг, забирая жестом последний пустующий стол, окно, вешалку с полушубком и этажерку со стопкой брошюр. — Так что поди. Погуляй до завтра.

— А завтра чего? Он будет с утра? — спросил Спасский со слабой надеждой.

— Может, с утра, а может, с обеда. Все зависит от обстоятельств.

У Вени голос даже осекся:

— Дак когда? Когда приезжать-то лучше?

Кладовщик опять улыбнулся, причем так приятно, так

симпатично, будто был очень рад, что отказывал человеку в том, в чем мог бы не отказать.

— Послезавтра! Если, конечно, он будет на месте.

Обескураженный, поглупевший, вышел Венья за дверь, постоял в коридоре перед плакатом, где был нарисован облокотившийся о радиатор трактора аккуратный одетый парень и написан бодрый призыв: «Живешь на селе — знай технику!» Погрозив кулаком аккуратному трактористу, Венья мрачно спустился с крыльца. «Ему добро, — ревниво подумал про Пашу, который на груди тесин ел картофельные рогульки, запивая их молоком, — с него взятки гладки. С него никто ничего не спросит. А с меня? Чего председателю я скажу... Ну гадство...»

Паша его окликнул:

— Вениаминко? Али кто расстроил?

Спасский пробормотал:

— Начальника нет. Велят приезжать послезавтра.

Паша есть перестал и, заткнув бутылку бумажной пробкой, пихнул ее для чего-то в карман.

— А кто велит?

Венья поморщился.

— Есть там один.

Латкин спрыгнул с тесин, посмотрел на окно деревянной конторы, нахмурился и, сказав: «Попытаю», — пошел по мокрой тропе.

— Как насчет нашего дельца? — спросил, закрывая дверь за собой. — Сочиним его али нет?

На круглом, белом, большом, как фарфоровый чайник, лице работника базы отразилось довольство.

— Ты кто? Бригадир?

— Он самый! — слукавил Паша.

Служащий базы правой рукой навивал вокруг левой цепочку из скрепок. Навив, протянул Паше «Приму». Но Паша достал из кармана «Шипку». И спички свои достал. Кладовщик улыбнулся.

— Я ведь, кажется, отказал твоему трактористу.

— А может, зря отказал? — улыбнулся и Паша.

— Зава сегодня нет.

— Зато есть его заместитель.

Заместитель похлопал ладонями по столу. Мягко этак похлопал, думая, словно что-то взвешивал в уме. Взвесь не в пользу Паши.

— Вы бы лучше сюда послезавтра...

— Можно, конечно, и послезавтра, — ответил Паша, — но у нас к той поре все прокиснет. — И шлепнул рукой по правой штанине, за которой угадывалась бутылка.

Кладовщик почесал по широкому белому носу, но спохватился и хмуро сказал:

— Вы что? Хотите меня подпоить? Да еще в рабочее время?

Паша подумал: «Ишь ты, как трудно к тебе подобрать-ся», а вслух намекнул:

— Можно и после работы.

— Я не о том...

— А я о том, что у нас не вино.

— А что же? — спросил с ухмылилкой кладовщик.

И Паша внутренне улыбнулся: «Вот и попался ко мне на крючок».

— У нас молоко. Три поллитры в кабине, да этта одна. — И Паша погладил рукой по карману.

Кладовщик помял для чего-то лацканы пиджака, потянулся, раскинул руки и, встав, посмотрел на платежное поручение.

— Культиватор, два плуга... — И вдруг в глазах у него мелькнуло нечто похожее на испуг, и он посерьезнел. — Нет, нет, мужики, не могу. Приезжайте лучше с утра...

Понял Паша, что он проиграл. Перед ним был не опытный плут, за кого он принял вначале кладовщика, а честнейший работник конторы, который радеет за общее дело и, наверно, готов бы был им помочь, да на это нет у него полномочий.

И тут взгляд у Паши упал на черненький телефон.

В одну секунду стало ему понятно, что должен он сейчас предпринять.

— Можно брякнуть? — спросил.

— Валяй, — разрешил кладовщик.

— Мне бы райком, —дохнул Паша в трубку, — первого.

Тотчас же послышался ласковый бас:

— Барышев слушает!

— Товарищ Барышев! — Паша заторопился, боясь, что в райкоме слушать его не станут, тогда поездка их будет ненужной и глупой, и придется в колхоз возвращаться ни с чем. — Товарищ! Это вам звонят с базы! Тут у нас незадача! Без вас ну никак. Надо технику получать для колхоза «Маяк», чтоб сегодня уехать домой. А кладовщик ни в какую... Вот он рядом... Да, понял, понял. Ему и передаю.

Кладовщик принял из Пашиных рук телефонную трубку, и по его лицу, по оладьеобразным ушам, по толстой, слоющейся шее словно бы зарево побежало.

— Да, да, — сказал он испуганным голосом в трубку, — Епифанов, я самый. Товарищ? Товарищ из «Маяка». Правильно, технику получает. Нет. Еще нет... Завтра получит. Сегодня никак не могу. Нет Парусова. Я. Я замещаю. Да в общем-то ничего. Ничего не имею. Конечно, конечно. Могу обеспечить. Прямо сейчас? Так, так...

Кладовщик мгновенно преобразился, стал услужливым, быстрым и расторопным. Надел полушубок, кивнул головой на дверь и едва не под ручку вывел Латкина на крыльцо, откуда скомандовал в сторону крана:

— Селиванов! Э! Подъезжай к культиваторам! Да живее!

Краном долго ли нагрузить. Раз, два — п погрузочный крюк уже подцепил культиватор. За ним тракторный плуг. Потом и второй. Волокуши крякнули от поклажи, а Веня Спасский, сияя как именинник, махнул пятерней, приглашая Пашу в кабину.

Латкин весело поспешил, как вдруг почувствовал на плече тяжелую руку в перчатке.

— А-а, это ты! — улыбнулся Паша.

Кладовщик стоял у груженных саней в широко распахнутом полушубке, с белым, как чайник, лицом, по которому шла вопросительная улыбка.

— А где у вас молочко? Я, конечно, сейчас пить не буду. Но дома. Почему бы дома не выпить. А, бригадир?

— Сичас! Живчиком я! — радостно крикнул Паша и побежал к кабине за рюкзаком. Вытащил из него одну за другой три поллитры. А четвертую вытащил из кармана. И все их поставил на снег.

Кладовщик смотрел на бутылки с белевшим в них молоком непонимающе и угрюмо.

— Ты что? — сказал угрожающим тоном. — Шутки шутить? Да я вас сейчас разгрузу! Э, Селиванов! — крикнул, махая перчаткой в сторону крана.

Но Паша его одернул:

— Ты, гражданин Епифанов, просил-то чего? Разве не молока?

Епифанов вздрогнул, взглянул на Пашу как на опасного человека, от которого неизвестно, чего еще следует ожидать, и машинально сказал:

— Ладно, ладно тебе.

— А коли ладно, дак пей! — потребовал Паша. — Вот оно! Забирай все четыре! Не бойсё! Утрешнее, еще не закисло! И голова с похмелья не заболит.

НА БРЕВНЕ

В майскую пору, когда наливаются свечами сосны, кустится трава и обрастают листвою березы, нет ничего приятнее, чем идти вдоль реки по неторной тропе, вдыхая влажную прель прошлогодних иголок. Я ступал вдоль лопочущей водами быстрой Во-

лошки с ощущением человека, который вот-вот сольется с природой, растворясь в ней, как теплый туман.

Где-то на нижнем складе, в верховьях Волошки срывали в реку штабеля, и вода пестрела от бревен, пливших стадами и в одиночку меж травенеющих берегов.

Внизу, в гуще хвойного сора, качалась долбленка. Возле нее — в белой кепке с пластмассовым козырьком мословатый, лет восемнадцати парень. Прибивал к матерому комлю бревна два, похожих на ласты, тесовых открьлка. Полюбопытствовал я:

— Чего излагаем?

Мословатый поднял глаза.

— Батик *, — сказал, — лажу на нем порог проскочить.

Удивился я:

— На бревне — и порог? А зачем? Вон же долбленка! Парень глянул на лодку с пренебрежением.

— На ней вниз хорошо. А вверх? Кишки на уключины намотаешь, пока Каменуху пройдешь!

— А на батике на твоём разве лучше?

— Его вверх подымать не надо. Бросил где хошь — и назад.

— И не жалко трудов?

— Какие труды? Его смастерить — две минуты. А можно и вовсе не мастерить. Встал на бревно, что поболе, — шпарь себе по воде. Эво Маня у нас! — Глаза у парня блеснули восторгом. — Ишь летит! Ровно рыбий пузырь!

Я уставился в низ Волошки, где река клокотала холмами, блестела облаком брызг и тащила сквозь выплески быстрые бревна. На одном из них — грузный мужик в сером свитере, галифе и разогнутых броднях. Казалось, его вот-вот опрокинет волной. Но мужик стоял уверенно и спокойно. Куда это он? Ага. К мелководному рукаву, где один к другому лепились бревна, выползая мыском к середине реки.

* Батик — плотик из двух спаренных бревен.

— Опять на приварок, веселую душу. — Парень дрябло поморщился, но тут же встряхнул головой и сделал рупором руки. — Маня-я?! Мнеплы-ыть?

— Гляди сам! — среагировал Маня и, перепрыгнув с бревна на бревно, вновь поплыл, но теперь среди лесоплава, ловко вонзая багор в сортименты и направляя их на струю.

Мне пора уже было трогаться дальше, но я засмотрелся на сплавщиков, стороживших бурную Каменуху. Здесь нередко, наверно, случались заторы. Потому и оставлен пикет. Но все ли рассчитано верно? Двое против такой стихии? Сумеют ли выдержать натиск реки?

Молодой пикетчик вскочил на бревно. Прошелся, попрыгал, поприседал, но плыть почему-то вдруг передумал. Я снисходительно намекнул:

— Тебе бы как Маня?

Парень понурился и вздохнул, лопаточки скул его покраснели.

— Чтобы ходить по воде как Маня, надо небось утопить пять кепок. А я только две утопил.

— Работаешь первый сезон?

— Первый.

— Тогда тебе нечего торопиться.

— Ну нет, — натопорщился парень, — в светлый день, чтобы прятаться в тень?!

Я не совсем его понял:

— При чем же тут тень?

Пикетчик сказал:

— Не желаю ходить в тени знаменитых.

— Таких, как Маня?

Сплавщик повернулся ко мне, и я увидел в скуластеньком, с блеклыми усиками лице гордый вызов зря оскорбленного человека, который стоять за себя не умеет и все-таки будет стоять.

— А что? — спросил он с готовностью кинуться в спор.

Но спорить я не хотел:

— Да так, ничего.

Усики парня зашевелились, а в широко расставленных впалых глазах заиграла секретная мысль. «Сказать, не сказать?» — читалось в них крупным текстом. Решил, вероятно, сказать, ибо нечего было ему таиться — он же видел во мне постороннего человека, кто может выслушать и уйти, никому не открыв его тайную думку.

— Не люблю зависеть ни от кого! — Пикетчик заносчиво усмехнулся, давая понять, что это усвоено им надолго.

— Не малого захотел, — отметил я вслух, а про себя невольно подумал, что парень с запросом и через год, через два, вероятно, покажет себя как личность. Только с какой стороны покажет? С хорошей? А может, с плохой? И я осторожно спросил:

— Но для тебя примером-то кто? Неужели не Маня?

— Я сам хочу быть примером! — откликнулся парень. — И буду! Давно ли я на сплаву? С майских праздников. А уже умею стоять на воде. На тихой, правда. Но и на бурной сумею. И не когда-нибудь, а сейчас. Вон патлы у дерева обрублю.

Пониже, шагах в тридцати, берег треснул и надломился, склонив над обрывом большую березу, ветки которой свесились так, что касались концами воды, вскипавшей желтыми бурунками.

— Совладаю, веселую душу! — Держа топор за стальную бородку, парень поднялся к березе. Постучал в нее обушком, попинал сапогом, однако корни держались крепко, и береза не поддавалась. Тогда пикетчик плюнул на обе ладони и, неловко пристроившись на стволе, стал ссекать толстый сук. Долго он наносил топором удары, пока наконец перерубленный сук, залупившись, не рухнул в воду. И тут послышался яростный крик:

— Павлуха?! Чего же ты полоротишь! Блохи тебя не кусают?

По склону, жарко пыхтя, торопился взволнованный Маня. С красным лицом, толстым брюхом, в мокрых до

пояса галифе, он выглядел гневно и властно, как верховод, который сейчас разнесет всех по кочкам. Одарив меня режущим взглядом, перевел глаза на Павлуху и взмахом багра показал на кусты:

— Лясы с туристами точишь, а дело, пали твою курицу, стой!

Павлуха слегка побледнел и растерянно обернулся. В кустах, подминая сушняк, тяжело и тесно ворочались бревна.

— Я и не видел.

— Зенками пелишься не туда!

Пикетчики ринулись вниз. Взмахнули баграми. Перегаркнулись еще раз и пошли выбурливать воду, выводя из кустов бревно за бревном.

Пластались, наверное, с полчаса. Выбрались на припек. С крихтеньем сдернули бродни, вылили воду и улеглись.

Близилось к полудню. По-самоварному жарко блестела река, донося от камней drobные постуки сортиментов. Маня, перевернувшись на брюхо, покосился наверх. В его щурках, прижатых косыми подбровьями глазах я прочитал: «Еще не ушел?»

— Чего? — снисходительно усмехнулся, испытав ко мне незначительный интерес. — Чего выглядели у нас?

— Выглядел бравого сплавщика.

— Ну и что?

— Удивил он меня.

— Чем?

— А плыл на бревне и ни разу не пошатнулся.

Мане польстило. Он по-котовьи зажмурился и сказал о себе с удовольствием человека, который любит, когда его выделяют:

— А я ведь не шибко и брав. Бравые лезут, куда другим боязливо. Я на бревно век свой бы не встал, кабы не знал, что могу на нем удержаться. Двадцать лет на сплаву. Тут и не хочешь, да станешь ходить по воде как по хорошей дороге. Научишься и реку без лодки пере-

длывать и съезжать под мостом по мельничной слани. Теперь, подумаю, вроде и бравым-то быть ни к чему. Вон Павлухе к чему. Ему ух как надо себя показать! Я молоденьким был, тоже любил побахряться. А ноне бахряться к чему? Жизнь по первому кругу прошла, теперь на другой ее повернуло. Скучно стало чего-то. И все оттого, что жил на износ. Поработано было! Погуляно! Эх! За свои сорок лет столь изведаль всего, что другие за семьдесят не сумеют.

Маня замолк, решив, что рассказывать хватит, взглянул на Павлуху, который сладенько почивал, погладил его, утопив в глубокой ладони голову парня вместе с полотняной кепкой, блестящей пластмассовым козырьком. Потом натянул сапоги и неспешно поднялся. Нет, непохож был Маня на человека, который живет по второму кругу. Жизнь играла в его глазах, играла и в бодрой походке, с какой приблизился он к долбленке, достав с беседки бинокль. Долго он шарил стеклами по реке, ища какой-нибудь непорядок. И вроде нашел, затревожился, зыркнул на парня с предостерегом и даже пнул в его сторону камешком.

— Хватит берег давить! Есть работешка!

Павлуха привстал, потянулся за сапогами.

— За Каменухой опять набивает! Сплавай туда!

Плыть Павлухе, само собой, не хотелось. Его помятые дремой глаза скучно уставились на долбленку.

— На лодке?

— Али на бревне?

— На батике, — буркнул Павлуха.

— Как знаешь. — Маня повесил бинокль на ветку ольхи. — Только будешь купаться — меня не зови. — И, повернувшись ко мне, добавил: — Сколько я этих ухаригов поспасал!

Павлуха, ступив на качнувшийся батик, заверил с выскомерцей:

— Меня не придется.

Багор скрежетнул. И батик, срезая стружку воды, дал

разворот. Однако не тот, с которым бы можно пройти, не задев вицелѳа березы. Павлуха выгреб крутой полукрут. Вода хлестнула по голенищам.

— Пали твою курицу, наклонись! — скверным голо- сом рявкнул Маня.

Павлуха и так хотел наклониться, но окрик родил в нем худое упрямство, и он влетел в зашуршавший прут- няк.

Я ослепленно отпрянул, зажмурился. Ну надо же так получиться! Ну надо! Багор и бревно неслись среди волн, а Павлуха, схватившись за ветки, нырял, погружаясь по самую кепку в реку. Его протащило на несколько метров, затем растянуло, как на разрыв, и силой ствола завзды- мало к березе. На долю секунды Павлуха повис. Но тут опять его окунуло, снова бросило по струе и снова мощью березы вырвало в воздух, на миг показав резко стисну- тый рот, голый пуп и съезжавшие брюки.

— Прыгай! — потребовал Маня. — Может, и не пото- нешь!

В третий раз парня выкинуло без кепки. Он летел как повешенный, руки мертво сцепились в ветвях, и не было силы, какая могла бы заставить пикетчика их разжать.

Вниз да вверх, вкривь да вкось летало Павлухино те- ло. Маня орал:

— Хватит болтаться! Не маятник! Кому говорят: мы- рай!

— Мануил! — На лице у Павлухи будто болезнь, тускло-зеленая бледность.

— Чего там, паленая кура?

В промежутки между нырками Павлуха плевался во- дой.

— Не разжимаются пальцы. Я не держусь, а меня не пускает!

Маня вздрогнул. На толстом его лице залегла тень смятенной тревоги.

Я кивнул головой на березу:

— Наверно, надо ее срубить.

— Нельзя, — поморщился Маня, — зашибет, как цыпленка.

— Но он уже обомлел!

— Вижу, что обомлел. — Маня мрачно пожал плечами. — Его черт качает. А с чертом шутки плохи. Быть может, попробуешь ты?

Я растерялся:

— Что я?

— Сымешь его?

Со скверным предчувствием на душе я двинулся было к долбленке, но Маня остановил:

— Вертячая. Оба к рыбам уйдете. — И тут в его сероватых глазах заиграла злая решимость. Он резво метнулся к реке, показав рукой, чтобы я помог ему спарить два сорта. Потом схватил из долбленки весло и беседку. И топор с гвоздями схватил.

Плот был сбит буквально за две минуты. Маня встал на него, отпихнулся. Вынув пож-складенец, властным взмахом руки показал под березу.

— Дуй туда! Коли я оплошаю, тукнешь Павлуху багром! Не бойсь! Может, и не заколешь!

Было мне непонятно и дико. Как же так? Чтоб спасти человека, я должен, выходит, его подколоть. Неужели иначе нельзя? Я взглянул на Маню с мольбой. Но пикетчику было не до меня. Его залеснутый волнами плот приближался к Павлухе. Парня вырвало из реки, потащило наверх. И в этот миг над его руками, вспоров вицелой, проблеснул складенец. Павлуха с обрезками веток в горстях повалился, осел и, конечно бы, плюхнулся в воду, но Маня успел подхватить его на лету и, поставив рядом с собой, прижать к себе, будто хвораго брата.

Я отбросил ненужный багор, посмотрев на него с суеверной какой-то боязнью. И тут же о нем позабыл, почувствовав рядом реку, что несла на себе запахи кислой коры, еловые бревна, щепь, пузыри и караульщиков Каменихи, которые все удалялись и удалялись, правясь к тихому мелководу, чтоб выгнать оттуда скопившийся лес.

Славщики о чем-то меж собой говорили. Я прислушался к ветру, и он донес до меня. Сначала потерянный возглас Павлухи:

— Третью кепку вот утопил?!

Потом хохоток и бахвалистый голос Мани:

— Утони еще две и будешь таким же, как я, паленая кура!

УТРО РОДИНЫ

Родные картинки

ОЖИДАНИЕ

Угасающий день. Небо в обвально густых облаках: вот-вот полетят с них на землю снежинки.

На косогоре, разрезанном белоколейной дорогой, дремлет тихая деревушка. Избам снится поступь весны с гулким криком прилетных грачей, ледяными граблями на карнизах и ворчаньем подснежных ручьев.

На высокой ветке березы сидит воробей, выражая чириканьем нежность к родному краю, где он вырос, окреп и стал самым верным певцом огородов, дворов и улиц.

Велик и просторен заснеженный мир. Вверху, в сторону юга плывут облака, внизу — их безмолвные тени. Окна изб тоскливо зовущими взглядами смотрят в небесную даль, словно завидуют облакам и ждут их скорого возвращения. Возвращения с вешним теплом, птичьим гамом и солнцем.

НА РАССВЕТЕ

По белому насту вслед за лучиком света крадется мартовский ветер. До чего же он свеж, целомудрен и радостен на рассвете! Ветер русских равнин, умеющий каждой вершинкой и веткой, каждым

проводом, каждой складкой земли выражать задушевные звуки природы. Под эти звуки встречаются, как на свидании, утренний свет и утренний снег. Вздрагивает суставами лап молодая сосна. Вспыхивает в иголках бормочущий шепот. Шепот растет от дерева к дереву. И на опушку соснового бора уже наплывает не шепот, а древний торжественный гул.

Ветер русских равнин. Ветер-пустынник. Откуда берешь ты свои неизвестные силы? О чем ты поешь на рассвете весеннего дня? Почему от песен твоих так становится беспокойно?

ВОЖАК

В погожий сентябрьский вечер от озера Красный Окунь летела стая северных лебедей. За околицей нашей деревни, где чернели валы нарытого торфа, а меж ними мерцала вода канала, решили птицы передохнуть. При посадке лебедь-вожак зацепился за провод, и большое крыло бессильно повисло.

Поклевали птицы букашек, поплавали, отдохнули и снова отправились в путь. Лишь белогрудый вожак с печально опущенной головой остался на тихом плесе. Покружилась над ним стая пернатых, помахала крылами и с виновато-прощальным криком растаяла в дымке небес, направляясь в сторону Кóндомы, Унжи и Белого Лука.

Кто знает, как сложилась бы дальше жизнь вожака, если бы школьники нашей деревни не вынули лебедя из воды. Тяжелую птицу они принесли на пустырь, где в прошлом году был вырыт бульдозером пруд, и в нем почти в уровень с берегами стояла вода.

Шел день за днем. Подружился лебедь с домашними утками и гусями. Подкармливать птицу готов был и старый и малый. Потом из города в нашу деревню приехал ветеринар, оказав белоперому медицинскую помощь.

В конце октября, когда трава покрывалась морозной

солью, появился в наших краях городской охотник. Увидел лебедя и предложил:

— Птица так и эдак погибнет. Не лучше ли чучело из нее для музея сделать? Красивое чучело выйдет...

Охотника выгнали из деревни, а жители стали думать, как бы спасти белокрылому жизнь. Решили: следить за прудом, высекая на нем для лебедя прорубь.

Целую зиму большие и малые ребяташки пропадали на снежном пруду. Заступами, топорами, пешнями расчищали во льду окно, бросали лебедю клюкву, овес, скорлупу от куриных яиц и хлебные крошки.

Наступила весна. Растопился пруд ото льда. Лопнули на черемухе почки. Вольно стало лебедю на пруду. Крыло зажило у него. Каждое утро он стал подниматься, опробовать силы, кружась над всходами озимей.

В воскресное утро вся наша деревня пожимала плечами от изумления. Откуда-то с Кондомы, Унжи и Белого Лука плыла по весеннему воздуху стая белых красавцев. Вот она с криком и гомоном встрепелась, вот, вспугнув домашних гусей и уток, села на пруд, вот окружила лебедя с радостно поднятой головой.

Поднималась стая в важном молчании. Впереди с красной ленточкой на ноге летел зимовавший в нашей деревне лебедь. Вожак вел белокрылых к родимым гнездовьям, которые были где-то за длинным архангельским озером Красный Окунь.

СВЕТЛЫЙ ДОМ

Возле прорубки — мальчик, повязанный белым шарфом. В руках у него лопата — достаёт из воды широкие полосы льда. Полосы мальчик втыкает в снег плотно-плотно, одну к другой. Получаются светлые стены.

Мальчик, пыхтя, поднимает еще одну полосу льда, стараясь положить ее на стены. Ему помогают пришедшие за водой две веселые девушки в полушалках.

Вырастает дом на реке — прозрачный и голубой. В дом заходят девушки в полушалках. Набирают в бидоны воду и поднимаются с санками на угор. Вслед за ними — мальчик с белым шарфом. На лице у него улыбка. Как же! Построил собственный дом, и в нем теперь можно спастись от непогоды.

ТАЙНА

Ночью на Сухоне слышался шум. Станный такой, словно кто-то тонул, звал на помощь, да не дозволялся. Утром вся наша деревня высыпала на берег и тревожно смотрела на полынью, застывавшую на морозе. Что же все-таки здесь случилось? Неосторожный ли зверь провалился? Конь ли с санями? А может, дальний прохожий, который сбился в потемках с пути?

С неба валил крупный снег, скрывая от глаз ночные следы, по которым бы можно было установить причину странного шума.

К вечеру полынья побелела и затерялась среди снегов. Кругом ровная-ровная гладь, а на ней берега с деревьями, избами и полями. Тайна скрыта под зимним покровом. На долгие месяцы скрыта.

Лишь когда подуют южные ветры, пройдет ледолом, оставляя на берегах кряжики, сор и снежное сало, посветлеют воды реки, и где-то в их глубине обнажится тревожная явь, на которую, как на солнце, не взглянешь во все глаза.

А сейчас... Сейчас над поемами Сухоны хрипло кричит ворона, пересыпаются волны снегов да холодный архангельский ветер напевает на хвойных вершинах мелодию чьей-то печали.

НА КУЛАЧКАХ

От Волги к Сухоне через Пеженгу, Лоху и Юг, обгоняя друг друга, прошли весенние

ветры. Они слизали в полях снега. Они разбудили в лесу медведя. Они увешали вербу над нашим прудом серебром блестящих сережек.

Ветры прошли, принеся с собой дождь. Сначала сквозь солнце, потом сквозь туман. Лед на реке поси-
нел, набух, раскололся и, грузно шипя, поплыл по мут-
ной воде в сторону Белого моря. Трутся друг с другом
льдины, встают на дыбы, осыпаются иглами и кистями.

Пожилой перевозчик выходит из старого пятистенка. Забирает гребные весла. Ступает к реке. На той сторо-
не — одетые в ватники пассажиры. На этой — свежесмо-
ленная лодка. Дождь выбивает в воде косяки ослепитель-
ных вспышек. Усмехается перевозчик: «Голенастый с го-
ленастой на кулачках бьются...»

Перевозчик толкает лодку по следам в реку. Плывет, выгребая веслами, к той стороне, где его заждались озья-
вшие пассажиры. Плывет с веселой загадочкой на устах:
«Лиска-лиса, подбрюшье лазорево, гребет бобром, на
песок ползком, по воде плавком?»

ПРОБУЖДЕНИЕ

На берегу реки, вцепившись
корнями в межу озимого поля, одна ольха и осталась
шуршать в тишине косогора шероховатой листвой. Сто-
явшие рядом четыре березы, рябина и куст ракиты вы-
рублены давно. И ей бы здесь не стоять: топор в руке
человека дважды вонзался в ее податливый ствол, да не
пустили рубщика росшие по меже колючие стебли чер-
тополоха.

Старая, с раной на пояснице, она сгибалась под вет-
ром и отдавала ему свои последние листья. Уносились
листья по темно-свинцовой воде. А ольха, ну точь-в-
точь костяная баба-яга, обнаженно-сухая, с кривыми
ветками и сучками, понуро глядела в реку, видя в ней
свое жалкое отражение.

Набрал в себе силы и, размахнувшись, ударил пали-

цей пылкий мороз — по стылому лежбищу вод заскользило стеклянное эхо. В глухих небесах, как в старинных мельничных срубах, раскрылись задвижки — на землю посыпал обильный, крупно намолотый снег.

Зима. Холода. Метели. Озябла ольха. Уронила на землю отмерзшие ветки. Замкнулась в себе и стала с понурой печалью мечтать о тепле. Долго-долго мечтала.

И вот ольха сладко и благостно потянулась, почувствовав, как ее обласкал чужедальний, подувший с юга пахнущий травами ветер.

Однажды возле ольхи остановились мужчина и мальчик.

— Смотри-ко, папа! — воскликнул сын. — Листьев нет, а пушистое оживает!

— Это ольха весне улыбнулась.

— А другие деревья не улыбнулись?

— Другим еще рано.

Мужчина и мальчик ушли. А ольха, шевельнув меховыми кистями, наклонилась к реке и увидела в ней свое отражение, на которое от стены темнохвойного леса летела сизая птица, неся на своих бело-розовых крыльях лучик апрельской весны.

И не стало ольхи. Превратилась она в красавицу из красавиц. Не к ольхе, а к невесте на выданье торопился взволнованный свиристель, словно боялся, что опоздает.

ЗЕЛЕНОЕ СОЛНЫШКО

По обоям стены, по оконным карнизам, по потолку пронеслось, протюнькало, замаха-ло. Зеленое солнышко залетело и мечется, мечется между стен, никак не найдя спокойного места.

Да это же луговая синичка! Гналась, вероятно, за мухой, да ненарочно в комнату и попала. Улыбнулись внезапной гостье папа, мама и их восьмилетний сынок Алеша. Да так открыто, так душевно ей улыбнулись, что птичка доверилась им и удобно уселась на телевизор.

Через минуту Алеша встал с желанием сделать для птички доброе дело и одно за другим отворил все четыре окна. Жаль с тобой расставаться, веселая птаха, да надо. Прощай!

Улетела зеленая птичка, а в комнате долго еще раздавались шуршание крыльев и нежный, тоненький голосок, похожий на плеск подоконной капли.

ЩЕБЕТУНЫ

Нет, не девочки-тонконожки в майских платицах и платочках вышли утром на солнечную опушку. Это молоденькие осинки протиснулись между лап и сучков чешуистых елей и давай выкладывать новости.

Одна говорит:

— Лисичка меня обижала. Стала рыть под корнями пору для лисят. Да я тряхнула листвою — лисичка поморщила носом и убежала.

— А меня одолели жучки, — вздыхает вторая осинка, — начали остро точить мое тело. Стала я вянуть и тосковать. Но увидела рядом на елке черного дятла и помахала ему макушкой. Он на меня и уселся. Всех жучков поклевал. Снова сделалась я веселой!

— А я, — сообщает третья осинка, — наслышалась песенок зайца. Он сидел подо мной. Всю-то ночь боботал — вызывал на свиданье свою подружку. Да она почему-то к нему не пришла. Он и умчал от меня. Сам умчал, а песни свои оставил. Я и довольна. Знай ловлю ветерок и на нем сочиняю заячьи позовушки. Все зову и зову. А кого зову — и не знаю...

Поляна. Солнышко. Ветерок. Стоят осинки, высунувшись меж елок, щебечут между собой, как девчонки школьницы на перемене. Щебечут об умном. Щебечут о глупом. Обо всем, что взбредет им на ум. Щебечут весь день напролет и никак не могут нащебетаться.

НОЧЬ

Ниоткуда взялась вороная кобыла. Дороги кобыле не надо. Готова скакать по воде, обрыву, ельнику и болоту. Скорость хорошая у нее. За сутки всю землю обскачет, в одни и те же часы возвратясь туда, откуда вчера свой путь начинала. Словно гонится за вчерашним, которого ей никогда не догнать.

Кроме солнца, она ничего не боится. А ведь было когда-то: боялась и звезд и луны. Однако они постепенно померки и стали гореть только мертвым огнем.

Расстиляется черная грива в покое заснувшей земли. Кобыла несет на себе настоящую ночь, и природа со стаями птиц и зверей, со всем человеческим станом, с деревьями, реками и лугами закрывает глаза, чтобы утром их снова открыть и увидеть свой день, несущий навстречу ей предстоящую неизбежность.

ДВА БРАТА

Суровый сумрак елей. Бледный свет прибрежного снега. Река. А па ней, как два брата, перекликаются между собой буксирные пароходы. Гудки их радостны и тревожны, и тот, кто их слышит, наполняется светлой весенней грустью. Пароходы плывут меж белеющих перелесков, вдоль забытых стожков, рядом с маленькой лодкой.

В лодке бакенщик. Он в кожаной кепке, штормовке и рукавицах. Вырезают весла в воде широкие ломти. Пловец загружает реку сигнальными бакенами.

Первая лодка. Первые пароходы. Все первое на полной весенней воде. Скоро растают прибрежные льдины, скоро помчатся моторки и самоходки. А пока по реке, перекликаясь, как братья, плывут рабочие пароходы. Плывут, открывая судам шипящую крошевом снега и льда речную дорогу.

Вылупились из крупных яиц черные воронята. Сидят в расщелине старой сухары, которая стонет и стонет, качая своими скрипуче-сухими суками, в любую минуту готовыми переломиться и рухнуть в желтое половодье.

На болоте мглисто и парно, пахнет цветущими мхами, по морощечным кочкам блещут лучи, растопляя последние полосы снега.

Для неуклюжих птенцов мир глухого болота полон опасности и вражды. Сколько их попадает в когти ястреба, филина или лисы! Сколько тонет! Сколько с голоду пропадает! Лишь самые сильные, самые дерзкие, самые боевые остаются жить на земле.

Над макушками елок, над вскрывшейся полон рекой летит молоденький ворон. Глаза его неподвижно и зорко глядят с высоты, ища на лесных полянах, на пустырях, на задах деревень какую-нибудь добычу.

Говорят в народе: «Ворон чует запах беды». Может, поэтому так боятся старые люди, когда птица без отворота летит на избы села. Через которую, каркая, пролетит, там беде и случиться. А может, это неправда? Может, выдумка стариков?

В прошлом году по весне, как и сегодня, кружился над нашей деревней ворон и тоже каркнул, суля несчастье старому конюху Тимофею, над домом которого он пролетал. А Тимофей не только не помер, не только не заболел, а даже сделался здоровее, прибавив дородности в животе, и даже сгал смеяться над предрассудком.

Но сегодня, увидев ворона над избой, Тимофей закручинился вновь.

— Не кого-нибудь выбрал-то он, а меня, — завздыхал.

Молодые ребята рады над ним подшутить.

— И чего затужил?! Ведь он тебя в долгожители выбрал. Будешь жить столько, сколько сам ворон.

Но конюху этого много:

— Что вы, робята! Три века ворон живет. Али и мне столько надо? Не... Надо жить по собственной силе. До той поры надо жить, пока она носит тебя по земле. Без посторонней помощи носит...

Летит, лоснясь под лучами заката, большая черная птица. Летит от болота к селу, от села к болоту. И так без конца, каждый день, каждый год повторяя свои перелеты. И чувствует она не запах беды, а запах добычи, который и правит птичьим полетом, обещая ворону пир.

ПОГОНЯ

Круглоголовые, с белыми тускленькими глазами и отливающим сталью пером, они паслись среди нежной муравки, мирно пощипывая траву, как вдруг пронесся над ними ястреб, пытаясь схватить крайнюю к заводи галку, да промахнулся и камнем прорезал реку. Выбираясь из заводи, ястреб стряхивал с крыльев липкую грязь, пытался взлететь, но не мог. И галки, чуя поживу, стоголовой ликующей стаей бросились следом за ним.

— Ке! Ке! — покашливал ястреб и мслотил когтистыми лапами по дерну, удирая от полчища галок. А белоглазые, осмелев, окружили его с обоих боков и сверху. Ястреб сделал прыжок на камень. Последний прыжок, потому что внизу, под кривыми кустами, желтело устье ручья.

Развернулся ястреб к стае круглоголовых, перья его заблестели, вспыхнули бурым, и с металлическим криком метнулся навстречу.

Темной стонущей тучей взмыла над берегом стая галок и полетела спасаться мелкими группками и в одиночку к ближайшим домам. Но спастись от ястреба было

непросто. Хищная птица, почувствовав силу, делала резкие повороты, и воздух свистел, рассекаемый грудью, а из-под белых бровей далеко и зорко глядели глаза, направляя загнутый клюв на обреченную галку.

БЕГЛЕЦ

Мчится ручей по дну лесного оврага. Поверху несет он кусочки коры, иголки, жухлые листья, понизу — витые-перевитые струи, в которых вся его сила, вся звонкость, вся мелодичность.

Над овражным потоком склонилась широкая лапа елки. Она гладит ручей, мочит свои иголки и тянется, тянется вдоль воды, стремясь поймать бегущие струи.

Но ручей увертлив, кокетлив и баловлив. Лишь коснутся хвоинки его перекрученных струй, как тут же их и уносит, лукаво подсмеиваясь над елкой.

Потому и печально дерево над ручьем, что не в силах остановить бегущие вдаль мелодичные струи. Потому и весел под деревом быстрый ручей, что струи его не в силах остановиться.

В РОЗОВОМ КРЕСЛЕ

Теплее пара на летних лугах, тоньше волоса, выше крыш и деревьев, легкий как пух, промчался ветер пад пашей деревней, увидел реку и, разбойно свистнув, заскакал, завывпрыгивал в берегах. Под вечер, когда он исчез в кронах ближнего леса, на реке наметились талые лужи, лед же вокруг полыней посветлел, стал настолько тонок и рыхл, что рыба его могла разбивать плавниками.

Ночью, скрипя сердитыми сапогами, пришел из-за леса мороз и, окинув реку хозяйственным взором, начал кропать и латать на ней ледяные заплатки. И палкой застукал по побережью, карауля реку от теплого ветра.

Но вместо ветра к рассвету другого дня старушечьей

тихой поступкой пришло и удобно, как в кресло, уселось меж берегов добродушное солнце. Скрипнул мороз сердитыми сапогами и скорей побежал на север. А солнце давай жигать по реке лучами. И опять замерцали надледные лужи, раскрылись темные полыньи, а где-то возле сосновых быков хрустнуло, булькнуло, затрещало.

ЗЕЛЕНАЯ РУСЬ

Ласковый светлый ручей. Луг с пасущимся стадом. За лугом зеленые стаи берез. Глядя землю расстрепанно рыжими волосами, опускается солнце. На пригорке под тенью листвы бежит рокочущий трактор. Красные всполохи спелой рябины. Полет бабочки над ручьем. Куда ни посмотришь — всюду родимая Русь. С чем ее можно сравнить? Разве только с сокровищем, самым роскошным и дорогим, которому нет и не будет оценки. И еще ее можно сравнить с наследством, перешедшим к нам от наших отцов.

Сквозь толпу торопливо бегущих лет несем мы это наследство. А когда окажемся на черте, за которой путь наш будет оборван, отдадим наследство другим.

— Это ваше! Берите!

Взглянут наши наследники и увидят: стаи зеленых деревьев, реку под закатным лучом, копны сена на берегу, а под самыми облаками — вольных прославленных птиц, летящих в неведомо дальние страны.

Родина. Дорогая зеленая Русь. Не случайно сказал поэт, что ее не умом, а лишь сердцем можно постигнуть. Для того и постигнуть, чтоб крепче любить, заслоняя, как мать, от всех метелей и потрясений.

ЗА СЕМЬЮ БОРАМИ

На мягких таинственных лапах пришла к нам в деревню прохладная тишина, принесла на своих смутных крыльях разноцветные сны. Травам

спится радуга под дождем, деревьям — зеленые листья, избам — яблони в палисаде, людям — счастливая жизнь.

Над покоем природы, над всем человеческим станом бодрствует ночь. Она, как сиделка с поясом, сотканным из зари, сидит за нашим двором и молчит, сторожа росу на траве и листьях.

Где-то в сонно-зеленой мгле, за семью болотами и борами, подул неуверенный ветерок. И первым спешит известить нас об этом угольно-черный ворон, пролетая мимо деревни в сторону новых болот и боров.

С узеньких плеч травы покатилась на землю роса. По реке, словно тени забытых знамен, полыхнули вспышки восхода. Побледнели на небе звезды, и звонко, на всю окрестность запел в малиннике соловей, поздравляя с рождением еще одно утро. Утро новой работы. Утро новых надежд.

ПОД СОСНОЙ

Охотник устал. Целый день преследовал лося. Но зверь ушел в сырое болото. Раздраженный охотник выбрался на поляну, где увидел среди голубики высокую с алым стволом сосну. Охотник уселся, прижавшись спиной к стволу, и закрыл на минуту глаза.

Когда открыл, то увидел шагах в пяти от себя темно-бурое толстое существо с мутными мстительными глазами. «Медведь!» — догадался охотник и медленно, медленно встал.

Пасть медведицы распахнулась, и в ней мелькнули редкие зубы.

Охотник дрожащей рукой попробовал взять двустволку на изготовку. Но зверь, кипя клокотавшей слюной, прыгнул вперед, вырвал охапку дерна и корней, встал во весь свой матерый рост, угрожающе рыкнул и бросил охапку в глаза человеку.

Полуослепший, с трясущимся подбородком охотник что было духу бросился наутек. Обернулся уже за поляной. Медведица, уркая и хрипя, ходила вокруг сосны, потирая о ствол могучую спину.

Страх у охотника проходил, и к сердцу, волнуя его и сердя, ложилась обида. Обида за бегство свое, за растерянность, за позор.

Приклад удобно прижался к плечу, глаз нашел железную мушку, наведя ее на медвежий морщинистый нос.

Раздался сухонький треск, и сверху упала сосновая ветка. «С чего бы это?» — подумал охотник и ощутил, что на него откуда-то с дерева смотрят глаза. Охотник отставил ружье, посмотрел внимательно на макушку и увидел в зеленой кроне двух спускавшихся медвежат.

Ах, как жалостно, как смущенно забилося сердце! Охотник зашел за ольховый куст и уже не ружьем, а глазами нацелился на зверей, наблюдая, как мать уводила своих косолапых к сырому болоту.

НА БЕЛОМ КОНЕ

Июльская ночь. Звезды. Пролок с кривой рябиной. Раскрытое настежь окно. Мягко, ласково, осторожно, словно мамины руки, ходит ветер в моих волосах. За огородом, в мутно-зеленых потемках скрипит невидимый коростель.

И вдруг отдаленно-тревожный топот, звен железных удил, беспокойное ржанье. Напрямую, по целой траве мчится белый, в яблоках конь. На просторной его спине молоденький всадник. Куда он спешит? За доктором в город? На пир к забубенным друзьям? К девушке на свидание?

Я смотрю, как сквозь тени деревьев белеет круп скакуна, все дальше, дальше и дальше. Растаял звон железных удил. Затихло тревожное ржанье. И снова за огородом, в потемках высокой травы завел коростель свою бесконечно грустную песню.

КРАСНОЕ УТРО

Запахи летней природы. Они плывут на крыльях зеленого ветра. Самый богатый тот, что стелется по земле. В нем смешались пыльные вздохи пушиц, ароматы гвоздик и нектары медовых не тронутых косами клеверов. Запахи голову кружат. Манят пчел. Манят ос. Манят всех, кто живет сердцем в сердце с травами и цветами.

Но особенно щедро сегодня на старицах и протоках. От берегов по воде расстилаются листья кубышек, рогоза и стрелолиста. Здесь резвятся жучки и лягушки. Здесь кружатся цапли. Здесь на закате солнца, как из таинственной преисподней, выводит свой резкий голос ликующий коростель, обещая на завтра самое красное утро, какого еще никогда не бывало на нашей земле.

ЛЕСНАЯ РЕЧКА

Быстрая, темная, вся оплеванная мелкими пузырьками, скользит она по коряжкам и недовольно ворчит на валежины и камни, через которые ей бежать и бежать, заплетая на них узоры.

Вечереет. Солнце проходит сквозь лес, как через тайное зало. По косогору рассыпаны толпы берез. На каждой из них осенние слабые листья, что доживают свои последние дни. Они, как усталые старички, шепчут чуть слышимую молитву, словно вымаливая себе еще один день. Один день полнокровной здоровой жизни, в которой должны обязательно быть и эта журчащая по коряжинам речка, и это приветное солнце, и этот крохотный куличок, летящий так низко, что брызги воды щекочут его животик.

ГОВОРЁК

Отдаленный, тихий, робеющий говорок, словно проклюнувшийся из почки. То ли ветром его наносит, то ли еще какой непонятной силой, но

он приближается к нам, растет, проворно постукивая по рельсам. И вот, сияя под утренним солнцем, меж редких берез, вдоль еловых посадок замелькал своим длинным телом стремительный, резвый поезд, бандажами колес выбивая: «Тук-тук-тук-тук-тук...»

Длинный поезд бежит от Вологды до Москвы. Мелькают вагоны. Один за другим.

В окнах люди. Каждый из них привлекателен тем, что слишком он мимолетен. Не успеешь его разглядеть, как тут же с ним расстаешься. Вон красивая женщина не то с печалью, не то с улыбкой глядит куда-то мимо тебя и думает, думает о минувшем.

Проносится поезд мимо берез, вдоль густых еловых посадок. Его последний вагон уменьшается на глазах, превращаясь в дрожащую, зыбкую точку, от которой, как из раскрывшейся почки, доносится до тебя: «Тук-тук-тук-тук-тук...»

ЗАТОНУВШИЙ ГОРОД

Ночью при свете луны он был виден весь, погруженный в глубокие воды. Затонувший каменный город с павильоном, построенным из стекла, купеческим домом с колоннами и балконом, белостенным важным собором, пожарной вышкой и слепо мерцающей мостовой.

Над крышами плавала рыба. К перилам затопленных лестниц склонялась трава. Город был неподвижен, красив и пустынен. Казалось, вот-вот по подводным кварталам пройдет гуляющий человек. Но вокруг цепенеюще-строгая тишина, в которой царствуют только два цвета: траурно-черный и радостно-белый.

Город смотрит рядами окон на высокое звёздное небо. Смотрит пристально, долго, пока луна не проходит назначенный путь, исчезая с линии горизонта.

И тотчас же вода на реке теряет зеркальность, становясь пугающе-темной и неразглядной. А город по-прежнему молча стоит среди цепенеющего покоя. Только теперь он стоит не в воде, а над сонными берегами, и окна его, как глаза уставших людей, глядят сквозь сумерки в сторону чисто рыжеющей, точно лисица на косогоре, радостной летней зари. Умывается город лучами и вновь отражается на воде, но теперь не под лунным — под солнечным светом. Опять колдовство совершается под водой, где виднеются дом с колоннами и балконом, белостенный собор, пожарная каланча, мостовая, забор и перила затопленных лестниц.

ПАРК НАД РЕКОЙ

После грозы сладко пахло гушиной лапкой, полыхавшей желтыми пятчиками на зеленом пригорке реки. На реку смотрели дома, а за ними деревья старинного парка. Вставало солнце, однако не все деревья могли его разглядеть. Только самым высоким — липам, вязам и тополям — дано встречать по утрам его появление.

Вверху до самого позднего вечера ярко жигали лучи. Внизу среди лопухов, крапивы и повилики дремали прохладные тени. Лишь время от времени, словно в глухую калитку, сюда заглядывал трепетный луч, и парк в этот миг молодел и нежно звенела славкина песня, скакавшая с ветки на ветку, как вестница радости и любви.

Вечером парк погружен в зеленую мглу. Сквозь листья можно увидеть огни. Как трепетно, как приятно идти среди плеска листвы на струящийся где-то над берегом свет. Свет надречного фонаря, свет кирпичного дома, свет колокольни, свет высокой белой луны. Идти и слушать музыку старого танго, что плывет и плывет, обещая улыбку и отдых.

Алое здание средней школы. Перед ним исполинские тополя. Угор в позолоте песка, на котором средь реденькой травки пасутся грачи и грачата.

Вечер. Солнце припало к воде, беспокойным огнем освещая речную окрестность. Сухона в эту минуту кажется синей-синей. На том берегу ярко блещут цистерны. Молоденький ельник пронизан закатным лучом. Носятся в воздухе мухоловки, гоняясь за стаями комаров.

От крайних к берегу тополей открывается вид. Вправо, где светел и радостен запад, — синее плесо реки с пристанью, лодками, косогором, на котором перильца, березы, белая церковь Успенья, крыши, строения, провода. Влево, где сумрачно грозен восток, — такой же могучий простор, где так широко и вольно течет в берегах река, где зеленеют холмы и овраги, где небо, земля и вода окутаны тайной неслышимых звуков.

Отсюда, от тополей, в сумерки вечера смотрят глаза. Глаза утомленных. Глаза влюбленных. Глаза оставшегося в былом поэта, навсегда живого и молодого. Отсюда пошли летать по белому свету его тревожные строки:

Много серой воды, много серого неба,
И немного пологой нелюдимой земли,
И немного огней вдоль по берегу...

КУХНЯ

Непостижимо заманчиво пахнет лес, словно там расположилась кухня и тысяча поваров готовят в ней вкусные яства. Так сильно деревья и травы пахнут лишь после дождя. Да оно так и было. Всю ночь над нашей деревней спешили к опушке лохматые тучи. В них так было много воды, что она проливалась и проливалась.

А сейчас уже утро. Солнце, как девушка в лодке, плыв-

вет и плывет по синему плесу небес. По прогалам снуют ветерки, обдувая с листьев дождевики. Ветерки, как деревенские мальчишки, шаловливы, веселы и беспечны, бегут себе по тропинкам. До тех пор бегут, пока не устанут и не прилягут под навись какой-нибудь влажной листвы, за которой струится ручей, порхают стрекозы и маленький куличок точит клювик о мокрую гальку.

СТРАННИКИ

Столбы телеграфно-почтовых линий. Они бредут от деревни к деревне сквозь затяжные ельники и болота. Бредут, ощупывая землю в потемках, как усталые странники-пилигримы. Странникам надо бы отдохнуть. Но отдых они оставляют на самый конец своей беспредельно далекой дороги. Бредут по просекам, вдоль дорог с печально провисшими проводами. Днем бывают они неприметны, а ночью при траурно-желтом брезге луны подобны живым существам. В лунных лучах изоляторы блещут зеленым и острым, пристально смотрят перед собой, изучая ночную окрестность.

Вон в прогале кустов, разглядели двух девочек на конях. Это дочери пастуха. Девочкам, как и отцу, привычно ездить в ночное. Здесь можно увидеть бесшумного козодоя. Можно галопом промчаться к затерянной в травах реке. Можно спать под уютной сенью старинных деревьев. Можно слушать среди тишины гудение проводов. Слушать и чувствовать в этом гудении настороженный шорох шагов, чей-то голос и чью-то улыбку.

ВДОЛЬ ПРОСЕЛКА

Капризна и мимолетна осенняя зорька. Не успеет как следует расплыться, как тут же и прячет лицо, словно стыдливая девушка среди подружек. И вот уже тучи плывут одна над другой, выстилая внизу, на земле, почти неподвижные тени.

Тлеет дымок спаленной кострицы. Желтеет сжатое поле. Вянут цветы. Только одна кульбаба, рассыпавшись вдоль проселка, горит и горит. До самой зимы она будет гореть, радуя нас своим жарким оранжевым цветом, точь-в-точь солнышком сквозь непогоду.

НЕ УБЕГАЙ!

Осень пустеющих нив, березовых склонов, тропинок и речек. Она спокойна, вместе с тем и грустна, потому что настала пора провожать в путь-дорогу своих любимцев. Улетают на юг перелетные птицы. Отправляются в школу стайки ребят. Исчезают в пыли проселков груженные хлебом подводы.

Хорошая, теплая осень. Она, как старушка в очках, склонилась над тихой березовой рощей и аккуратно, не торопясь, пришивает к деревьям цветные заплатки.

Вздохнула осень — посыпало листопадом. Лес стал просторным, высоким, как зала кинотеатра, в котором вот-вот покажут цветное кино.

Внизу меж стволов петляет тропинка. Вдогонку ей машут ветвями березы, словно хотят тропинку остановить, чтобы она никуда от них не сбегала, не уносила с собой золотые, пропахшие солнышком листья, без которых им будет холодно и печально. «Не убегай!» — умоляют березы.

ЗАЯЧИЙ ЛОГ

В майскую ночь она бежала на этот волнующий зов. Бежала по мокрым полянам, по возлеомежку старого поля, по кустикам, мшистым коряжкам и кочкам. На обрыве лесного лога остановилась, взглянула косыми глазами в хвойную мглу, и сердце ее пронзило любовью. Снова послышался зов. Совсем-совсем рядом. Зайчиха прыгнула в темень елового лога.

В тревожную сладкую темень, где был ожидавший ее дружок.

Лог запомнился ей вкусными травами, вечными сумерками елей, тишиной и какой-то забытостью, словно сюда никто никогда не придет. Поглянулось зайчихе это местечко: оно защищало ее от жары, от дождя, от зверя и человека. А когда наступила пора принести зайчат, она поняла, что лучшей укромины нет и не будет.

Появилось пять зайчиков — крошечных и пушистых. Зайчики выросли быстро и незаметно. В одну из теплых ночей разбредлись кто куда. Ночевала в логу только мать.

Но вот зашумел, заструился осенний дождь, и зайчики, как один, возвратились домой под елки. Дождь затянулся на многие дни, оборвал с деревьев все листья, траву где примял, где пригнул, где вымыл с корнями и утащил в потоках лесного ручья. Стало холодно и угрюмо. Лишь зайчихе с пятью повзрослевшими сыновьями беззаботно, тепло и сухо. Лежат как ни в чем не бывало под нависью плотных, не пропускающих дождь хвойных лап, шевелят ушами да слушают лес, по которому, как по крыше, стучат и стучат бесконечные капли.

СТАРЫЕ ПТИЦЫ

Под багрянцем зари старый бор над рекой и светел и грозен. Неподвижно стоят деревья, голубовато мерцающая шатрами промерзлой хвоей. Утренний крепкий мороз застеклил последнюю полынью, выбелил травы на косогоре.

На высокие гнезда садятся черные птицы. Это вороны. Здесь их целое стадо. Садятся устало, точно полеты им стали в тягость и надо сейчас как следует отдохнуть.

Тишина над сосновым бором. Слышно, как сыплются полосы льда да скрипит под лапами зверя припорошенный снегом мох. Солнца не видно, оно проходит где-то над верхом ленивых, медленных облаков, по которым то разгорается, то погасает неровное пламя багровой зари.

Дремлют над зимней рекой утомленные птицы. Дремлют и размышляют, уходя своей думой в старый-престарый, наверно, столетней давности день. Что они видят там? Ту же реку с белоснежными берегами. Тот же приснеженный мох меж стволов. Только не видят они посадок новой деревни, которые выросли этой весной. Размышляют вороны в тишине. И нет предела их утомительно долгому размышлению. Оно бесконечно, как серое небо над зимней рекой, где только в счастливые дни полыхает пылкий багрянец.

БЕЛЫЕ СЕНИ

Здесь, в глухой укрóмине леса, сегодня спокойно и тихо. Зато за опушкой, в долине реки, свист, скулеж и снежная суматоха. Это сиверко разошелся, и нет для него ни дорог, ни управы, ни постоянства. Бежит, куда пожелает душа, а следом за ним тянутся стаи серебряных лент, кувыркаются шляпки чертополоха.

Он берет препятствия до тех пор, пока они поддаются. Вот он сплел зазвеневшие провода, оборвал на сосне промерзлую лапу, воду в проруби расплескал, уронил загремевший стожар*. Но наткнулся на угол елового леса и пошел, обтекая его вправо и влево, стараясь найти меж стволами лазейку. Но деревья, махая лапами, шишками и суками, затряслись, заярились в неслыханном возмущении. И стояли они, как солдаты, не пропуская его в свои белые сени, где хранилась глубокая зимняя тишина.

ОБОРОНА

За свои двести лет натерпелась елка всего. И лось-то бодал, царапая костью рогов ее шершавую оболочку. И медвежата-то остро кололи ког-

* Стожар — шест, вокруг которого навивают стог сена.

тами, взбираясь вверх по стволу. И буря-то гнула к земле, сляясь выворотить с корнями.

А однажды пришел человек — низенький-низенький, раз в пятнадцать короче елки, но очень опасный и лютый своим замахнувшимся топором. Никогда еще елка не знала такой сильной боли, какую ей причинял коротышка-топор. Поняла: в топоре ее смерть. Напряглась всей древесной плотью и отвердела как только могла. И топор, ударившись, отскочил, кокнув рубщика обушком по колену. Человек рассердился. Еще пуще хватил по изножию елки. И одрог: топорище, дав трещину, раскололось.

— Леший в дереве квартирует! — крикнул рубщик и, осенив себя суеверным крестом, побежал скорее от этого места.

Все обитатели леса увидели в елке свою оборону. Мирно рожденная, она в мире и пребывает. В кроне ее резвится веселая белка, ползает поползень по стволу, расправляется с шишкой розовый клестик. В дождливую ночь под ее лапником находят приют то зайчик, то волк, то медведь. Каждого рада она приютить, нашептать ветвями уютную дрему.

Раз заблудился в лесу деревенский парнишка. Вышел к елке с корзиной грибов, весь зареванный и несчастный. Подалась к нему елка, махнув на него лапником:

— Залезай на меня!

И парнишка полез, ощущая ногами упругие ветки, которые, будто руки сильного человека, подымали его все выше и выше. Залез паренек на макушку. А оттуда как на ладони, видна голубая река, а над ней — в огородах, березах и ульях — родное село. Спустился малый на землю, взял корзину с грибами и бодрым шажком побежал через лес, уверенный в том, что больше с пути уже не собьется.

А елка вздохнула ливнем хвои, казалось, ей было приятно, что вот так толково наставила мальчика на дорогу.

ДО СВИДАНИЯ, ГУСИ!

Березовый лог. Листья вверх. Листья вниз. Они светят и утром, и днем, и в полночь. Солнце сегодня тусклее и ниже, но оно еще греет и даже бодрит. Хорошо под его лучами, словно при бабушкиной улыбке.

На склоне старого лога, что круто спускается к речке, в мохнатых розовых шляпках стоят молодые волнушки. Собирай их, ребята! В подола рубашек! В кузовки! В корзины!

Под косогором сквозь зелень кустов синее небо. Над речкой качает головками черный рогоз. Раздается встревоженный плеск. Над рогозом, над верхом кустов, над березовым логом взмыло стадо гусей. Белокрылые, рослые, они поднимаются вверх, в глубину сквозного синего неба. Поднялись и летят, построившись в строгий угол. Гордо летят, торжественно, величаво. Глядишь на дружную стаю и чувствуешь, как в груди у тебя неспокойно колотится сердце. Улетают гуси на юг. На целую осень. На целую зиму.

До свидания, гуси! Мы будем вас ждать. Мы встретим вас на зеленом майском угоре. Встретим вместе с полной водой на реке, вместе с листьями на березе.

ХРУСТАЛИНКА

На промозглых стволах — замерзшие всплески дождя. Казалось, деревья плакали в тишине, сокрушаясь по теплым дням куда-то от них убежавшего лета. Тихо в дремучем лесу. Но чу! В глубине можжевельника, там, где гроздь рябиновых ягод, слышится плеск.

Ручеек! Настоящий! Живой! Не сумел морозко его застудить. Да и как застудишь его, если здесь, под коряжками старой колоды, бьется его бессмертная жилка.

которую крутит и крутит, вздымая из недр подземелья, целомудренно чистый, точно хрусталинка, родничок.

Раздаются шаги. Ледяная тропа громыхает, будто покрытая шифером крыша. Лось! Идет открыто и смело. Ему некого опасаться. Здесь он хозяин и властелин.

Вот он, тускло блеснув тяжелой короной рогов, величаво спустился в низинку. Наклонил красивую голову над ручьем. Губы втянули холодную воду.

Утолив звериную жажду, благодарно потрянул головой, поклонившись чистому родничку, к которому он для того, пожалуй, и приходил, чтобы стать еще благоднее и сильнее.

МЕЧТА

Звезды в ночи. В кого они вглядываются оттуда? Для чего они вышли в безмолвные хороводы, песен которых не разберешь? Не для нас ли, жителей древней Земли, они украшают темное небо садами своих волшебных сияний?! Не нам ли они посылают свои приветы?! И эти приветы торопятся к нам, как сигналы будущей связи между нашей планетой и той неизвестной, которая нас так радует и тревожит. И эта планета есть. И есть на ней, как и на нашей, красивые жители и деревья, веселые птицы, музыка и любовь. Иначе бы, глядя на звезды, так не мечтала душа, тоскуя по сокровенному и родному.

СОДЕРЖАНИЕ

В. Крупин. «Вот и кончилось лето, мой друг...» . . .	3
--	---

ПОВЕСТИ

День нынче наш	7
Две осени	64

РАССКАЗЫ

Солнышко	117
Дьяволок	125
На спичках	141
Сыновья и гости	154
Строгие глаза	160
Колесом дорога	171
Кривая стрела	184
Переправа	196
Певунья	201
Золотая душа	203
Подранок	207
Крик	211
Святая наивность	213
Паренек и мельник	230
Первая получка	234
Варяг	248
Камушек	261
Обманщик	268
Ничего смешного	273
Веня, Папа и кладовщик	278
На бревне	286
Утро Родины. <i>Родные картинки</i>	294

на палец послушный моточек волос, тихо маялась и вздыхала. Репетиции эти ей в тягость.

— Я постараюсь, конечно. Но, Сень...

— Зоя Ивановна! — не дал продолжить Горынцев. — Смотри! До того достараешься — будешь жалеть! Вот возьмут и поставят меня заведовать клубом! Как это будет тебе?

Зоя Ивановна улыбнулась.

— Я председателю так и скажу?! — пообещала с несвойственной ей задорцей и, запнувшись за глыбку дороги, припустила по улице, вдоль огней.

Горынцев глядел на белевшую в сумерках блузку и, жалея девушку, думал: «Нашелся бы женишок — мигом бы девку переменило...»

Не чаял Семен, не гадал, что судьбу его в этот вечер попробует взять в свои руки Сергей Александрович Магаров. Попробует взять и возьмет. А Семен и знать ничего не будет, что в жизни его наступил поворот: ему ни нынче, ни раньше не было дела до тех, кто решал за него, каким образом должен он жить. Он пришел с работы домой. Он устал. Он голоден. И сейчас, насыщаясь едой, ощущает, как хорошо ему в маленькой кухне, где запахи щей, лепет девочки, говор женщин и этот теплый покой, который снимает с него физическую усталость.

Мать, как курица-хлопотунья, с кудахтаньем ходит по кухне, подносит Семену то чай, то варенье и вдруг, сложив на переднике руки, спрашивает его:

— Корову-то как? Али заводить и ноне не будем?

И жена с той же песней:

— Правда, Сенечка, правда?

— Без своего молока что за жизнь, — продолжает мать наступать на Семена. — Ты вот чайком наливаешь себя. А девулю чайком не станешь. — Мать откуда-то из-за стула выводит кроху Наташу, гладит ее по височкам. —